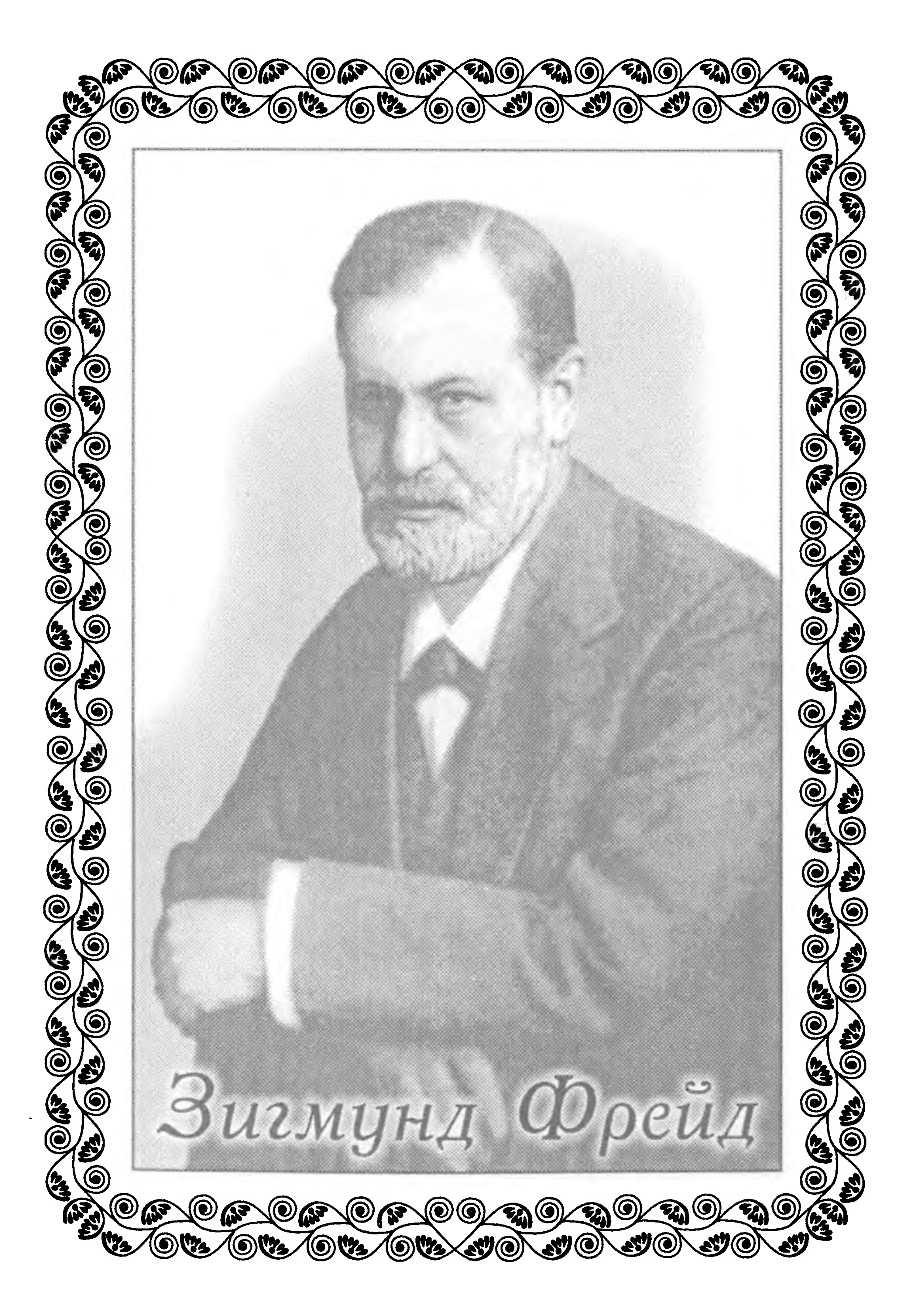

ЗИГМУНД ФРЕЙД
Влечения и их судьба


113-10


Зигмунд Фрейд



ФРЕЙД

ВЛЕЧЕНИЯ И ИХ СУДЬБА

Москва
«ЭКСМО-ПРЕСС»
1999

УДК 830
ББК 84(4Гéрм)
Ф 86

Издание иллюстрировано
работами *Ганса Грюндига, Пауля Клее,*
Анри Матисса, Пабло Пикассо,
Павла Филонова

Фрейд З.

Ф 86 Влечения и их судьба. — М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999.— 432 с. (Серия «Антология мудрости»).

ISBN 5-04-002719-2

УДК 830
ББК 84(4Герм)

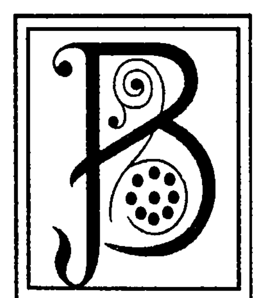
ISBN 5-04-002719-2




ПСИХОЛОГИЯ
СНА



I



о времена, которые мы могли бы назвать преднаучными, люди не затруднялись в толковании сновидений. Вспоминая по пробуждении свой сон, они смотрели на него как на хорошее или дурное предзнаменование со стороны высших божественных или демонических сил. С расцветом естественно-научного мышления вся эта остроумная мифология превратилась в психологию, и в настоящее время лишь весьма немногие из образованных людей сомневаются в том, что сновидение является продуктом психической деятельности самого сновидящего.

Но с отпадением мифологической гипотезы, сновидение стало нуждаться в объяснении. Условия возникновения сновидений, отношение последних к душевной жизни во время бодрствования, зависимость их от внешних раздражений во время сна, многие чуждые бодрствующему сознанию странности содержания сна, несовпадения между его образами и связанными с ними аффектами, наконец, быстрая смена картин в сновидении и способ их смещения, искажения и даже вытеснения из памяти наяву — все эти и другие проблемы сна уже много сотен лет ждут удовлетворительного решения. На первом плане

стоит вопрос о значении сновидения — вопрос, имеющий двоякий смысл: во-первых, дело идет о выяснении психического значения сновидения, биологической функции его и связи его с другими душевными процессами; во-вторых, желательно знать, возможно ли толковать сновидение и имеет ли каждый элемент его содержания какой-нибудь смысл, как мы привыкли это находить в других психических актах.

В оценке сновидения можно заметить три направления. Одно из них, которое является как бы отзвуком господствовавшей прежде переоценки сна, находит себе выражение у некоторых философов, которые кладут в основу сновидения особенное состояние психики, рассматриваемое ими даже как более высокая ступень в развитии духа; так, например, Шуберт утверждает, будто сон является освобождением духа от гнета внешней природы, освобождением души из оков чувственного мира. Другие мыслители не идут так далеко, но твердо держатся того мнения, что сновидения по существу своему проистекают от психических возбуждений, обнаруживающих наличность тех душевных сил, которые в течение дня не могут свободно проявляться. Многие наблюдатели приписывают сонной психике способность к проявлению усиленной деятельности — по крайней мере, в некоторых сферах, например в области памяти.

В противоположность этому мнению большинство авторов-врачей придерживается того взгляда, что сновидение едва ли заслуживает названия *психического* проявления; по их мне-



нию, возбудителями сновидения являются исключительно раздражения органов чувств, либо приходящие к спящему извне, либо случайно возникшие в нем самом; содержание сна, следовательно, имеет не больше смысла и значения, чем, например, звуки, вызываемые десятью пальцами несведущего в музыке человека, когда они пробегают по клавишам инструмента. Сновидение согласно этому воззрению нужно рассматривать прямо как «телесный, во всех случаях бесполезный и во многих — болезненный процесс» (Бинц). Все особенности сонной психики объясняются бессвязной и вынужденной (вследствие физиологических раздражений) работой отдельных органов или отдельных групп клеток погруженного в сон мозга.

Мало считаясь с этим мнением науки и не интересуясь вопросом об источниках сновидения, народная масса, по-видимому, твердо верит в то, что сон все-таки имеет смысл предзнаменования, сущность которого может быть раскрыта посредством какого-либо толкования. Применяемый с этой целью метод толкования заключается в том, что воспринимаемое содержание сна заменяется другим содержанием — либо по частям на основании *твердо установленного ключа*, либо все содержание сна целиком заменяется каким-либо другим целым, по отношению к которому первое является символом. Серьезные люди обыкновенно смеются над этими стараниями: «сны — это пена морская».



II

К своему великому изумлению, я однажды сделал открытие, что ближе к истине стоит не взгляд врачей, а взгляд профанов, наполовину окутанный еще предрассудками. Дело в том, что я пришел к новым выводам относительно сна, после того как применил к последнему новый метод психологического исследования, оказавший уже мне большую услугу при решении вопросов о разного рода болезнях, бредовых и навязчивых идеях и т. д. Многие исследователи-врачи справедливо указывали на многообразные аналогии между различными проявлениями сонной и больной психики, так что мне уже заранее представилось небесполезным применить к объяснению сновидения тот способ исследования, который оказал услуги при анализе психопатических явлений. Навязчивые идеи и идеи страха так же чужды нормальному сознанию, как сновидения — бодрствующему; происхождение тех и других для нашего сознания одинаково непонятно. Что касается психопатических представлений, то выяснить их источник и способ возникновения побуждал нас практический интерес: опыт показал, что выяснение скрытых от сознания ассоциативных путей, связывающих болезненные идеи с остальным содержанием сознания, дает возможность овладеть навязчивыми идеями и равносильно устранению их.

Таким образом, примененный мною к объяснению сновидений способ берет свое начало в психотерапии; описать его легко, но пользоваться им можно лишь после известного на-



выка. Когда хотят применить этот способ к другому лицу, например к больному, то последнему предлагают обыкновенно сосредоточить все внимание на своей болезненной идее, но не размышлять о ней, как он это часто делает, а стараться выяснить себе и сообщить тотчас врачу все без исключения мысли, которые ему приходят в голову по поводу данной идеи. Если больной станет утверждать, что его внимание ничего не может уловить, то необходимо энергично заявить, что такого рода отсутствие круга представлений совершенно невозможно. Действительно, вскоре у больного начинает всплывать ряд идей, за которыми следуют новые идеи; однако больной, производящий самонаблюдение, при этом обыкновенно заявляет, что всплывающие у него идеи не важны, не относятся к делу и пришли ему в голову совершенно случайно, без всякой связи с данной задачей.

Уже теперь можно заметить, что именно эта критика со стороны больного была причиной того, что данные идеи не высказывались и даже не сознавались им. Поэтому, если удается заставить больного отказаться от всякой критики по поводу приходящих в голову мыслей и продолжать отмечать мысленные ряды, выплывающие при напряжении внимания, то можно получить достаточный психический материал, который явно примыкает к взятой в качестве задачи болезненной идее, обнаруживает связь последней с другими идеями и дает возможность при дальнейшем исследовании заменить болезненную идею какой-либо новой, вполне гармонирующей с остальным

содержанием психики. Здесь я не могу подробно останавливаться на лежащих в основе этого опыта предпосылках и выводах, которые можно сделать из его постоянной удачи; достаточно указать, что всегда можно получить достаточный для разрешения болезненной идеи материал, если обращать внимание именно на «нежелаемые» ассоциации, «мешающие мышлению» и отстраняемые обыкновенно самокритикой больного как бесполезный хлам. Когда желают применить этот метод к самому себе, необходимо при исследовании немедленно записывать все приходящие случайно в голову и непонятные сначала мысли.

Теперь посмотрим, к каким результатам приводит пользование изложенным методом при исследовании сновидений. Для этого я возьму свое сновидение, краткое по содержанию и в воспоминании представляющееся мне неясным и бессмысленным; содержание его, записанное мною немедленно по пробуждении, следующее: «Общество за столом или табльдотом... Едят шпинат... Г-жа Е. Л. сидит рядом со мною, вся повернувшись ко мне, и дружески кладет мне руку на колено. Я, отстраняясь, удаляю ее руку. Тогда она говорит: "А у вас всегда были такие красивые глаза...". После этого я неясно различаю как бы два глаза на рисунке или как бы контур стеклышка от очков...» Это — все сновидение или, по крайней мере, все, что я могу о нем вспомнить. Оно кажется мне неясным и бессмысленным, а больше всего странным. Г-жа Е. Л.— женщина, с которой я был просто знаком и, насколько я сознаю, близких отношений никогда не желал; я уже давно

не видел ее и не думаю, чтобы в последние дни о ней шла речь. Сновидение мое не сопровождалось никакими эмоциями; размышление о нем не делает мне его более понятным.

Теперь я без определенного намерения и без всякой критики буду отмечать приходящие мне в голову мысли, всплывающие про самонаблюдении; для этого полезно разложить сновидение на фрагменты и отыскать примыкающие к каждому из них мысли. *Общество за столом или табльдотом.*

С этим связывается воспоминание о небольшом переживании, имевшем место вчера вечером. Я ушел из маленького общества в сопровождении друга, который предложил мне взять карету и отвезти меня домой. «Я,— сказал он,— предпочитаю карету с таксометром: это так занимательно: всегда имеешь перед собой что-то, на что можно глядеть». Когда мы сели в карету и кучер устанавливал таксометр, так что стали видны первые шестьдесят геллеров, я продолжил его шутку: «Мы только сели и уже должны ему шестьдесят геллеров». Карета с таксометром напоминает мне всегда *табльдот*; она делает меня скупым и эгоистичным, ибо непрестанно говорит о моем долге: мне все кажется, что долг слишком быстро растет, и я опасаюсь, как бы мне не хватило денег, подобно тому как за табльдотом, я не могу отделаться от смешного опасения, будто я получу слишком мало, если не буду заботиться о себе. В отдаленной связи с этим я продекламировал: «Вы сами жизнь даете нам; бедного вы делаете должником».

Другая возникшая у меня мысль по поводу табльдота: несколько недель тому назад, за столом в ресторане одного тирольского горного курорта, я сердился на свою жену за то, что она, по моему мнению, была недостаточно официальна с некоторыми соседями, с которыми я не хотел иметь ничего общего. Я просил ее интересоваться больше мною, чем посторонними. Это все равно, *как будто мне за табльдотом не хватит*. Теперь мне приходит в голову противоположность между поведением моей жены за столом и поведением в моем сновидении г-жи Е. Л., *которая вся повернулась ко мне*. Далее, я замечаю, что сновидение является воспроизведением одной сцены, происшедшей между мной и моей женой еще до женитьбы, во время моего ухаживания за ней. Нежное пожатие руки под скатертью послужило ответом на мое письмо с серьезным предложением. Но в сновидении жена моя замещена чуждою мне г-жой Е. Л.; это — дочь одного господина, которому я был должен.

Не могу при этом не заметить, что здесь обнаруживается неожиданная связь между отрывками сновидения и приходящими мне в голову мыслями. Если следовать за цепью ассоциаций, которые вытекают из какого-либо элемента содержания сна, то можно скоро прийти к другому элементу этого же содержания. Мысли, приходящие в голову по поводу сновидения, восстанавливают те связи, которые в самом сновидении не видны.

Когда кто-либо полагает, что другие станут заботиться о нем без всякой пользы для себя, разве не предлагают обыкновенно

такому простаку иронический вопрос: «Что же, вы думаете, что то или иное делается *ради ваших прекрасных глаз*?». С этой точки зрения, слова г-жи Е. Л. в сновидении — «у вас всегда были такие прекрасные глаза» — означают не что иное, как: «люди вам всегда оказывали услуги; вы все даром получали». Конечно, в действительности, всегда было наоборот: за все хорошее, что мне делали другие, я платил дорого; но, по-видимому, на меня все-таки произвело впечатление то обстоятельство, что мне вчера даром досталась карета, в которой мой друг отвез меня домой; кроме этого, приятель, у которого мы вчера были в гостях, часто заставлял меня оставаться перед ним в долгу; лишь недавно я не воспользовался случаем отплатить ему. Между прочим, у него имеется единственный подарок от меня — античная чаша с нарисованными по краям ее глазами. Кстати, приятель этот — глазной врач; в этот же вечер я спрашивал его о пациентке, которую направил к нему для подбора *очков*.

Я замечаю, что почти все отрывки сновидения приведены в новую связь. Однако вполне естественно было бы спросить, почему в сновидении на столе фигурирует именно *шпинат*? Дело в том, что шпинат напоминает мне маленькую сцену, происшедшую недавно за нашим семейным столом, когда мой ребенок — как раз тот, у которого действительно *красивые глаза*, — отказывался есть шпинат. В детстве я точно так же вел себя: шпинат долгое время был мне противен, пока мой вкус не изменился и зелень эта сделалась моим любимым

блюдом; воспоминание о последнем сближает, следовательно, мои вкусы в детстве со вкусами моего ребенка.

«Будь доволен, что ты имеешь шпинат,— сказала мать маленькому гастроному,— есть дети, которые были бы очень рады и этому кушанью». Это течение мыслей напоминает мне об обязанностях родителей по отношению к детям и в этой связи слова Гёте: «Вы сами жизнь нам даете; бедного вы делаете должником»,— приобретают новый смысл.

Здесь я остановлюсь, чтобы рассмотреть полученные до сих пор результаты анализа сновидения. Следуя за ассоциациями, выплывающими непосредственно за отдельными вырванными из общей связи элементами сновидения, я пришел к ряду мыслей и воспоминаний, которые обнаруживают ценные переживания моей душевной жизни. Этот добытый посредством анализа сновидения материал находится в тесной связи с содержанием сна, но связь эта все-таки такова, что я никогда не мог бы получить этот новый материал из самого содержания сна. Сон не сопровождался никакими эмоциями, был бессвязен и непонятен; однако, когда всплывают скрытые в сновидении мысли, я испытываю сильные и вполне обоснованные эмоции.

Мысли сами соединяются в логически связанные ряды, в центре которых повторно появляются некоторые представления; в нашем примере такими, не выступающими в самом сне представлениями являются: противоположение между *своекорыстным* и *бескорыстным* и между — *быть должным*



и *делать даром*. В этой полученной из анализа ткани я мог бы крепче стянуть нити и показать, что последние сходятся в одном общем узле; но соображения не научного, а частного характера не позволяют мне произвести эту работу публично: дело в том, что я вынужден был бы тогда сообщить многое из того, что должно остаться моей тайной, так как при анализе своего сновидения, я уяснил себе такие факты, в которых неохотно признаюсь самому себе.

Но почему в таком случае я не изберу для анализа другой сон, чтобы анализ его мог скорее убедить в точности смысла и правильности связи полученного из него материала? На это можно ответить, что каждый сон, которым я займусь, неизбежно приведет меня к тем неохотно сообщаемым фактам и побудит к такому же умалчиванию. Этого затруднения я не избежал бы также и в том случае, если бы стал анализировать сновидение другого лица; разве только обстоятельства позволили отбросить всякие умалчивания без вреда для доверяющегося лица.

Уже теперь приходит в голову идея, что сновидение является как бы заменой того богатого чувствами и содержанием хода мыслей, к которому мы пришли после анализа. Я еще не знаю процесса, путем которого из этих мыслей возникло данное сновидение, но я вижу, что неправильно рассматривать это сновидение как чисто телесное, психически лишенное всякого значения явление, возникшее будто бы благодаря изолированной деятельности отдельных групп клеток спящего мозга. Кроме того, я замечаю еще две вещи: во-первых, содержание

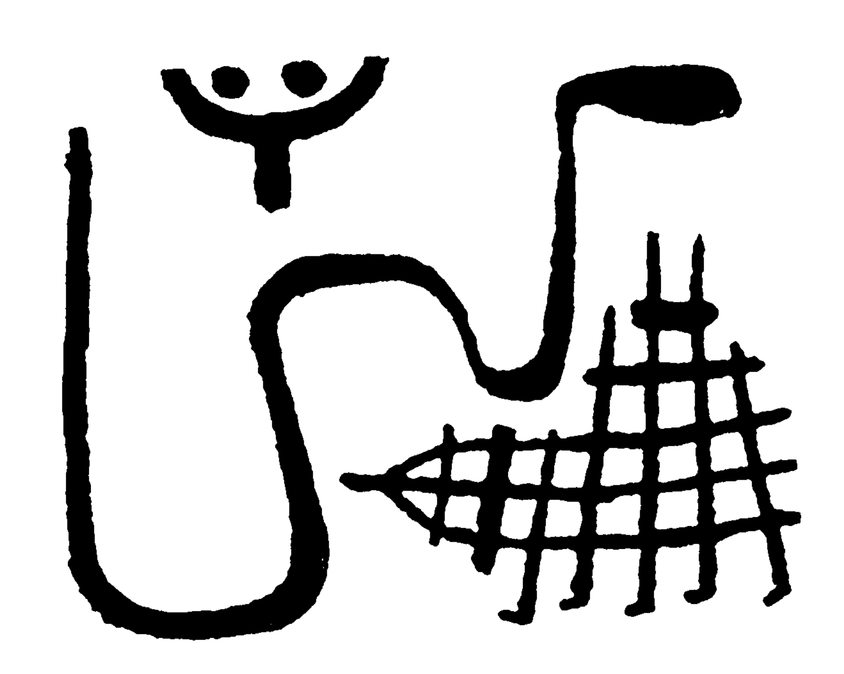
сна гораздо короче тех мыслей, заменой которых я его считаю, и, во-вторых, анализ обнаружил в качестве возбудителя сновидения ничтожный случай, имевший место накануне вечером.

Я, конечно, не стал бы делать так далеко ведущих выводов, если бы в моем распоряжении был анализ только одного сновидения; но опыт показал мне, что, следуя без критики за ассоциациями, я при анализе любого сновидения прихожу к такому же ряду мыслей, связанных между собою по смыслу и содержащих в качестве элемента лишь часть сновидения. Вот почему не следует думать, что обнаруженная при первом анализе связь может оказаться случайным совпадением.

Теперь я считаю себя вправе фиксировать свою новую точку зрения в определенных терминах. Сновидение, как оно вспоминается мне, я противопоставляю полученному при анализе материалу и называю первое (т. е. сновидение) *явным содержанием сна*, а второй (т. е. материал) — пока без дальнейшего разграничения — *скрытым содержанием сна*. Теперь нам предстоит разрешить две новые задачи: 1) каков тот психический процесс, который превратил *скрытое* содержание сна в явное, знакомое мне по оставленному в памяти следу и 2) каков тот или те мотивы, которые вызывали такое превращение? Процесс переработки скрытого содержания сна в явное я буду называть *работой сна*; противоположная этому работа, ведущая к обратному превращению, знакома уже нам *как работа анализа*. Остальные проблемы сна — вопрос о возбудителях сновидений, о происхождении их ма-

териала, о смысле и функции сновидений, о причинах забывания последних — все это я разберу при анализе не явного, а вновь добытого скрытого содержания сна.

Так как все встречающиеся в литературе противоречивые и неправильные взгляды на сонную психику можно объяснить незнакомством авторов со скрытым содержанием сна, которое может быть добыто только путем анализа, то я впредь самым старательным образом буду избегать смешения *явного сновидения со скрытыми в нем мыслями.*



III

Превращение скрытых в сновидении мыслей в явное содержание сна заслуживает нашего полного внимания как первый пример перехода одного способа выражения психического материала в другой: из способа выражения, понятного нам без всяких объяснений, в такой способ, который становится понятным лишь с трудом и при наличности определенных указаний.

Принимая во внимание отношение скрытого содержания сна к явному, можно разделить сновидения на три категории. Во-первых, мы различаем сновидения вполне осмысленные, понятные, т. е. позволяющие без дальнейших затруднений объяснить их с точки зрения нашей нормальной душевной жизни. Таких сновидений много; они по большей части кратки и в общем кажутся нам не заслуживающими особого внимания, так как в них отсутствует все то, что могло бы возбудить наше удивление и показаться нам странным. Между прочим, существование таких сновидений является сильным аргументом против учения, которое объясняет возникновение сновидений изолированной деятельностью отдельных групп мозговых клеток: в этих сновидениях мы не находим никаких признаков пониженной или расстроенной психической деятельности: тем не менее мы никогда не сомневаемся в том, что имеем дело со сновидениями и не смешиваем их с продуктами бодрствующего сознания.

Другую группу образуют сновидения, которые, будучи связными и ясными по смыслу, все-таки кажутся нам стран-

ными, потому что мы не можем связать их смысл с нашей душевной жизнью. С таким случаем мы имеем дело, когда нам, например, снится, будто какой-то близкий родственник умер от чумы, между тем как у вас нет никаких оснований ожидать, опасаться или предполагать это; мы тогда спрашиваем себя с удивлением, откуда пришла нам в голову такая идея?

Наконец, к третьей группе относятся сновидения, лишенные смысла и непонятные, т. е. представляющиеся нам бессвязными, спутанными и бессмысленными. Подавляющее большинство продуктов нашего сна обнаруживает такой именно характер, которым объясняются и презрительное отношение к сновидениям, и врачебная теория о сужении душевной деятельности во сне; тем более, что в длинных и сложных построениях сонной психики всегда усматриваются явные признаки бессвязности. Противоположение между явным и скрытым содержанием сна, очевидно, имеет значение только для сновидений второй и ещё более третьей категории; здесь мы встречаемся с загадками, которые исчезают лишь после замены явного сновидения скрытыми в нем мыслями, и потому для приведенного выше анализа мы избрали в качестве примера именно такое спутанное и непонятное сновидение.

Однако, против всякого ожидания, мы столкнулись с мотивами, которые помешали нам вполне ознакомиться со скрытыми в сновидении мыслями; вследствие же повторения подобных случаев и при других анализах мы пришли к предположению, что между непонятным и спутанным характером сновидения,

с одной стороны, и затруднениями при сообщении скрытых в сновидении мыслей — с другой, имеется какая-то интимная и закономерная связь. Прежде чем исследовать природу этой связи, полезно будет познакомиться с более понятными сновидениями первой категории, в которых явное и скрытое содержание сна совпадают, т. е. которые обходятся без работы сна.

Исследование этих сновидений полезно еще с другой точки зрения. Сновидения детей всегда имеют такой именно характер, т. е. осмысленный и нестранный; между прочим, это обстоятельство является новым доводом против объяснения сновидения расстроенной деятельностью мозга во время сна, ибо почему у взрослого такое понижение психических функций нужно считать характерным для сонного состояния, а у ребенка не нужно? И мы вправе ожидать, что выяснение психических процессов у ребенка, у которого они значительно упрощены, окажется необходимой предварительной работой для ознакомления с психологией взрослого. Итак, я приведу несколько сновидений детей.

Девочку девятнадцати месяцев от роду целый день держат на диете, так как ее утром рвало и, по словам няни, она повредила себе земляникой. Ночью после этого голодного дня няня слышала, как девочка во сне называла свое имя и при этом прибавляла: «Земляника, яичко, каша». Ей, следовательно, снится, будто она ест, и из своего меню она указывает как раз на то, что в ближайшем будущем, по ее мнению, ей мало будут давать. Подобным же образом, 22-месячному

мальчику, который за день перед тем подарил своему дяде корзинку свежих вишен, отведав из них, конечно, только несколько штук, снится запретный плод; он пробуждается с радостным известием: «Герман (т. е. он) съел все вишни». Трехлетняя девочка совершила днем по озеру прогулку, которая показалась ей недостаточно продолжительной, и девочка при высаживании плакала. На другое утро она рассказала, что каталась ночью по озеру, т. е. продолжила прерванную прогулку. Пятилетний мальчик остался недоволен прогулкой пешком в окрестностях горы Дахштейна; как только показывалась новая гора, он осведомлялся, не Дахштейн ли это, и затем отказывался продолжать путь к водопаду. Его поведение приписывали усталости, но оно нашло лучшее объяснение, когда мальчик на следующее утро сообщил свой сон, будто он поднялся на гору Дахштейн. Очевидно, он полагал, что прогулка имеет целью подъем на Дахштейн, и потому был огорчен, когда ему не удалось попасть на желанную гору. Во сне он получил то, чего ему не дал день. Подобный же сон видела шестилетняя девочка, отец которой прервал прогулку с нею, не дойдя до намеченной цели ввиду позднего времени. На обратном пути она обратила внимание на путевой столб, указывавший дорогу к другому месту прогулок, и отец пообещал повести ее туда в другой раз. На следующее утро она встретила отца с известием о том, что ей снилось, будто она была с отцом в том и другом месте.

Во всех этих детских сновидениях бросается в глаза одна общая черта: все они исполняют желания, которые днем зародились и остались неудовлетворенными; эти сновидения являются простыми и незамаскированными исполнениями желаний. Ничем иным, как исполнением желания, является и следующий, на первый взгляд не совсем понятный, детский сон. Девочка, около четырех лет от роду, заболевшая детским параличом, была привезена из деревни в город; здесь она переночевала у тетки в большой — для нее, конечно, чересчур большой — кровати. На следующее утро она рассказала свой сон, будто кровать была ей слишком мала, так что ей не хватало места. Это сновидение легко объяснить с точки зрения исполнения желаний, если вспомнить, что дети часто выражают желание «быть большим». Величина кровати слишком подчеркивала маленькой гостье ее собственную величину; поэтому она во сне исправила неприятный ей контраст и сделалась такой большой, что большая кровать оказалась для нее слишком маленькой.

Если даже содержание детских сновидений усложняется и уточняется, все-таки в них легко увидеть исполнение желаний. Восьмилетнему мальчику снилось, будто он с Ахиллесом ехал на колеснице, которой правил Диомед. Как оказалось, он за день перед тем увлекся чтением сказаний о греческих героях; легко доказать, что он взял этих героев за образец и сожалел, что не жил в их время.

Из этого небольшого числа сновидений выясняется второе характерное свойство детских сновидений: их связь с жизнью в течение дня. Исполняемые в сновидениях желания оставались от предыдущего дня, причем наяву они сопровождались интенсивными эмоциями. Несущественное и безразличное или то, что кажется таковым ребенку, не находит себе места в сновидении.

Среди взрослых можно также собрать много примеров подобных сновидений детского типа, но они, как мы упоминали, большей частью кратки. Так, например, многим лицам при жажде ночью снится, будто они пьют; здесь сновидение стремится устранить раздражение и продлить сон. У других бывают часто такие *удобные сновидения* перед пробуждением, когда приближается время вставать; им тогда снится, что они уже встали, находятся около умывальника или уже в училище, конторе и прочее, где они должны быть в определенное время. В ночь перед поездкой куда-либо нередко снится, будто мы уже приехали к месту назначения; перед поездкой в театр или в общество сновидение нередко предвосхищает — как бы вследствие нетерпения — ожидаемое удовольствие. В других случаях сновидения выражают исполнение желаний не в столь прямой форме; тогда, чтобы распознать скрытое желание, необходимо установить какую-нибудь связь или сделать какой-нибудь вывод, т. е. необходимо начать работу толкования. Так, например, в случае, когда муж сообщает мне сновидение его молодой жены, будто у нее наступили

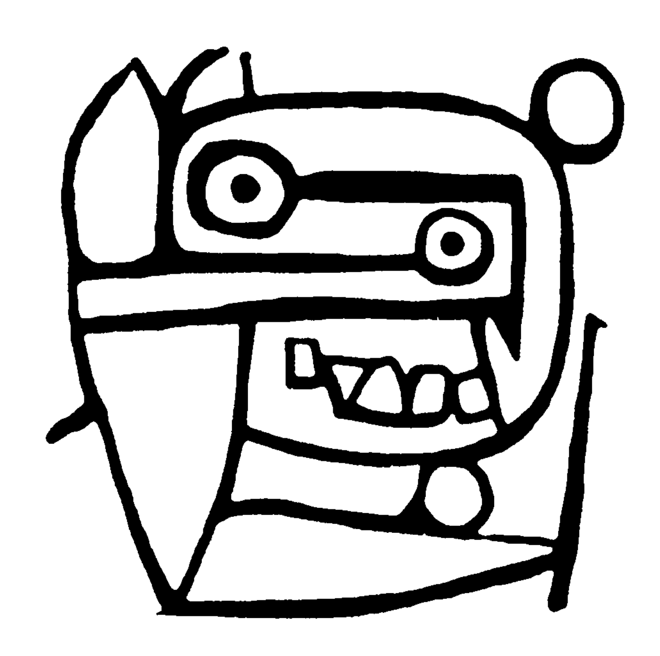
менструации, надо не упускать из виду, что каждая молодая женщина при прекращении менструаций опасается беременности. Ввиду этого приведенное сновидение является признаком беременности, и смысл его таков, что он указывает на желание не забеременеть. Весьма нередко из длинного, сложного и в общем спутанного сновидения выделяется особенно ясно один отрывок, в котором легко можно узнать исполнение желания, но который в то же время спаян с другим непонятным материалом.

При попытке анализировать самые, по-видимому, прозрачные сновидения взрослых приходится часто с удивлением констатировать, что они редко бывают такими простыми, как детские сны, и что за исполнением желания в них кроется еще другой смысл. Решение загадок сновидений было бы, конечно, простым и удовлетворительным, если бы работа анализа давала нам возможность сводить также бессмысленные и спутанные сновидения взрослых к детскому типу исполнения какого-либо интенсивно ощущаемого желания дня. Внешние признаки, конечно, не указывают на подобную возможность: сновидения взрослых большей частью наполнены самым безразличным и посторонним материалом, который отнюдь не указывает на исполнение желаний.

Прежде чем расстаться с детскими сновидениями — этими незамаскированными исполнениями желаний,— нам хотелось бы указать еще на одно, давно замеченное главное характерное свойство сновидения, которое именно в этой



группе обнаруживается в чистом виде. Дело в том, что каждое из этих сновидений можно заменить одним пожеланием: «ах, если бы прогулка по озеру еще продлилась», «если бы я был уже умыт и одет», «мне бы следовало спрятать вишни, вместо того чтобы давать их дяде». Но сновидение содержит в себе больше, чем одно пожелание: последнее является во сне уже исполненным, причем это исполнение представляется как бы реальным и совершающимся на глазах; материал сновидения состоит преимущественно, хотя и не исключительно, из ситуаций и зрительных образов. Таким образом, в этой группе можно обнаружить частичную переработку, которую следует считать работой сонной психики: *мысль, выражающая пожелание в будущем, заменена картиной, протекающей в настоящем.*





IV

Мы склонны допускать, что в спутанных сновидениях имеет место подобное превращение в ситуацию, хотя и нельзя знать, содержатся ли в них пожелания. Сообщенный вначале пример сновидения, в анализ которого мы несколько углубились, дает нам — по крайней мере, в двух случаях — повод предполагать нечто подобное. При анализе я встречаюсь с тем фактом, что жена моя за столом интересуется другими, причиняя мне этим неприятность; в сновидении же содержится прямо противоположная картина: женщина, заменяющая мою жену, полностью поворачивается ко мне. Не дает ли неприятное переживание лучший повод к проявлению желания, чтобы дело обстояло наоборот? Это и происходит во сне. В такой же связи находится неприятная при анализе мысль, что мне ничего не доставалось даром, со словами женщины в сновидении: «У вас ведь всегда были такие красивые глаза». Таким образом противоречия между явным и скрытым содержанием сна могут быть частью сведены к исполнению желаний.

Гораздо более бросается в глаза другой результат работы сна, который ведет к возникновению бессвязных сновидений. Если сравнить на любом примере количество образов в сновидении с числом скрытых в последнем мыслей, добытых путем анализа и лишь едва обнаруживающихся в самом сновидении, то нельзя сомневаться в том, что работа сна производит прекрасную концентрацию или *сгущение*. Вначале трудно составить себе представление о размере этого сгущения, но оно

производит тем больше впечатления, чем глубже удается проникнуть в анализ сна. Тогда нельзя найти ни одного элемента сновидения, от которого ассоциативные нити не расходились бы по трем или более направлениям, ни одной ситуации, которая бы не была составлена из трех или более впечатлений и переживаний.

Так, например, мне приснилось однажды нечто вроде бассейна, в котором по всем направлениям плавали купающиеся; в одном месте, на краю бассейна, стоял человек, наклонившись к одному купающемуся как бы с намерением вытащить его. Ситуация была составлена из воспоминаний об одном переживании в период возмужалости и из двух картин, одну из которых я видел незадолго перед сновидением. Картины эти изображали «Испуг в купальне» из швиндовского цикла Мелюзины и «Проточные воды» какого-то итальянского художника; маленькое же переживание заключалось в том, что мне пришлось однажды увидеть, как учитель плавания в купальне помогал выйти из воды одной даме, которая задержалась до наступления назначенного для мужчин времени.

Ситуация в избранном для анализа примере вызывает у меня при анализе небольшой ряд воспоминаний, каждое из которых внесло кое-что в содержание сновидения. Прежде всего это — маленькая сценка из периода моего ухаживания, о которой я уже говорил; имевшее тогда место рукопожатие под столом внесло в сновидение подробность «под столом»,

о которой я вспомнил позднее. О «поворачивании» ко мне тогда, конечно, не было речи; но из анализа я знаю, что этот элемент является исполнением желания в силу контраста и относится к поведению моей жены за табльдотом. За этим недавним воспоминанием скрывается подобная же, но более важная сцена после нашей помолвки, которая привела даже к ссоре на целый день. Доверчивость и опускание руки на колено относится к совсем иной связи воспоминаний и к совершенно другим лицам; этот элемент сновидения становится в свою очередь исходным пунктом двух других отдельных рядов воспоминаний и т. д.

Скрытые в сновидении мысли, соединяющиеся для образования ситуации во сне, должны, конечно, заранее быть годными для этой цели, во всех составных частях должны быть налицо один или несколько общих элементов. Сон производит такую же работу, как *Франсис Гальтон* при производстве своих фамильных фотографий: сон как бы накладывает друг на друга различные составные части, поэтому в общей картине на первый план отчетливо выступают общие элементы, а противоположные подробности почти взаимоуничтожаются. Такой процесс происхождения сна объясняет отчасти также и своеобразную спутанность многочисленных элементов сновидения. Исходя из этого, необходимо при толковании сновидений придерживаться следующего правила: если при анализе можно какую-нибудь неопределенность разрешить каким-нибудь «или-или», то при толковании нужно заме-

нить эту альтернативу посредством «и», сделав каждый член ее исходным пунктом для независимого ряда вновь всплывающих мыслей.

Если между скрытыми в сновидении мыслями нет общих частей, то работа сна стремится создать их, чтобы сделать возможным общее изложение. Лучший способ сблизить две скрытые мысли, не имеющие ничего общего, заключается в изменении словесного выражения одной из них, соответственно которому изменяется выражение другой мысли. Это такой же процесс, как и стихосложение, при котором созвучие заменяет искомую общую часть. Большая часть работы сна заключается в создании подобных — часто очень остроумных, но часто так же и натянутых — промежуточных мыслей; последние, исходя из общей картины сновидения, простираются до скрытых в сновидении мыслей, которые бывают различны по форме и содержанию и выплывают лишь при анализе сновидения.

Точно так же и при анализе взятого нами сновидения мы встречаемся с подобным случаем внешнего изменения мысли для согласования ее с другою, по существу чуждой ей мыслью. Так, при продолжении анализа я наталкиваюсь на следующую мысль: я хотел бы разок так же получить что-нибудь даром. Но эта форма не пригодна для общего содержания сна и потому заменяется другой формой: *я хотел бы попробовать что-нибудь без расходов* (kosten). Последнее слово вторым своим значением на немецком языке (от-

ведывать) годится уже для круга идей при табльдоте и может быть применено к фигурирующему в сновидении шпинату. Когда подают на стол какое-нибудь блюдо, от которого дети отказываются, то мать пытается, конечно, сначала ласково уговорить детей: *отведайте хоть немного*. Конечно, нам может показаться странным, что сонная психика ловко пользуется двойным смыслом слов, но опыт показал, что это самое обыкновенное явление.

Сгущением образов во сне объясняется появление некоторых элементов, свойственных только сонной психике и ненаходимых в нашем сознании наяву. Таковы *сборные и смешанные лица* и странные смешанные образы, которые можно сравнивать с созданными народной фантазией на востоке сложными животными; последние, однако, имеют в нашем представлении определенную застывшую форму, между тем как сонная психика постоянно создает новые, сложные образы в неисчерпаемом богатстве. Каждый знаком с такими созданиями по своим собственным сновидениям. Способы их образования весьма различны. Я могу создать сложный образ лица, либо давая ему облик одного, а имя другого, либо представляя себе одно лицо и ставя его в положение, в котором находилось другое.

Во всех этих случаях соединение различных лиц в одного представителя их в сновидении вполне осмысленно: оно имеет в виду сопоставление оригиналов с известной точки зрения, которая может быть упомянута в самом сновидении. Но обык-

новенно только путем анализа можно отыскать эти общие черты спаянных лиц, а образование таких лиц во сне намекает на эти общие черты.

Таким же многообразным путем и по тем же причинам возникают неизмеримо богатые по содержанию смешанные создания сна, примеры которых я не стану приводить. Они перестанут казаться странными, если не сопоставлять их с объектами восприятий наяву, а иметь в виду, что они представляют собой результат сгущения образов во сне и выделяют в сокращенном виде общие черты скомбинированных таким образом объектов. Но эти общие черты и в данном случае выясняются большей частью только путем анализа; сон как бы говорит: все эти явления имеют какой-то общий X.

Разложение этих смешанных созданий путем анализа часто ведет кратчайшим путем к истолкованию сновидения. Так, мне снилось однажды, что я сижу на одной скамье с одним из своих прежних университетских учителей, причем скамья эта начинает быстро двигаться среди других скамей. Эта картина является комбинацией аудитории с trottoir roulant[1]; дальше я пока не стану следить за этой мыслью. В другой раз во сне я сижу в вагоне и держу на коленях какой-то предмет, имеющий форму шляпы-цилиндра и сделанный из прозрачного стекла. По поводу этой картины мне тотчас приходит в голову пословица: «Со шляпой в руке можно пройти по всей стране». Стеклянный цилиндр напоминает косвенно ауэровскую сетку, и я тотчас узнаю, что хотел бы изобрести что-нибудь, что

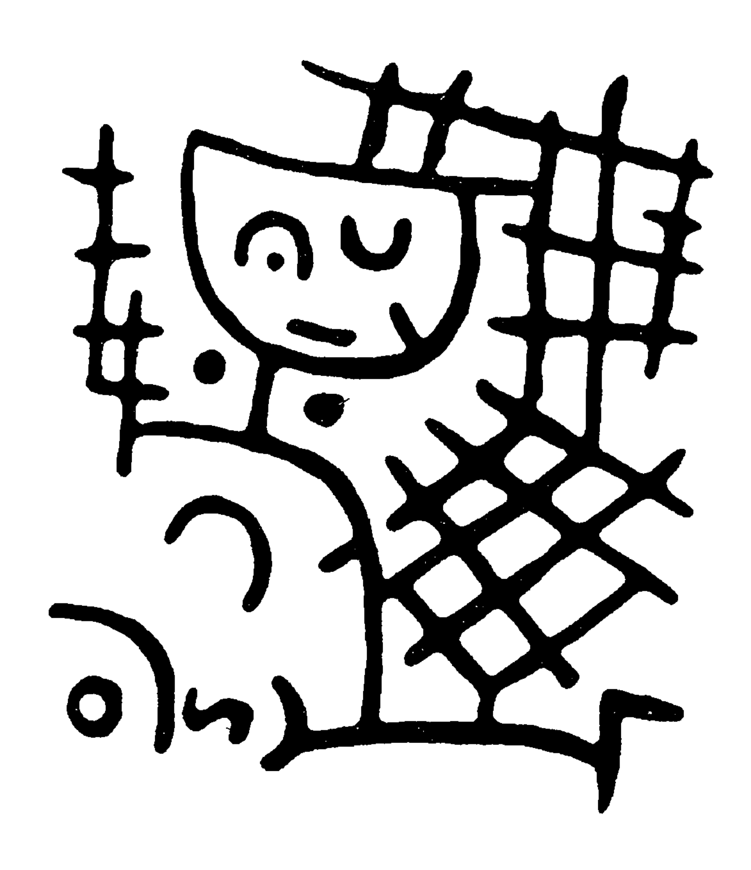
помогло бы мне сделаться таким же богатым и независимым, как мой земляк доктор Ауэр, из Вельсбаха,— тогда я мог бы путешествовать вместо того, чтобы сидеть в Вене. В сновидении я путешествую со своим изобретением, стеклянной шляпой-цилиндром, которая, впрочем, еще не вошла в употребление.

Особенно охотно работа сна соединяет в одном смешанном образовании два противоречащих друг другу представления. Так, одна женщина во сне видит у себя в руках высокий цветочный стебель, как у ангела на картинах Благовещения Девы Марии (ее называют — Непорочная Дева Мария); но стебель покрыт большими белыми цветами, похожими на камелии (противоположность непорочности — дама в камелиях)[2].

Большую часть того, что мы узнали относительно происхождения образов во сне, можно выразить в следующей форме: каждый элемент сновидения *в избытке определяется* скрытыми в сновидении мыслями и обязан своим происхождением не одному элементу этих мыслей, а целому ряду их; однако последние не тесно связаны между собой, а относятся к различнейшим отделам сплетения скрытых мыслей. В содержании сна каждый элемент является по существу выражением всего этого неодинакового материала. Помимо того, анализ вскрывает еще и другую сторону сложного соотношения между содержанием сна и скрытыми в нем мыслями: подобно тому, как от каждого элемента сна идут нити по многим скрытым мыслям, так и каждая скрытая в сновидении мысль

выражается обыкновенно не одним, а несколькими элементами сна; ассоциационные нити идут не просто от скрытых мыслей к содержанию сна, а многократно скрещиваются и переплетаются.

Наряду с превращением мысли в ситуацию («драматизацией») наиболее важным и своеобразным признаком работы сна является сгущение образов. Но до сих пор нам еще ничего не известно о мотивах, побуждающих нас к такому сгущению содержания.



V

В сложных и спутанных сновидениях, которыми мы теперь заняты, нельзя объяснять все несходство между содержанием сна и скрытыми в нем мыслями только сгущением образов и драматизацией. Имеются доказательства влияния еще и третьего фактора, который заслуживает тщательного исследования. Когда мне удается путем анализа докопаться до скрытых в сновидении мыслей, то я прежде всего замечаю, что явное содержание сна состоит совсем из другого материала, чем скрытое. Конечно, это только внешняя разница, исчезающая при внимательном исследовании, ибо в результате все содержание сна можно найти в скрытых мыслях, почти все эти мысли находят себе выражение в содержании сна. Но на этой разнице все-таки кое-что остается еще после анализа. То, что в сновидении выступало отчетливо на первый план как существенное, должно после анализа довольствоваться весьма подчиненной ролью среди других скрытых за сновидением мыслей; наоборот, те из последних, которые, по свидетельству моих эмоций, имеют право на самое большое внимание в сновидении, либо совсем отсутствуют, либо выражены отдаленными намеками в неясных частях его. Это явление я могу описать еще следующим образом: во время работы сна психическое напряжение переходит от мыслей и представлений, которым оно принадлежит по праву, к другим, не имеющим, по моему мнению, никакого права на такое подчеркивание; ни один процесс не помогает так сильно, как этот, скрыть смысл сно-

видения и сделать непонятной связь между содержанием сна и скрытыми за ним мыслями. Во время этого процесса, который я назову *вытеснением сновидения*, наблюдается также замена психического напряжения и относительной важности мыслей живостью образов. Наиболее ясное в содержании сна кажется обыкновенно самым важным, между тем как раз в неясной части сна часто можно обнаружить самую непосредственную связь с наиболее существенной, скрытой за сновидением мыслью. То, что я назвал вытеснением сновидения, можно было бы назвать также *переоценкой психических ценностей*. Для полной оценки данного явления необходимо еще указать на то, что эта работа вытеснения или переоценки ценностей весьма неодинакова в различных сновидениях: бывают сновидения, образовавшиеся почти без всякого вытеснения и являющиеся в то же время вполне осмысленными и понятными, каковы, например, незамаскированные исполнения желаний во сне; в других сновидениях, наоборот, ни одна из скрытых мыслей не сохранила своей собственной психической ценности, и все существенное скрытых мыслей замещено второстепенным.

Между этими двумя формами наблюдается целый ряд постепенных переходов; чем темнее и запутаннее сновидение, тем большее участие в его создании можно приписать процессу вытеснения. Избранный нами для анализа пример обнаруживает такое смещение, в силу которого содержание сна и скрытых за ним мыслей концентрируется в разных

точках: во сне на первый план выступает ситуация, будто какая-то женщина делает мне авансы; в скрытых же мыслях центр тяжести покоится на желании отведать разок бескорыстную любовь, «которая ничего не стоит»; последняя мысль скрывается также за разговорами о красивых глазах и отдаленным намеком в слове «шпинат».

Исправляя путем анализа приведенное во сне вытеснение, мы приходим к совершенно неоспоримым выводам относительно двух спорных проблем сна, именно относительно возбудителей сновидения и связи последнего с психикой наяву. Есть сновидения, которые сразу обнаруживают свою связь с дневными переживаниями; в других же нельзя отыскать этой связи. Однако анализ доказывает, что каждый сон без исключения связан с каким-либо впечатлением последних дней, или, вернее, последнего дня перед сновидением. Впечатление, играющее роль возбудителя сновидения, может быть так значительно, что наяву нас не удивляет интерес к нему; в этом случае мы справедливо считаем сновидение продолжением важных интересов дня. Но обыкновенно, если содержание сна имеет какое-либо отношение к дневному впечатлению, последнее бывает так ничтожно и так легко забывается, что мы лишь с трудом припоминаем его. Сновидение, будучи даже связным и понятным, как будто интересуется самыми безразличными мелочами, которые наяву не могли бы вызвать никакого интереса. Преображение в сновидении в значительной степени объясняется тем, что сон оказывает такое

предпочтение безразличному и неважному; но анализ разрушает внешнюю оболочку, на которую опирается эта низкая оценка сновидения. Там, где сновидение выставляет на первый план в качестве возбудителя безразличное впечатление, анализ обыкновенно обнаруживает значительное и справедливо волнующее переживание, которое во сне входит в обширные ассоциативные связи с безразличным переживаниям и замещается им. Там, где сновидение занято лишенными значения и интереса представлениями, анализ вскрывает многочисленные связи, соединяющие это неважное впечатление с весьма ценным. Когда мы в содержании сна находим безразличное впечатление вместо интересного, то это нужно рассматривать как результат работы замещения.

Придерживаясь теперь взгляда, выработанного нами при замене явного содержания сна скрытым, на вопрос о возбудителях сновидения и о связи последнего с повседневной жизнью нужно ответить следующим образом: сновидение никогда не интересуется тем, что не могло бы привлечь нашего внимания днем, и мелочи, не волнующие нас днем, не в состоянии преследовать нас и во сне. Каков же возбудитель сновидения в избранном нами для анализа примере? Это незначительное переживание, заключавшееся в том, что приятель дал мне возможность проехаться даром в карете. Картина за табльдотом во сне содержит намек на этот незначительный факт, ибо в разговоре с приятелем я привел карету с таксометром в параллель с табльдотом.

Но я могу также указать и на важное переживание, которое замещено во сне этим незначительным: несколькими днями ранее я истратил много денег на одного дорогого мне члена моей семьи. И вот скрытые за сновидением мысли как бы говорят: было бы нисколько не удивительно, если бы то лицо отблагодарило меня — любовь его не была бы бесплатной. Бесплатная же любовь, по-видимому, стоит среди моих скрытых мыслей на первом плане. И то обстоятельство, что я с указанным родственником незадолго перед тем несколько раз ездил в карете, приводит к тому, что поездка с моим приятелем напоминает мне об отношениях к первому. Для того чтобы какое-нибудь незначительное переживание могло сделаться возбудителем сновидения, необходимо еще одно условие, не нужное для действительного источника сновидения; это переживание должно быть всегда свежим, т. е. относиться ко дню перед сновидением.

Я не могу оставить вопроса о смещении сновидений, не упомянув еще об одном удивительном явлении, которое наблюдается при образовании картин сновидения под влиянием сгущения и смешения образов. При рассмотрении сгущения мы уже имели возможность познакомиться с таким случаем, когда два скрытых за сновидением представления, имея что-либо общее между собой или какую-нибудь точку соприкосновения, замещаются в сновидении смешанным представлением, в котором ясное зерно соответствует общим, а неясные подробности — частным чертам обоих представлений. Если к этому

сгущению присоединяется еще и смещение, то образуется не смешанное представление, а среднее общее, которое относится к отдельным элементам так, как в параллелограмме сил составляющие относятся к равнодействующей. Например, в одном из моих сновидений идет речь о впрыскивании *пропилена*. При анализе я прежде всего нахожу в качестве возбудителя сновидения незначительное переживание, в котором некоторую роль играет амилен (химический препарат). Пока я еще не могу объяснить смешение амилена с пропиленом. Но к кругу идей того же сновидения относится еще воспоминание о первом посещении Мюнхена, где на меня произвели сильное впечатление *Пропилеи*[3]. Дальнейший анализ позволяет высказать предположение, что вытеснение амилена пропиленом было обусловлено влиянием второго круга идей на первый. Пропилен является, так сказать, средним представлением между амиленом и Пропилеями, и слово это попадает в содержание сна в качества компромисса путем одновременного сгущения и смещения. При взгляде на эту работу смещения потребность найти мотивы такой загадочной работы сна чувствуется еще настоятельнее, чем при сгущении.



VI

Если то обстоятельство, что мы в содержании сна не находим или не узнаем скрытых за ним мыслей и не догадываемся даже о причинах такого искажения, обусловлено главным образом работой смещения, то другая, более легкая переработка скрытых мыслей приводит нас к обнаружению новой, но уже легко понятной деятельности сонной психики. Ближайшие скрытые мысли, обнаруживаемые путем анализа, часто поражают нас своей необычной внешностью: они являются нам не в трезвых словесных формах, которыми наше мышление обыкновенно пользуется, а скорее выражаются символически, посредством сравнений и метафор, как в образном поэтическом языке. Нетрудно найти причину такого рода условностей при выражении скрытых мыслей. Сновидение большей частью состоит из зрительных картин (ситуаций); поэтому скрытые мысли должны прежде всего подвергнуться некоторым изменениям, чтобы сделаться годными для такого способа выражения. Если мы представим себе, например, задачу, заключающуюся в том, чтобы заменить фразу из какой-нибудь руководящей политической статьи или из речи в судебном зале рядом картинных изображений, то мы легко поймем, какие изменения вынуждена производить сонная психика в целях картинности сновидения.

Среди психического материала скрытых мыслей обыкновенно встречаются воспоминания о глубоких переживаниях, нередко из раннего детства, запечатлевшихся как ситуации

со зрительным содержанием. Этот элемент скрытых мыслей, действуя как бы в качестве кристаллизационного центра на концентрацию и распределение материала скрытых мыслей, оказывает, где только возможно, определяющее влияние на формирование сновидения. Ситуация во сне является часто ни чем иным, как видоизмененным и усложненным повторением указанного глубокого переживания; сновидение лишь очень редко дает точную и без всяких примесей репродукцию действительных сцен. Но сновидение не состоит исключительно из ситуаций, а содержит также отдельные клочки зрительных образов, речей и даже неизмененных мыслей. Небесполезно, пожалуй, просмотреть теперь вкратце изобразительные средства, которыми располагает сонная психика для своеобразного выражения скрытых мыслей. Обнаруживающиеся путем анализа скрытые мысли представляют психический комплекс самого запутанного строения. Части его находятся в самых разнообразных логических отношениях друг к другу: они могут стоять на первом и на последнем плане; могут быть условиями, отступлениями, пояснениями, доказательствами и возражениями; почти всегда рядом с одним направлением мыслей находится противоречащее ему обратное течение. Этому материалу свойственны все характерные черты знакомого нам мышления наяву; но, чтобы получить сновидение из этого психического материала, необходимо подвергнуть его сгущающей прессовке, внутреннему раздроблению, перемещению и наконец избирательному воздействию со стороны наиболее

пригодных для образования ситуаций составных частей. При такой переработке психический материал теряет, конечно, скреплявшие его логические связи: сонная психика как будто берет на себя только обработку фактического содержания скрытых мыслей; так что при толковании сна необходимо восстановить связь, уничтоженную работой сна. Таким образом, средства выражения сонной психики можно назвать жалкими в сравнении со средствами нашего мышления. Однако сновидение вовсе не должно отказываться от передачи логических отношений между скрытыми мыслями: очень часто ему удается заменять эти отношения характерными созданиями собственного творчества. Сновидение прежде всего обнаруживает непреложную связь между всеми частями скрытых мыслей тем, что соединяет весь этот материал в одну ситуацию, оно выражает *логическую связь сближением во времени и пространстве* подобно художнику, объединяющему на изображении Парнаса[4] всех поэтов, которые, конечно, никогда не находились вместе на одной вершине горы, но в *понятии*, несомненно, образуют одну семью. Сонная психика применяет этот способ выражения и в частностях, так что, если в сновидении два элемента находятся рядом, это говорит об особенной тесной связи между скрытыми за ними мыслями. Здесь нужно еще заметить, что сновидения одной ночи обнаруживают при анализе свое происхождение от одного и того же круга идей.

Причинная зависимость в сновидении либо вовсе не выражается, либо замещается последовательностью во времени двух неодинаково длинных частей сновидения. Часто это замещение бывает обратным, т. е. начало сновидения соответствует следствию, а конец — предпосылке. Прямое *превращение* во сне одного предмета в другой указывает, по-видимому, на отношение *причины к действию*. Сновидение никогда не выражает альтернативу «или-или», а содержит оба члена ее как равнозначные в одной и той же связи. И я уже упоминал, что при воспроизведении сновидения альтернативу «или-или» нужно передавать словом «и». Противоречащие друг другу представления выражаются во сне преимущественно одним и тем же элементом. Слова «нет», по-видимому, не существует между двумя мыслями и *обратное отношение* выражается во сне в высшей степени странно, а именно одна часть сновидения как бы последовательно превращается в свою противоположность. Ниже мы познакомимся еще и с другим способом выражения противоречия.

Столь частое во сне ощущение затрудненного движения выражает противоречие между импульсами, т. е. волевой конфликт. Весьма пригодным для механизма создания сновидений оказывается только одно логическое отношение — отношение подобия, общности, согласования. Сон пользуется этими случаями как опорными пунктами для сгущения сновидений и соединяет в одну новую единицу все, что обнаруживает такое согласование.

Всех высказанных нами замечаний, конечно, недостаточно для правильной оценки всей суммы средств, которыми располагает сонная психика для выражения логических отношений между скрытыми за сновидением мыслями. В этом отношении разные сновидения бывают обработаны более тонко или более небрежно, они неодинаково старательно придерживаются предлежащего текста и неодинаково пользуются вспомогательными средствами сонной психики; в ином случае сновидения кажутся темными, путаными и бессвязными. Когда сон очевидно нелеп и содержит очевидное противоречие, это происходит преднамеренно: своим с виду небрежным отношением ко всем логическим требованиям сновидение указывает на какую-то скрытую мысль; нелепость в сновидениях означает противоречие, насмешку и издевательство в скрытой мысли.

Так как это объяснение является самым сильным возражением против того понимания сна, которое приписывает происхождение сновидения диссоциированной и лишенной критики душевной деятельности, то я хочу подкрепить свое объяснение примером. Мне снится: один мой знакомый М. подвергся в одной статье нападкам со стороны, ни больше ни меньше, как самого Гёте; нападки эти, по нашему общему мнению, были незаслуженны. М. был, конечно, уничтожен ими; он горько жалуется на это в одном обществе за столом, но говорит, что его уважение к Гёте от этого нисколько не пострадало. Я стараюсь затем несколько прояснить себе обстоятельства времени, которые кажутся мне неправдоподобными. Гёте

умер в 1832 году, следовательно, его нападки на М. должны были произойти раньше; М. должен был быть тогда совсем молодым человеком; мне *представляется* вероятным, что ему было 18 лет. Но я знаю точно, какой у нас теперь год, и таким образом все вычисление затемняется. Впрочем эти нападки содержатся в известной статье Гёте «Природа».

Бессмысленность этого сновидения сделается еще ярче, если я сообщу, что М.— молодой делец, которому чужды всякие поэтические и литературные интересы. Но приступив к анализу этого сновидения, я сумею доказать, что за этой бессмысленностью кроется определенная система. Сновидение черпает свой материал из трех источников.

М., с которым я познакомился в одном обществе за столом, обратился ко мне однажды с просьбой исследовать его старшего брата, обнаруживавшего признаки душевного расстройства. При разговоре с больным случилась неприятная сцена, заключавшаяся в том, что больной без всякого повода стал нападать на брата и намекать на его юношеские похождения. Я спросил больного о дне его рождения (день смерти во сне) и заставил его производить различные вычисления, чтобы обнаружить у него ослабление памяти.

Одна медицинская газета, на обложке которой стояло также и мое имя, поместила прямо-таки «уничтожающую» критику одного совсем молодого референта по поводу книги моего друга Ф. из Берлина. По этому поводу я говорил с редактором, который, правда, выразил свое сожаление, но отказался по-



местить извинение. После этого я прекратил отношения с газетой и в своем письменном отказе выразил редактору надежду, что наши личные отношения от этого случая не пострадают. Данный случай собственно и является источником сновидения. Отрицательный прием, оказанный работе моего друга, произвел на меня глубокое впечатление: эта работа, по моему мнению, содержала фундаментальное биологическое открытие, которое лишь теперь, спустя четыре года, начинают оценивать специалисты.

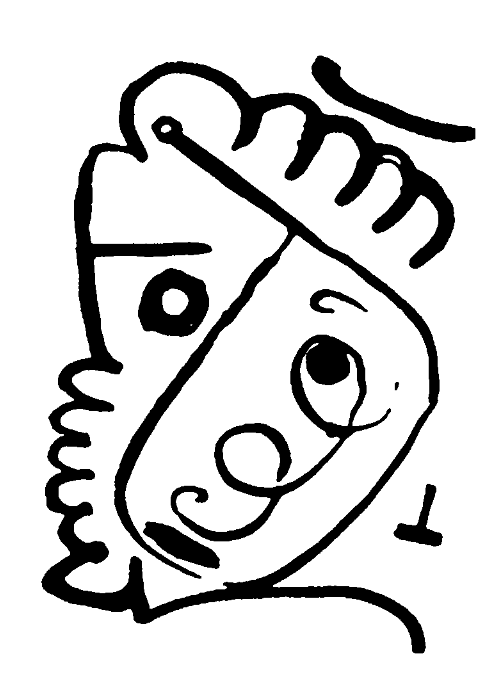
Одна больная рассказала мне недавно историю болезни своего брата, который впал в помешательство с криком: «Природа, природа». Врачи думали, что восклицание это относится к чтению прекрасной статьи Гёте и что оно указывает на переутомление больного от занятий. Я сказал, что *мне представляется более вероятным*, что восклицание «природа» нужно понимать в том половом смысле, который известен и необразованным. И тот факт, что несчастный больной впоследствии изуродовал себе половые органы, подкрепил мое предположение. Когда произошел первый припадок, этому больному было 18 лет.

В сновидении прежде всего за моим «я» скрывается мой так плохо встреченный критикой друг. «Я стараюсь несколько выяснить себе обстоятельства времени». Книга моего друга посвящена именно исследованию некоторых вопросов о продолжительности жизни; между прочим автор говорит также о продолжительности жизни Гёте, которая равна очень значи-

тельному в биологии числу дней. Однако мое «я» уподобляется затем паралитику («я не знаю точно, какой у нас теперь год»). Таким образом, сновидение представляет моего друга паралитиком, изобилуя при этом нелепостями. Скрытые же мысли гласят иронически: «Конечно, он — сумасшедший дурак, а вы — гении и больше всех понимаете; а не вернее ли будет *обратное положение*?» Эта фигура *обратного* отношения широко использована во сне: например Гёте нападает на молодого человека; это, конечно, нелепо, ибо в наше время всякий молодой человек легко может критиковать великого Гёте.

Я мог бы сказать, что каждое сновидение исходит только из эгоистических побуждений. Мое «я» во сне не только замещает моего друга, но изображает также и меня самого; я отождествляю себя с ним: судьба его открытия представляется мне образцом того, как будет приятно мое собственное открытие; когда я выступаю со своей теорией, подчеркивающей в этиологии психоневрозов влияние половой сферы (ср. намеки на больного с возгласом «природа»), то меня ожидает такая же критика, и я уже теперь так же смеюсь над ней. Вскрывая далее свои скрытые мысли, я постоянно нахожу насмешку и издевательство как коррелят нелепостей в сновидении. Случайная находка в Венеции надтреснутого черепа овцы, как известно, навела Гёте на мысль о так называемой позвоночной теории черепа. Мой друг хвалился, что, будучи студентом, он поднял целую бурю для устранения одного старого профессора, который, имея в прошлом заслуги (между прочим,

и в указанной области сравнительной анатомии), сделался затем вследствие старческого слабоумия неспособным к преподаванию. Поднятая им (другом) агитация помогла исправлению положения, создавшегося из-за того, что в немецких университетах не положен возрастной предел академическому преподаванию. Но старческий *возраст не гарантирует от глупости*. Несколько лет я служил в одной больнице при старшем враче, который, будучи давно уже дряхлым и с десяток лет заведомо слабоумным, продолжал занимать свою ответственную должность. Здесь мне вспоминается находка Гёте в Венеции. Молодые коллеги по больнице применили как-то к этому старику популярную в то время песенку: «Ни один Гёте этого не воспел, ни один Шиллер этого не описал и т. д.».







VII

Мы не закончили еще оценки работы сонной психики. Кроме сгущения, вытеснения и картинной переработки психического материала, необходимо приписать сонной психике еще другого рода функцию, заметную, впрочем, не во всех сновидениях. Я не стану подробно описывать эту часть работы сна, но хочу лишь указать, что о ее сущности можно составить себе представление, если предположить, может быть не совсем верно, что сонная психика действует иногда на сновидение уже после его образования. Ее работа заключается в том, чтобы расположить составные элементы сна в таком порядке, при котором они находились бы между собой в связи и сливались бы в одно цельное сновидение. Таким образом, сновидение приобретает нечто вроде фасада, который, конечно, не во всех пунктах, прикрывает его содержание. Но такая обработка сновидения становится возможной лишь благодаря тому, что сонная психика при этом ничем не смущается и вообще обнаруживает резкое непонимание скрытых мыслей; поэтому, когда мы приступаем к анализу сновидения, нам прежде всего необходимо отбросить эту часть работы сна.

В этой части цель работы сонной психики становится особенно прозрачной, это желание сделать сон более понятным. Это обстоятельство указывает также и на характер такой переработки; последнее относится к соответственному сновидению так же, как наша нормальная психика — к содержанию любого восприятия: она применяет к нему известные

готовые представления и уже при самом восприятии в целях понятности располагает элементы последнего в определенном порядке; однако такая переработка рискует исказить восприятие, и, действительно, если не удается связать его с чем-либо известным, она приводит к самым странным недоразумениям. Ведь известно, что мы не в состоянии смотреть на ряд чуждых нам знаков или слушать незнакомые слова без того, чтобы не видоизменять их с целью сделать понятными и связать с чем-либо понятным для нас.

Сновидения, подвергшиеся такой обработке со стороны сонной психики, можно назвать хорошо сочиненными. В других сновидениях эта деятельность сонной психики совершенно отсутствует; в них даже не делается попытки упорядочить и истолковать сон, так что по пробуждении мы, не находя в сновидении определенного порядка, говорим, что оно было «совершенно путаным». Однако сновидение, представляющее беспорядочную кучу бессвязных отрывков, имеет для анализа такую же ценность, как и сновидение, хорошо сглаженное и снабженное поверхностью; в первом случае нам не приходится тратить усилия на разрушение того, что создано последней функцией работы сна.

Если твердо держаться того положения, что «работа сна» обозначает переработку скрытых мыслей содержания сна, то нужно сказать, что работа сна ничего не создает, не проявляет своей собственной фантазии, не рассуждает, не умозаключает и что вообще функции ее заключаются только в сгущении



материала, перемещении его и картинной переработке, к которой присоединяется еще последний непостоянный элемент — работа толкования, т. е. связывание. В содержании сна встречаются, правда, и такие элементы, которые можно было бы принять за продукт высшей психической деятельности; но анализ всегда обнаруживает, что эти умственные операции имели место уже в скрытых мыслях, откуда сновидение их лишь заимствует. Логическое заключение в сновидении есть не что иное, как повторение заключения из скрытых мыслей. Оно бывает неопровержимым, если переходит в сновидение без изменений; но оно становится бессмысленным, если работа сна применяет его к другому материалу.

Вычисление во сне указывает на таковое же в скрытых мыслях; но, тогда как в последнем случае вычисление всегда правильно, во сне оно может в силу сгущения элементов и применения (смещения) к другому материалу дать самый нелепый результат. Даже встречающиеся в сновидении речи не сочинены вновь: они оказываются составленными из отрывков речей, произнесенных или слышанных раньше и воспроизведенных теперь в скрытых мыслях; при этом слова воспроизводятся самым точным образом, повод же их произнесения игнорируется и смысл жестоко извращается. Быть может, не излишне подкрепить последние указания примерами.

Невинно звучащее и хорошо сочиненное сновидение одной пациентки гласит:

Она идет на рынок со своей кухаркой, которая несет корзину. Мясник в ответ на ее требование чего-то говорит: «*Этого уже нет*» и хочет дать ей что-нибудь другое с замечанием: «*Это тоже хорошо*». Она отказывается и идет к зеленщице. Последняя предлагает ей пучок какой-то странной зелени черного цвета. Она говорит: «*Этого я не знаю и не возьму*».

Слова «этого уже нет» находятся в связи с историей ее лечения. Я сам за несколько дней до того объяснял пациентке, что воспоминания раннего детства *уже не существуют* как таковые, а заменяются метафорами и сновидениями; значит, в ее сновидении в качестве мясника фигурирую я. Другие слова «этого я не знаю» были произнесены при совершенно других условиях. За день до сновидения она крикнула своей кухарке, которая, впрочем, тоже фигурирует в сновидении: «Ведите себя прилично, *этого я не признаю*» (т. е. такого поведения не признаю и не понимаю). Более невинная часть этой фразы попала, в силу смещения, в сновидение; в скрытых же мыслях главную роль играла другая часть фразы; дело в том, что в данном случае работа сна крайне наивно и до полной неузнаваемости изменила созданную воображением больной ситуацию, где я веду себя *в некотором роде неприлично* по отношению к ней. А эта воображаемая ситуация в свою очередь является лишь новым изданием переживания пациентки, имевшего когда-то место в действительности.

Вот другой, как будто лишенный всякого значения сон, в котором встречаются числа. Г-же А. снится, будто ей нуж-

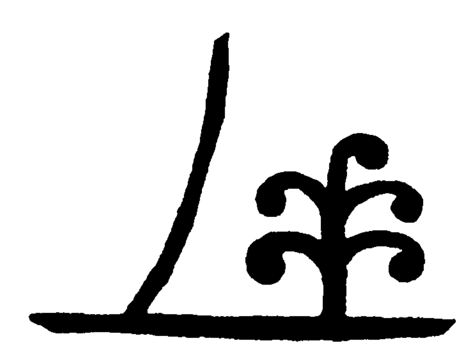
но уплатить за что-то; дочь ее берет у нее из кошелька 3 флорина 65 крейцеров, но мать говорит ей: «Что ты делаешь? Это ведь стоит только 21 крейцер».

Сновидящая была иногородней; она поместила своего ребенка в какое-то воспитательное заведение в Вене и могла продолжать лечение у меня до тех пор, пока в Вене оставалась ее дочь. В день перед сновидением заведующая заведением советовала матери оставить ребенка еще на год; в этом случае она продлила бы свое лечение на год. Числа в сновидении приобретают значение, если вспомнить, что «время — деньги». Один год равен 365 дням, в крейцерах — 365 кр. или 3 фл. 65 кр.; 21 кр. соответствует трем неделям, которые оставались со дня сновидения до конца учения и, следовательно, до конца лечения. По-видимому, именно денежные соображения заставили эту даму отклонить предложение заведующей и в силу этих же соображений во сне фигурирует небольшая денежная сумма.

Молодая, но находящаяся уже несколько лет в замужестве дама узнает, что ее знакомая сверстница Элиза Л. помолвлена. По этому поводу ей приснилось следующее: она со своим мужем сидит в театре, и одна сторона партера совершенно не занята. Муж рассказывает ей, что Элиза Л. и жених ее также хотели пойти, но могли достать только плохие места, три места за 1 фл. 50 кр., а таких они не хотели взять. Она думает, что в этом не было бы беды.

Здесь нас интересует, как эти числа возникли из материала скрытых мыслей и каково испытанное ими превращение.

Откуда получились эти 1 фл. 50 кр.? По незначительному поводу предыдущего дня: ее невестка получила в подарок от своего мужа 150 фл. и поторопилась растратить их, купив себе на эту сумму какое-то украшение. Заметим, что 150 фл. в 100 раз больше, чем 1 фл. 50 кр. Для цифры «три», относящейся к театральным билетам, имеется лишь та связь, что невеста, Элиза Л., ровно на три месяца моложе этой дамы (сновидящей). Ситуация в сновидении является воспроизведением небольшого случая, которым муж ее часто дразнил: она однажды очень *торопилась* достать заблаговременно билеты на одно представление; когда же она явилась в театр, *одна сторона партера была почти не занята*; ей, следовательно, незачем было *так торопиться*. Не оставим, наконец, без внимания и ту нелепость в сновидении, что два лица хотят взять три билета в театр. Скрытые мысли здесь таковы: «это ведь было *бессмысленно* выходить так рано замуж; мне *незачем было так торопиться*. На примере Элизы Л. я вижу, что всегда могла бы найти мужа и даже в сто раз лучшего (муж, сокровище — Schatz), если бы только подождала. За свои деньги (приданое) я могла бы купить себе *трех* таких мужей».



VIII

Познакомившись в предыдущем изложении с работой сна, читатель, пожалуй, будет склонен рассматривать ее как совершенно особенный процесс, не имеющий, насколько известно, подобного себе; на работу сна как бы переходит то странное ощущение, которое обыкновенно вызывается у нас продуктом этой работы, т. е. сновидением. Но в действительности работа сна впервые знакомит нас лишь с одним из целого ряда психических процессов, на почве которых возникают истерические симптомы, навязчивый страх, навязчивые идеи. Сгущение и прежде всего смещение (вытеснение) являются всегда характерными чертами также и для этих процессов; наоборот, картинная переработка остается своеобразной чертой работы сна. Если это объяснение ставит сновидение рядом с созданиями больной психики, то тем важнее для нас узнать существенные условия возникновения таких процессов, как сновидение.

Читатель, вероятно, будет удивлен, когда услышит, что к этим обязательным условиям не относятся ни сонное состояние, ни болезнь; целый ряд явлений повседневной жизни здоровых людей — забывчивость, обмолвки, промахи и известный род заблуждений — обязан своим возникновением такому же психическому механизму, как и сновидение. Среди отдельных функций работы сна более всего поразительно смещение, являющееся центральным пунктом всей проблемы. При исследовании вопроса мы узнаем, что явление смещения

обусловлено чисто психологическими моментами: оно является чем-то вроде *мотивировки.*

Чтобы обнаружить последнюю, необходимо дать оценку тем фактам, с которыми мы неизбежно сталкиваемся при анализе сновидения. Так, при анализе первого сновидения я вынужден был прервать изложение скрытых мыслей ввиду того, что среди них, как я признался, были такие, которые я по важным соображениям предпочитаю скрыть от посторонних. К этому я добавил, что, если вместо данного сновидения взять для анализа какое-нибудь другое, это делу не поможет: в каждом сновидении с темным или путаным содержанием я натолкнулся на скрытые за ним мысли, требующие сохранения тайны. Но если я продолжаю анализ для себя самого и не принимаю во внимание других, для которых ведь и не предназначено такое личное переживание, как сновидение, то я добираюсь наконец до таких мыслей, которые ошеломляют меня, которых я в себе не знал и которые мне не только *чужды*, но и *неприятны*; я готов энергично оспаривать их, но протекающая в анализе ассоциация идей непреодолимо навязывает мне их.

Это общее положение вещей я могу объяснить только тем, что мысли эти действительно содержались в моей психике и обладали известной психической интенсивностью, но находились в своеобразном психологическом состоянии, в силу которого не *могли сделаться сознательными.* Я называю это особенное состояние — состоянием вытеснения, вытесненным со-

стоянием. И я не могу не видеть причинной связи между неясностью сновидения и вытесненным состоянием некоторых скрытых мыслей, т. е. неспособностью их достигнуть сферы сознания; а отсюда я заключаю, что сновидение должно быть неясным для того, чтобы не выдать запретных скрытых мыслей.

Таким образом я прихожу к представлению об *искажении сновидения*, которое является продуктом работы сна и имеет своею целью *замаскировать*, т. е. скрыть что-нибудь. Я попытаюсь теперь на примере избранного мною для анализа сновидения спросить себя, какова же та скрытая мысль, которая проявилась в этом сновидении в искаженном виде и которая, будучи не искажена, вызвала бы с моей стороны самое резкое возражение. Я вспоминаю, что даровая поездка в карете напомнила мне о дорого обошедшихся мне в последнее время поездках в карете с одним членом моей семьи; далее, что толкование сновидения привело меня к мысли — «мне хотелось бы испытать разок любовь, которая мне ничего не стоит» — и наконец, что я незадолго перед сновидением истратил на это самое лицо большую сумму денег. В этой связи я не могу отделаться от мысли, что *мне жаль этих денег*. И только, когда я признаюсь в этом чувстве, приобретает смысл то обстоятельство, что я во сне хочу любви, не требующей от меня никаких расходов. И все-таки я вправе искренне сказать себе, что при решении истратить ту сумму я не колебался ни одного мгновения; сожаление от этом, т. е. обратное побуждение, не достигло моего сознания; по каким причинам

не достигло,— это в любом случае другой вопрос, ведущий далеко в сторону, и известный мне ответ на него принадлежит к другой связи идей.

Подвергая анализу не свое собственное, а сновидение другого лица, я приду к тем же выводам, хотя соображения, на которых будут основываться мои выводы, будут иными. Если я имею дело со сновидением здорового человека, то у меня нет иного средства заставить его признать обнаруженные и неосознанные им скрытые мысли, как указать на общую связь всех скрытых за сновидением мыслей. Если же я имею дело с нервнобольным, например истериком, то признание неосознанной (вытесненной) мысли является для него обязательным ввиду связи этой последней с симптомами его болезни и ввиду улучшения, наступающего у него при замене симптомов болезни неосознанными мыслями. Например, у больной, которой принадлежит последнее сновидение с тремя билетами за 1 фл. 50 кр., анализ должен допустить, что она не ценит своего мужа, сожалеет о браке с ним и охотно заменила бы его другим; она конечно, утверждает, что любит его и что ее сознание ничего не знает об этой низкой оценке мужа (в сто раз лучшего!); но все симптомы ее болезни приводят к такому же заключению, как и это сновидение. И после того как у больной были разбужены вытесненные воспоминания о том времени, когда она сознательно не любила своего мужа, болезненные симптомы исчезли, а с ними исчезло и ее сопротивление против вышеупомянутого толкования сновидения.

IX

Установив понятие о вытеснении и приведя факт искажения сновидения в связь с вытесненным психическим материалом, мы в состоянии указать в общих чертах на полученные из анализа сновидений главные результаты. Относительно понятных и осмысленных сновидений мы узнали, что они являются незамаскированными исполнениями желаний, т. е. что ситуация во сне представляет исполненным какое-нибудь вполне заслуживающее внимания желание, знакомое сознанию и оставшееся невыполненным наяву. В неясных и путаных сновидениях анализ обнаруживает нечто аналогичное: ситуация во сне опять изображает исполненным какое-нибудь желание, выплывающее всегда из скрытых мыслей; но представлено оно в неузнаваемом виде, так что только анализ в состоянии вскрыть его. При этом желание либо само вытеснено и чуждо сознанию, либо самым тесным образом связано с вытесненными мыслями и выражается ими. Итак, формула этих сновидений такова: *они суть замаскированные исполнения вытесненных желаний*. Любопытно отметить по этому поводу справедливость народного воззрения, рассматривающего сновидения как предсказание будущего. В действительности во сне проявляется не то будущее, которое наступит, а то, наступления которого мы желали бы; народный дух и здесь поступает так, как он привык поступать в других случаях: он верит в то, чего желает.

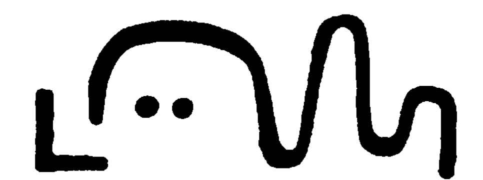
С точки зрения исполнения желаний сновидения бывают трех родов. Во-первых, сновидения, представляющие *невытесненное* желание в незамаскированном виде; таковы сновидения детского типа, реже встречающиеся у взрослых. Во-вторых, сновидения, выражающие *вытесненные* желания в замаскированном виде; таково, пожалуй, огромное большинство всех наших сновидений, для понимания которых необходим анализ. В-третьих, сновидения, выражающие *вытесненные* желания, но без или с недостаточной маскировкой их. Эти сновидения постоянно сопровождаются *страхом*, прерывающим сон; страх выступает здесь взамен искажения сновидения; в сновидениях же второй категории страх устраняется работой сна. Можно без особых затруднений доказать, что представление, вызывающие теперь у нас во сне страх, было когда-то нашим желанием, а затем было вытеснено. Существуют также ясные сновидения со страшным содержанием, которые, однако, не вызывают страха во сне; поэтому их не следует причислять к сновидениям третьей категории.

Такие сновидения служили всегда доказательством того мнения, что сновидения лишены всякого значения и психической ценности. Однако анализ одного примера покажет, что в таких случаях мы имеем дело с хорошо замаскированными исполнениями вытесненных желаний, т. е. со сновидениями второй категории; этот же пример может служить прекрасной иллюстрацией пригодности смещения для маскировки желания. Девушка во сне видит единственного ребенка своей сестры

мертвым при той же обстановке, при которой она несколько лет назад видела мертвым первого ребенка. При этом девушка не испытывает никакой жалости, но, конечно, протестует против того понимания, будто смерть ребенка соответствует ее желанию. Этого и не требуется.

Дело в том, что у гроба первого ребенка сестры она в последний раз видела и говорила с любимым человеком; если бы умер второй ребенок, то, вероятно, она опять встретилась бы в доме сестры с этим человеком. И вот, она жаждет этой встречи, но протестует против такого желания. В самый день сновидения она взяла билет на лекцию, объявленную все еще любимым человеком; ее сновидение есть просто сон нетерпения перед посещением театра и другими ожидаемыми удовольствиями; чтобы скрыть это стремление, ситуация применена к случаю, который менее всего подходит для радостных чувств, но который все-таки оказал ей однажды услугу. Следует обратить внимание еще на то обстоятельство, что эмоции во сне соответствуют не подстановленному содержанию сна, а действительному, хотя и скрытому; ситуация во сне предвосхищает давно желанное свидание и не дает никакого повода для тяжелых чувств.





X

Так как философам до сих пор не приходилось еще заниматься вопросом о психологии вытеснения, то позволительно в связи с неизвестной сущностью этого явления составить себе наглядное представление о процессе образования сна. Несмотря на сложность принятой нами схемы, мы все-таки не можем удовлетвориться более простой схемой. По нашему мнению, в душевном аппарате человека имеются две мыслеобразующих инстанции, из которых вторая обладает тем преимуществом, что ее продукты находят доступ в сферу сознания; деятельность же первой инстанции бессознательна и достигает сознания только через посредство второй. На границе обеих инстанций, на месте перехода от первой ко второй, находится цензура, которая пропускает лишь угодное ей, а остальное задерживает.

И вот то, что отклонено цензурой, находится, по нашему определению, в состоянии вытеснения. При известных условиях, одним из которых является сон, отношение сил между обеими инстанциями изменяется таким образом, что вытесненное не может быть уже быть вполне задержано; во сне это происходит как бы вследствие ослабления цензуры, в силу которого вытесненное приобретает возможность проложить себе дорогу в сферу сознания. Но так как цензура при этом никогда не упраздняется, и лишь ослабляется, то она довольствуется такими изменениями сновидения, которые смягчают

неприятные ей обстоятельства; то, что в таком случае становится объектом сознания, есть компромисс между намерениями одной инстанции и требованиями другой. *Вытеснение*, ослабление цензуры, образование компромисса — такова основная схема возникновения сновидения, как и всяких психопатических представлений; при образовании компромисса как в том, так и в другом случае наблюдаются явления сгущения и смещения и возникают поверхностные ассоциации, знакомые уже нам при работе сна.

Нет нужды скрывать, что известную роль в созданном нами объяснении сыграл элемент демонизма при работе сна. У нас действительно получилось такое впечатление, что образование неясных сновидений происходит так, как будто одно лицо, находящееся в зависимости от другого, желает сказать то, что последнему неприятно слушать; путем такого уподобления мы создали понятие об *искажении сновидения и о цензуре* и затем постарались перевести свое впечатление на язык несколько грубой, но зато наглядной психологической теории. К чему бы ни свелись наши первая и вторая инстанции при дальнейшем исследовании, мы все же ждем подтверждения нашего предположения, что вторая инстанция распоряжается доступом к сознанию и может не допустить к нему первую инстанцию.

По пробуждении цензура быстро восстанавливает прежнюю силу и тогда может отобрать все, что было завоевано у нее

в период слабости. То, что забывание сновидения — по крайней мере, отчасти — требует именно такого объяснения, явствует из опыта, подтвержденного бесчисленное количество раз. При пересказе сновидения или при анализе его нередко случается, что отрывок, считавшийся забытым, вдруг вновь всплывает в памяти; этот извлеченный из забвения отрывок дает обыкновенно наилучший и ближайший путь к истолкованию сновидения; вероятно, в силу этого обстоятельства данный отрывок и был подавлен, т. е. забыт.



XI

Истолковав сновидение как образное исполнение желания и объяснив неясность его цензурными изменениями в вытесненном материале, нам уже не трудно сделать вывод о функции сновидения. В противоположность обычным разговорам о том, что сновидения мешают спать, мы должны считать сновидение хранителем сна. По отношению к детскому сну это утверждение, пожалуй, не встретит возражений. Наступление сна или соответственного изменения психики, в чем бы оно ни состояло, обусловлено решением уснуть, которое навязывается ребенку или принимается им добровольно вследствие усталости; при этом сон наступает лишь при устранении внешних раздражений, могущих поставить перед психикой вместо сна иные задачи.

Нам известно, какие средства служат для устранения внешних раздражений, но необходимо указать также на средства, которыми мы располагаем для подавления внутренних (душевных) раздражений, также мешающих нам уснуть. Возьмем мать, баюкающую своего ребенка; последний беспрестанно выражает какое-нибудь желание; ему хочется еще раз поцеловаться, он хочет еще играть; желания эти частью удовлетворяются, частью авторитетно откладываются на следующий день; ясно, что возникающие желания и потребности мешают уснуть. Кому не знакома забавная история о скверном мальчугане, который, проснувшись ночью, орет на всю спальню: «Хочу носорога!». Спокойный ребенок, вместо того чтобы

орать, видел бы во сне, будто он играет с носорогом. Так как сновидение, представляющее желание исполненным, принимается доверчиво, то оно таким образом устраняет желание, и продолжение сна становится возможным.

Нельзя не признать, что сновидение принимается доверчиво потому, что является нам в виде зрительного восприятия; ребенок же не обладает еще способностью, развивающейся позднее, отличать галлюцинацию или фантазию от действительности. Взрослый человек умеет различать это; он понимает также бесполезность хотения и путем продолжительного упражнения научается откладывать свои желания до того момента, когда они вследствие изменения внешних условий смогут быть удовлетворены окольным путем. Соответственно этому у взрослого во сне редко встречается исполнение желаний прямым психическим путем; возможно даже, что оно вообще не встречается; а сон, который кажется нам созданным по образцу детского сновидения, требует гораздо более сложного объяснения.

Зато у взрослого человека — и, пожалуй, у всех без исключения людей с нормальным рассудком — развивается дифференциация психического материала, отсутствующая у ребенка: появляется психическая инстанция, которая,— будучи научена жизненным опытом, строго господствует над душевными движениями, оказывая на них задерживающее влияние и обладая по отношению к сознанию и произвольным движениям наиболее сильными психическими средствами. При этом часть детских эмоций как бесполезная в жизни подавляется

новой инстанцией, так что все вытекающие из этих эмоций мысли находятся в состоянии вытеснения. Когда же эта инстанция, в которой мы узнаем свое нормальное «я», принимает решение уснуть, то в силу психофизиологических условий сна, по-видимому, бывает вынуждена ослабить энергию, с которой обыкновенно задерживает днем вытесненные мысли.

Это ослабление само по себе незначительно: хотя в подавленной душе и теснятся эмоции, они в силу сонного состояния все-таки с трудом находят себе дорогу к сознанию и совсем не находят ее в двигательной сфере. Однако опасность, угрожающая с этой стороны спокойному продолжению сна, должна быть устранена. По этому поводу необходимо указать, что даже в глубоком сне известное количество свободного внимания должно быть обращено на те возбуждения, ввиду которых пробуждение представляется более целесообразным, чем продолжение сна. Иначе нельзя было бы объяснить того обстоятельства, что нас всегда можно разбудить раздражениями определенного *качества*, как на это указывал уже старый физиолог *Бурдах*; например мать просыпается от плача своего ребенка, мельник — от остановки своей мельницы, большинство людей — от тихого обращения к ним по имени.

Вот это бодрствующее во сне внимание обращено так же и на внутренние возбуждения, исходящие от вытесненных желаний, и образует вместе с ними сновидение, удовлетворяющее в качестве компромисса одновременно обе инстанции. Это сновидение, изображая подавленное или вытесненное

желание исполненным, как бы психически исчерпывает его; в то же время, делая возможным продолжение сна, оно удовлетворяет и другую инстанцию. Наше «я» охотно ведет себя при этом, как дитя, оно верит сновидению, как бы говоря: «Да, да, ты прав, но дай мне спать».

То обстоятельство, что мы по пробуждении так низко ценим сновидение ввиду запутанности и кажущейся нелогичности его, обусловливается, вероятно, также и тем, что аналогичную оценку дает нашим возникающим из вытесненных мыслей эмоциям спящее «я», которое в своей оценке опирается на моторное бессилие сонных эмоций. Мы даже во сне сознаем иногда эту низкую оценку, именно: когда сон по своему содержанию слишком уж выходит за пределы цензуры, мы думаем: «Это ведь только сон» — и продолжаем спать.

Против такого понимания не может служить возражением то обстоятельство, что и по отношению к сновидению существуют предельные случаи, когда оно не в состоянии уже исполнять своей функции — охрану сна и, как это бывает при страшных сновидениях, берет на себя другую функцию — своевременно прервать сон. Сновидение поступают при этом подобно добросовестному сторожу, который сначала исполняет свою обязанность, устраняя всякий шум, могущий разбудить граждан; когда же причина шума представляется ему важной и сам он не в силах справиться с нею, тогда он видит свою обязанность в том, чтобы самому разбудить граждан.

Эта функция сновидения становится особенно очевидной в тех случаях, когда до спящего субъекта доходят какие-либо внешние раздражения. То обстоятельство, что раздражения внешних органов чувств во время сна оказывают влияние на содержание сновидения, всем давно известно, может быть доказано экспериментально и является мало пригодным, но слишком высоко оцененным результатом врачебных наблюдений над сновидением. Но с этим фактом связана другая неразрешимая до сих пор загадка: внешнее раздражение, действуя при эксперименте на спящего, появляется в сновидении не в своем настоящем виде, а подвергается одному из многочисленных толкований, выбор между которыми предоставлен, по-видимому, произволу психики.

Психического произвола, конечно, не существует; спящий может реагировать различным образом: он либо просыпается, либо ему удается продолжать сон. В последнем случае он может воспользоваться сновидением, чтобы устранить внешнее раздражение, и притом, опять-таки, различным образом: он может, например, устранить раздражение, видя во сне такую ситуацию, которая совершенно не вяжется с данным раздражением. Например, одному господину с болезненным абсцессом в промежности снилось, будто он едет верхом на лошади, причем согревающий компресс, который должен был смягчить боль, принят был им во сне за седло; таким образом он справился с мешавшим ему спать раздражением.

Чаще же бывает так, что внешнее раздражение подвергается толкованию, в силу которого оно входит в связь с вытесненным и ждущим своего исполнения желанием, теряет поэтому свой реальный характер и рассматривается как часть психического материала. Так, одному лицу снится, что он написал комедию, воплощающую известную идею; комедия ставится в театре; прошел первый акт, встреченный бурными одобрениями; страшно аплодируют...Сновидящему здесь удалось продолжить сон, несмотря на шум; по пробуждении он не слыхал уже шума, но справедливо решил, что, должно быть, где-то вблизи выбивали ковер или постель. Сновидение, возникающее непосредственно перед пробуждением от сильного шума, всегда представляет собой попытку посредством толкования отделаться от мешающего спать раздражения и таким образом продлить сон еще на некоторое время.

XII

Я не утверждаю, что осветил здесь все проблемы сновидения или исчерпал все убедительные доводы в пользу затронутых мною вопросов. Кто интересуется всей литературой о сновидении, пусть обратится к книге *Sante de Sanctis'a* о сновидении; а кто желает познакомится с более подробным обоснованием высказанных здесь мною взглядов, пусть прочтет мою работу «Толкование сновидений».

Здесь я укажу еще лишь на то, в каком направлении должна продолжаться разработка моих взглядов на сущность

работы сна. Если задачей толкования сна я считаю замену сновидения скрытыми в нем мыслями, т. е. распутывание того, что соткано работой сна, то, с одной стороны, я выставляю ряд новых психологических задач, касающихся как механизма работы сна, так и сущности и условий возникновения так называемого вытеснения; с другой стороны, я признаю существование скрытых мыслей как психического материала высшего порядка, обладающего всеми признаками высшей умственной деятельности, но не проникающего в сферу сознания до тех пор, пока сновидение не исказит его. Я вынужден предполагать существование таких скрытых мыслей у каждого человека, ибо почти все люди — даже самые нормальные — способны видеть сны. С вопросом о бессознательности скрытых мыслей и об отношении их к сознанию и к вытеснению связаны другие важные для психологии вопросы; но решение последних должно быть отложено до того времени, когда удастся путем более подробного изучения выяснить происхождение других созданий больной психики, а именно истерических симптомов и навязчивых идей.







ОБ УНИЖЕНИИ ЛЮБОВНОЙ ЖИЗНИ





Если практикующий врач-психоаналитик задает себе вопрос: с каким страданием чаще всего к нему обращаются за помощью, то он принужден будет ответить: с психической импотенцией, если не считать разнообразных проявлений страха. Этой странной болезнью заболевают мужчины с сильно выраженной чувственностью, и заболевание проявляется в том, что детородный орган отказывается выполнять функции полового акта, хотя до и после акта он может быть вполне здоровым и дееспособным и хотя данный субъект имеет большую склонность к выполнению этого акта. Первым поводом к пониманию своего состояния является факт, приводящий его к убеждению, что такие неудачи постигают его только при половых попытках с определенными особами, между тем как с другими у него не случается ничего подобного. Тогда он приходят к убеждению, что задержку его мужской потенции вызывают особенные свойства сексуального объекта. Иной раз такой больной сам рассказывает, что у него получается ощущение в нем самом какого-то препятствия, что он замечает какое-то внутреннее противодействие, которое мешает сознательному его намерению. Но больной не в со-

стоянии понять, в чем же состоит это препятствие и какие именно особенности полового объекта его вызывают. Если подобные неудачи случались у него неоднократно, то в таком случае он склонен установить ошибочную причинную связь и полагает, что именно воспоминание о первой неудаче является таким препятствующим и отпугивающим переживанием и становится причиной последующих неудач; в первый же раз дело касалось «случайности».

Психоаналитическое исследование психической импотенции произведено и опубликовано несколькими авторами. Каждый аналитик из собственного опыта может подтвердить приводимые ими объяснения. Речь действительно идет о парализующем влиянии известных психических комплексов, которые недоступны сознанию индивида. На первом плане стоит как общее содержание этого патогенного материала сохранившая свою силу и влияние инцестуозная (кровосмесительная) фиксация либидо на матери и на сестре. Кроме того, нужно принять во внимание влияние случайных мучительных впечатлений, находящихся в связи с детскими сексуальными проявлениями, и вообще все моменты, понижающие либидо, которое должно быть направлено на женщину как на половой объект.

Если подвергнуть при помощи психоанализа детальному исследованию случаи резкой психической импотенции, то получается следующая картина действующих при ней психосексуальных процессов. Почвой болезни служит и здесь, как,

вероятно, при невротических страданиях, задержка в развитии либидо до степени ее нормальной завершенной формы. Здесь еще не слились два течения, слияние которых только и обеспечивает вполне нормальную любовную жизнь,— два течения, которые мы различаем как нежное и чувственное.

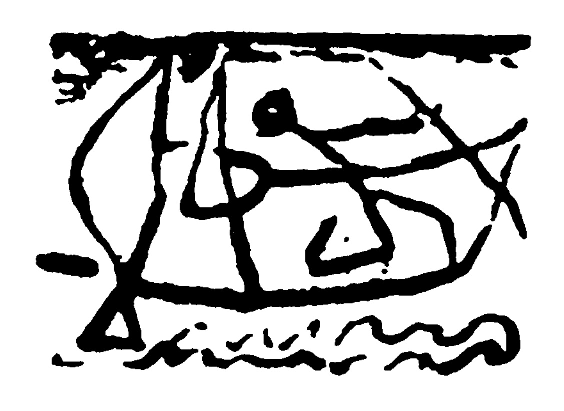
Наиболее старое из этих двух течений — нежное. Оно берет начало с самых ранних лет, образовалось на почве интересов инстинкта самосохранения и направлено на представителей родной семьи или на лиц, занятых уходом за ребенком и его воспитанием. К нему с самого начала присоединяется известная доля половых влечений, компонентов эротического интереса, которые нормально выражены уже более или менее ясно с детства, а у невротиков во всех случаях открываются психоанализом, произведенным в более позднем возрасте. Оно соответствует детскому выбору объекта. Мы видим из него, что половые влечения находят свои первые объекты в связи с оценкой, исходящей из влечения *Я* точно так же, как первые сексуальные удовлетворения получаются в связи с функциями, необходимыми для сохранения жизни. «Нежность» родителей и воспитателей, которая редко не отличается явным эротическим характером («ребенок — эротическая игрушка»), значительно содействует тому, чтобы усилить эти придатки эротики к объектам фиксации влечений и поднять их на такую высоту, при которой они должны повлиять на последующее развитие, в особенности если этому способствуют еще и некоторые другие обстоятельства.

Нежные фиксации ребенка сохраняются в течение всего детства, и к ним присоединяются новые эротические переживания, и эротика благодаря этому отклоняется от своих половых целей. В возрасте половой зрелости к нежным фиксациям присоединяется еще «чувственное» течение, которое определенно сознает свои цели. Оно, понятно, идет всегда прежними путями и снабжает значительно большим количеством либидо объекты первого инфантильного выбора. Но вследствие того, что оно натыкается там на воздвигнутые препятствия кровосмесительного ограничения, то оно стремится найти возможно скорей переход от этих, реально не подходящих, объектов к другим, посторонним, с которыми было бы возможно настоящее половое сожительство. Эти посторонние объекты избираются, однако, по образцу инфантильных, но со временем они привлекают к себе ту нежность, которая была фиксирована на прежних. Мужчина оставляет отца и мать, как предписывается в Библии, чтобы следовать за женой; нежность и чувственность сливаются воедино. Высшая степень чувственной влюбленности связана с наибольшей психической оценкой (нормальная переоценка полового объекта мужчиной).

При неудаче этого процесса решающее значение имеют два момента развития либидо. Во-первых, степень реального запрета, который не допускает нового выбора объекта и обесценивает его для индивида. Ведь нет никакого смысла заниматься выбором объекта, если запрещено вообще выбирать или не имеешь никакой надежды выбирать что-нибудь до-



стойное. Во-вторых, степень привлекательности, которой могут обладать те инфантильные объекты, от которых следует уйти; она пропорциональна эротической фиксации, которой они были наделены еще в детстве. Если эти два фактора достаточно сильны, то начинает действовать общий механизм образования неврозов. Либидо отвращается от реальности, подхватывается работой фантазии, усиливает образы первых детских объектов и фиксируется на них. Но кровосмесительное ограничение заставляет либидо, обращенное на эти объекты, оставаться в бессознательном; изживание чувственного течения, кроющегося теперь в бессознательном, в онанистических актах способствует тому, чтобы укрепить эти фиксации. Положение дела не меняется и тогда, когда неудавшийся в реальности прогресс совершается в фантазии, т. е. когда в фантастических ситуациях, ведущих к онанистическому удовлетворению, первоначальные половые объекты заменяются посторонними. Благодаря такому замещению фантазии делаются способными проникнуть в сознание; но в реальном либидо при этом не замечается никакого прогресса.



Таким образом, может случиться, что вся чувственность молодого человека окажется связанной в бессознательном с инцестуозными объектами или, как мы еще иначе формулируем, она фиксирована на бессознательных инцестуозных фантазиях. В результате получается абсолютная импотенция, которая к тому же еще и укрепляется благодаря одновременно приобретенному действительному ослаблению органов, выполняющих половой акт.

Для образования собственно так называемой психической импотенции требуются более мягкие условия. Чувственное течение во всем объеме вынуждено скрываться за нежным течением, оно должно быть в достаточной мере сильным и свободным от задержек, чтобы хотя бы отчасти пробить себе путь к реальности. Половая активность таких лиц носит на себе явные признаки того, что руководящие ею психические импульсы действуют не во всем объеме; она капризна, подвижна, легко нарушается, функционирует часто неправильно, доставляет мало удовольствия. Но главным образом она избегает слияния с нежным течением. Таким образом, создается ограничение в выборе объектов. Оставшееся активным чувственное течение ищет только такие объекты, которые не напоминают запретных инцестуозных лиц; если какое-нибудь лицо производит впечатление, вызывающее высокую психическую оценку, то оно влечет за собой не чувственное возбуждение, а эротически недейственную нежность. Любовная жизнь таких людей остается расщепленной в двух направле-

ниях, нашедших свое выражение в искусстве как небесная и земная (животная) любовь. Когда они любят, они не желают обладания, а когда желают, не могут любить. Они ищут объекты, а странная несостоятельность в форме психической импотенции наступает, согласно законам «чувствительности комплекса» и «возвращения вытесненного», когда иной объект просто следует избегать.

Главным средством против такого нарушения, которым пользуются люди с расщепленным любовным чувством, является психическое унижение полового объекта, в то время как переоценка, присущая при нормальных условиях половому объекту, сохраняется для инцестуозного объекта и его заместителей. Чувственность может свободно проявляться только при выполнении условия унижения, притом возможны значительные проявления половой активности и сильное чувство наслаждения. Этому благоприятствует еще другое. Лица, у которых нежное и чувственное течение недостаточно слились, не обладают по большей части достаточно тонким любовным чувством; у них сохранились половые ненормальности, неудовлетворение которых ими ощущается как определенное понижение удовольствия, а удовлетворение возможно только с приниженными, мало оцениваемыми половыми объектами.

Понятны теперь мотивы упомянутых в первом очерке фантазий мальчика, который принижает мать до степени проститутки. В них проявляется старание хотя бы в фантазии перекинуть мост через пропасть, разделяющую эти два течения

любовной жизни, завладеть матерью как объектом чувственного влечения ценою ее унижения.

До сих пор мы занимались врачебно-психологическим исследованием психической импотенции, не оправдываемым заглавием этой статьи. Но дальше мы поймем, что нам нужно было начать с этого вступления, чтобы иметь возможность обратиться к настоящей теме.

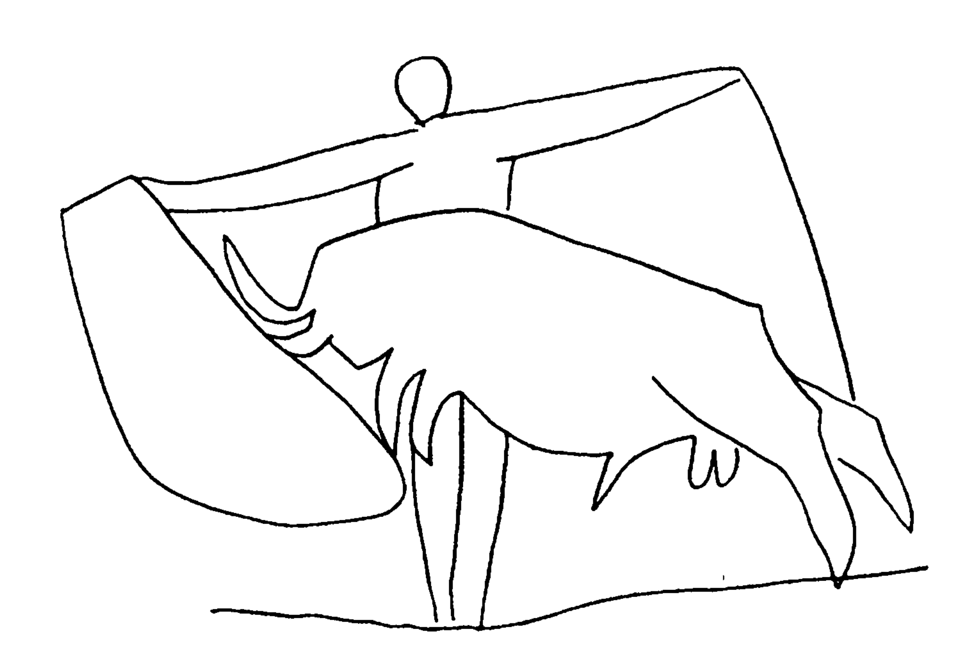
Психическую импотенцию мы свели к неслиянию нежного и чувственного течения в любовной жизни, а указанную задержку развития объяснили влиянием детских фиксаций и более поздним запретом при промежуточном возникновении инцестуозного запрета. Против этого учения можно, во-первых, выдвинуть следующее возражение: если оно дает нам слишком много и объясняет нам, почему некоторые лица страдают психической импотенцией, то для нас остается загадочным, как иные люди могли избежать этого страдания. Так как приходится сознаться, что все указанные видимые моменты: сильная детская фиксация, кровосмесительный запрет и запрет в более поздние годы развития после наступления половой зрелости — имеются почти у всех культурных людей, то было бы вполне правильно заключить, что психическая импотенция является общим страданием культурного человечества, а не болезнью отдельных лиц.

Если понятие о психической импотенции брать шире и не ограничивать только невозможностью полового акта при наличии полового желания и физически здорового полового аппа-

рата, то сперва приходится причислить сюда всех тех мужчин, которых называют психастениками, которым если и удается всегда акт, то он не доставляет особенного наслаждения; это встречается чаще, чем полагают. Психоаналитическое исследование таких случаев, не объясняя сначала разницы в симптоматологии, открывает те же этиологические моменты. От анестетичных (лишенных чувственности) мужчин легко оправдываемая аналогия ведет к громадному числу фригидных женщин, отношение которых к половой любви нельзя лучше описать и понять, как указанием на полное его сходство с более известной психической импотенцией мужчин.

Но если мы не будем расширять понятие о психической импотенции, а присмотримся к оттенкам ее симптоматики, то мы не сможем не согласиться с тем, что любовные проявления мужчины в нашем современном культурном обществе вообще носят типичные признаки психической импотенции. Нежное и чувственное течения только у очень немногих интеллигентных мужчин в достаточной степени спаяны; мужчина почти всегда чувствует себя стесненным в проявлениях своей половой жизни благодаря чувству уважения к женщине и проявляет свою полную потенцию только тогда, когда имеет дело с низким половым объектом. Такое обстоятельство обусловливается кроме всего тем, что к его половым стремлениям присоединяются компоненты извращенности, которых он не осмеливается удовлетворить с женщиной, заслуживающей уважения. Полное половое удовольствие он может испытать

только тогда, когда безудержно отдается наслаждению, чего, например, не осмеливается проявлять со своей высоконравственной супругой. Отсюда происходит его потребность в униженном половом объекте, женщине, этически малоценной, у которой, по его мнению, нет эстетических требований, которой неизвестны его общественные отношения, и она не в силах о них судить. Перед такой женщиной он всего легче обнаруживает свою половую силу даже в том случае, если его нежность направлена к более высоко стоящей. Возможно, что так часто наблюдаемая склонность мужчин высших общественных классов выбирать себе любовницу или даже законную супругу из женщин низкого сословия является только следствием потребности в униженном половом объекте, с которым психологически связана возможность полного удовлетворения.



Я не колеблюсь объявить, что два момента, действительные при настоящей психической импотенции — интенсивная инцестуозная фиксация детского возраста и реальный запрет в юношеском возрасте, являются причиной также и этого, такого частого, проявления в поведении культурных мужчин в их любовной жизни. Пусть это и звучит неприятно и парадоксально, но следует сказать, что тот, кто в любовной жизни хочет быть свободным и счастливым, тот должен преодолеть почтение перед женщиной и примириться с представлением о кровосмесительстве с матерью или с сестрой. Тот, кто готов в ответ на такое требование подвергнуть себя серьезной внутренней проверке перед самим собой, тот непременно найдет, что считает в сущности половой акт чем-то унизительным, что грязнит и позорит человека и не только его тело. Происхождение этой оценки, в которой явно не легко сознаться, можно найти только в период юности, когда чувственное течение было уже сильно развито, а удовлетворение было почти одинаково запрещено как по отношению к постороннему, так и к инцестуозному объекту.

В нашем культурном обществе женщины находятся под таким же влиянием воспитания, но кроме того еще и под влиянием поведения мужчин. Для них, разумеется, одинаково дурным является и тот случай, когда они не находят в мужчине его половой мужской силы, и тот, когда повышенная вначале оценка их в период влюбленности сменяется после обладания пренебрежением. У женщины существует очень слабая

потребность в унижении полового объекта; в связи с этим находится, несомненно, и то обстоятельство, что обычно у женщины не проявляется ничего похожего на половую переоценку мужчины. Но длительное половое воздержание и удержание чувственности в области фантазии вызывают у нее другое важное последствие. Впоследствии она уже не в силах разрушить связь между чувственными переживаниями и запретом и оказывается психически импотентной, т.е. фригидной, в то время, когда ей, наконец, разрешаются подобного рода переживания. Поэтому у многих женщин появляется стремление сохранить тайну еще даже и тогда, когда сношения ей уже разрешаются; у других появляется способность нормально чувствовать только в том случае, когда условия запрета снова имеют место при какой-либо тайной любовной связи. Изменяя мужу, она в состоянии сохранить любовную верность второго разряда.

Я полагаю, что условие запрета имеет в любовной жизни женщины то же значение, что унижение полового объекта у мужчины. Оба являются следствием длительного откладывания начала половой жизни после наступления половой зрелости, как этого требует воспитание ради культурных целей. Оба стремятся прекратить психическую импотенцию, которая является следствием отсутствия слияния чувственного и нежного течений. Если следствия одной и той же причины оказываются различными у мужчины и у женщины, то причиной этому является, быть может, иное различие в поведении обоих

полов. Культурная женщина обыкновенно не нарушает запрета в течение периода ожидания, и таким образом у нее создается тесная связь между запретом и сексуальностью. Мужчина нарушает большей частью запрет при условии унижения полового объекта, и поэтому это условие и переносится в его последующую любовную жизнь.

Ввиду столь сильно назревшего в современном культурном обществе стремления к реформе половой жизни считаю не лишним напомнить, что психоаналитическому исследованию так же чужды какие бы то ни было тенденции, как и всякому другому. Оно стремится лишь к тому, чтобы вскрыть связи и зависимости, находя в скрытом причину общеизвестного. Психоанализ не может ничего иметь против того, чтобы его выводы были использованы при проведении реформы для создания полезного вместо вредного. Но он не может наперед сказать, не будут ли те или иные установления иметь следствием другие, более тяжелые жертвы.

Тот факт, что культурное обуздание любовной жизни влечет за собой общее унижение полового объекта, должен нас побудить перенести наше внимание с объектов на самые влечения. Вред первоначального запрета сексуального наслаждения сказывается в том, что позднейшее разрешение его в браке не дает уже полного удовлетворения. Но неограниченная половая свобода с самого начала не приводит к лучшим результатам. Легко доказать, что психическая ценность любовной потребности понижается тотчас же, как только удовле-

творение становится слишком доступным. Чтобы увеличить возбуждение либидо, необходимо препятствие; и там, где естественные сопротивления удовлетворению оказываются недостаточными, там люди всех времен создавали условные препятствия, чтобы быть в состоянии наслаждаться любовью. Это относится как к отдельным индивидам, так и к народам. Во времена, когда удовлетворение любви не встречало затруднений, как, например, в период падения античной культуры, любовь была обесценена, жизнь пуста. Нужны были сильные «реактивные образования», чтобы создать необходимые аффективные ценности. Все это дает основание утверждать, что аскетические течения христианства дали любви психическую ценность, которой ей никогда не могла дать языческая древность. Наивысшего значения любовь достигла у аскетических монахов, вся жизнь которых была наполнена почти исключительно борьбой с либидозными искушениями.

Объяснение встречающихся в этой области трудностей и неясностей прежде всего обращается, разумеется, к общим свойствам наших органических влечений. В общем, конечно, совершенно верно, что психическое значение влечения повышается в связи с отказом от его удовлетворения. Стоит только потребовать подвергнуть одинаковому голоданию группу самых разнообразных людей. С возрастанием властной потребности в пище сглаживаются все индивидуальные различия и вместо них наступают однообразные проявления единого неудовлетворенного влечения. Но верно ли, что с удовлетворением

влечения так уж сильно понижается его психическая ценность? Стоит вспомнить, например, отношение алкоголика к вину. Разве не правда, что вино дает алкоголику всегда одно и то же токсическое удовлетворение, часто сравниваемое в поэзии с эротическим, и его можно сравнить с эротическим и с точки зрения научного понимания? Слыхали ли вы, чтобы пьяница принужден был вечно менять напитки, потому что он теряет вкус к одному и тому же напитку? Напротив, привычка все больше и больше укрепляет связь между человеком и излюбленным сортом вина. Слыхали ли вы, чтобы пьяница проявлял потребность отправиться в страну, где вино дорого или где запрещено его пить; чтобы пьяница старался обострить удовольствие от вина, создавая себе подобные препятствия? То, что говорят наши великие алкоголики, например Беклин, о своем отношении к вину, звучит как чистейшая гармония, как образец счастливого брака. Почему же у любящего совершенно иное отношение к своему сексуальному объекту?

Я думаю, что следовало бы — как это странно ни звучит — допустить возможность существования в самой природе сексуального влечения чего-то, что не благоприятствует наступлению полного удовлетворения. Тогда из длительной и трудной истории развития этого влечения выделяются два момента, может быть, вызывающие такое затруднение. Во-первых, вследствие двукратной попытки выбора объекта с промежуточным возникновением инцестуозного запрета окончательный объект полового влечения никогда не совпадает с первоначаль-

ным, а является только его суррогатом. Психоанализ научил нас: если первоначальный объект какого-нибудь желания утерян вследствие вытеснения, то он нередко подменяется бесконечным рядом заменяющих объектов, из которых ни один не удовлетворяет вполне. Это может нам объяснить то непостоянство в выборе объекта и ту неутомимость, которыми так нередко отличается любовная жизнь взрослого.

Во-вторых, мы знаем, что половое влечение распадается на большое число компонентов — не все могут войти в состав его позднейшего образования — но их нужно прежде всего подавить или найти другое применение. К ним относятся сначала копрофильные части влечения, которые оказались несовместимыми с нашей эстетической культурой; вероятно, с тех пор, как мы благодаря вертикальному положению тела при ходьбе удалили наш орган обоняния от поверхности земли. Далее, той же участи подлежит значительная часть садистских импульсов, которые также относятся к числу проявлений любовной жизни. Но все эти процессы развития захватывают только верхние слои сложной структуры. Основные процессы, вызывающие любовное возбуждение, остаются незатронутыми. Экскрементальное слишком тесно и неразрывно связано с сексуальным, положение гениталий остается предопределяющим и неизменным моментом. Здесь можно было бы, несколько изменив, повторить известное изречение Наполеона: «Анатомия решает судьбу». Гениталии не проделали вместе со всем человеческим телом развития в сторону эстетического

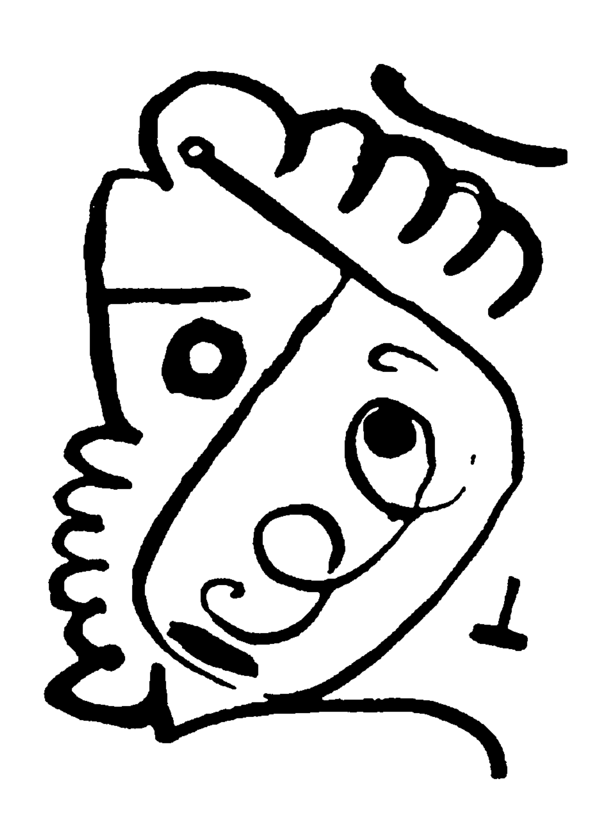
совершенствования, они остались животными, и поэтому и любовь в основе своей и теперь настолько же животна, какой была испокон веков. Любовные влечения с трудом поддаются воспитанию, их воспитание дает то слишком много, то слишком мало. То, что стремится из них сделать культура, недостижимо; оставшиеся без применения возбуждения дают себя знать при активных половых проявлениях в виде неудовлетворенности.

Таким образом, приходится, может быть, примириться с мыслью, что равновесие между требованиями полового влечения и культуры вообще невозможно, что невозможно устранить лишения отказа и страдания, как и общую опасность прекращения в отдаленном будущем всего человеческого рода в силу его культурного развития. Хотя этот мрачный прогноз основан на том только единственном предположении, что культурная неудовлетворенность является необходимым следствием известных особенностей, приобретенных половым влечением под давлением культуры. Но именно неспособность полового влечения давать полное удовлетворение, как только это влечение подчинилось первым требованиям культуры, становится источником величайших культурных достижений, осуществляемых благодаря все дальше идущему сублимированию компонентов этого влечения. Ибо какие мотивы могли бы побудить людей давать другое применение сексуальным импульсам, если бы при каком-либо распределении

их они могли бы получать полное счастье? Они не отошли бы от этого счастья и не делали бы дальнейших успехов.

Таким образом кажется, что благодаря непримиримому разладу между требованиями обоих влечений — сексуальными и эгоистическими — люди становятся способными на все высшие достижения,

Цель науки — ни пугать, ни утешать. Но я и сам готов допустить, что такие общие заключения, как высказанные выше, следует построить на более широком основании и что, может быть, некоторые направления в развитии человечества могут помочь исправить указанные нами в изолированном виде последствия.







СТРАХ И ЖИЗНЬ ВЛЕЧЕНИЙ (ЭТЮД)





Уважаемые дамы и господа! Вы, конечно, рады тому, что вам не придется более ничего выслушивать о страхе. Но это дела не меняет, ибо дальнейшее не лучше того. Я намерен сегодня же ввести вас в область теории либидо или теории влечений, где тоже, кажется, появилось кое-что новое. Не хочу сказать, что мы достигли здесь настолько больших успехов, чтобы стоило прилагать усилия для усвоения всего этого. Нет, это такая область, где мы с трудом ориентируемся и достигаем понимания; вы будете лишь свидетелями наших усилий и здесь мне тоже придется вернуться, кстати, к тому, о чем я говорил раньше.

Теория влечений — это, так сказать, наша мифология, Влечения — мифические существа, грандиозные в своей неопределенности. Мы в нашей работе ни на минуту не можем упускать их из виду и при этом никогда не уверены, что видим их ясно. Вы знаете, как обыденное мышление объясняет влечение. Предполагается гораздо большее количество разнообразных влечений, чем это нужно: влечение к самоутверждению, подражанию, игре, общению и многие им подобные. Их как бы принимают к сведению, дают каждому из них выпол-

нять свою функцию и затем опять их отстраняют. Нам всегда казалось, что за этими многочисленными мелкими заимствованными влечениями скрывается нечто серьезное и могущественное, к чему мы желали бы осторожно приблизиться. Наш первый шаг был весьма скромным. Мы сказали себе, что, вероятно, не запутаемся, если для начала выделим два основных влечения, вида влечений или группы влечений по двум большим потребностям: голод и любовь. Как бы ревностно мы ни защищали в иных случаях независимость психологии от любой другой науки, здесь мы все-таки находимся в плену незыблемого биологического фактора, согласно которому отдельное живое существо служит двум намерениям, самосохранению и сохранению вида, кажущимся независимыми друг от друга, которые, насколько нам известно, пока еще не сведены к единому источнику и интересы которых в животной жизни часто противоречат друг другу. Мы как бы занимаемся здесь собственно биологической психологией, изучаем психические явления, сопровождающие биологические процессы. В качестве примеров этого рода в психоанализе представлены «влечения *Я*» и «сексуальные влечения». К первым мы причисляем все, что относится к сохранению, утверждению, возвышению личности. В последние мы вкладывали то богатство содержания, которого требует детская извращенная сексуальная жизнь. Познакомившись при изучении неврозов с *Я* как с ограничивающей, вытесняющей силой, а с сексуальными стремлениями как с подвергающимися ограничению и вытеснению, мы полагали,

что нащупали не только различие, но и конфликт между обеими группами влечений. Предметом нашего изучения сначала были только сексуальные влечения, энергию которых мы назвали «либидо». На их примере мы попытались прояснить наши представления о том, что такое влечение и что ему можно приписать. Таково значение теории либидо...

...Мы находимся на более твердой почве, когда исследуем, каким образом влечения служат сексуальной функции — соединению двух половых клеток, но мы видим большое количество частных влечений, которые довольно независимо друг от друга стремятся к удовлетворению и находят это удовлетворение в чем-то, что мы можем назвать удовольствием от функционирования органов. Гениталии являются среди этих эрогенных зон самыми поздними, удовольствию от функционирования этих органов нельзя более отказывать в названии «сексуальное наслаждение». Не все из этих стремящихся к наслаждению побуждения включаются в окончательную организацию сексуальной функции. Некоторые из них устраняются как непригодные вытеснением или каким-либо другим способом, некоторые уводятся от своей цели уже упомянутым особым образом и используются для усиления иных побуждений, другие остаются на второстепенных ролях, служа осуществлению вводных актов, вызывая предварительное удовольствие. Вы узнали, что в этом длительном развитии можно рассмотреть несколько фаз предшествующей организации, а также то, каким образом из развития сексуальной функ-

ции объясняются ее отклонения и задержки. Первую из этих прегенитальных фаз мы называем оральной, потому что в соответствии с питанием грудного младенца эрогенная зона рта доминирует также и в том, что можно назвать сексуальной деятельностью этого периода жизни. На второй ступени на первый план выдвигаются садистские и анальные импульсы, конечно же, в связи с появлением зубов, усилением мускулатуры и овладением функциями сфинктера. Как раз об этой примечательной ступени развития мы узнали много интересных подробностей. Третья фаза — фаллическая, в которой у обоих полов мужской член и то, что ему соответствует у девочек, приобретает значение, которое нельзя не заметить. Название — генитальная фаза — мы оставили для окончательной сексуальной организации, которая устанавливается после половой зрелости, когда женские половые органы находят такое же признание, какое мужские получили уже давно.

Все это повторение давно известного. Не думайте только, что все то, о чем я на этот раз не сказал, утратило свое значение. Это повторение было нужно для того, чтобы перейти к сообщениям об изменениях в наших взглядах. Мы можем похвалиться, что как раз о ранних организациях либидо мы узнали много нового, а значение прежнего поняли яснее, что я и хочу продемонстрировать вам, по крайней мере, на отдельных примерах. В 1924 г. Абрахам показал, что в садистско-анальной фазе можно различить две ступени. На более ранней из них господствуют деструктивные тенденции уничтожения и утраты,



на более поздней — дружественные объекту тенденции удержания и обладания. Таким образом, в середине этой фазы впервые появляется внимание к объекту как предвестник более поздней любовной привязанности. Мы вправе также предположить такое разделение и на первой оральной фазе. На первой ступени речь идет об оральном поглощении, никакой амбивалентности по отношению к объекту материнской груди нет. Вторую ступень, отмеченную появлением кусательной деятельности, можно назвать орально-садистской; она впервые обнаруживает проявления амбивалентности, которые на следующей, садистско-анальной фазе становятся намного отчетливей. Ценность этой новой классификации обнаруживается особенно тогда, когда при определенных неврозах — неврозе навязчивых состояний, меланхолии — ищут значение предрасположенности в развитии либидо. Вернитесь здесь мысленно к тому, что мы узнали о связи фиксации либидо, предрасположенности и регрессии...



...Метаморфозы влечений и сходные процессы мы смогли изучить, в частности, на анальной эротике, на возбуждениях из источников эрогенной анальной зоны и были поражены тем, какое разнообразное использование находят эти влечения. Возможно, нелегко освободиться от недооценки именно этой зоны в процессе развития. Поэтому позволим Абрахаму (1924) напомнить нам, что анус эмбриологически соответствует первоначальному рту, который сместился на конец прямой кишки. Далее мы узнаем, что с обесцениванием собственного кала, экскрементов, этот инстинктивный интерес переходит от анального источника на объекты, которые могут даваться в качестве подарка. И это справедливо, потому что кал был первым подарком, который мог сделать грудной младенец, отрывая его от себя из любви к ухаживающей за ним женщине. В дальнейшем, совершенно аналогично изменению значений в развитии языка, этот прежний интерес к калу превращается в привлекательность золота и денег, а также способствует аффективному наполнению понятий «ребенок» и «пенис». По убеждению всех детей, которые долго придерживаются теории клоаки, ребенок рождается как кусок кала из прямой кишки: дефекация является прообразом акта рождения. Но и пенис тоже имеет своего предшественника в столбе кала, который заполняет и раздражает слизистую оболочку внутренней стороны прямой кишки. Если ребенок, хотя и неохотно, но все-таки признал, что есть человеческие существа, которые этим членом не обладают, то пенис кажется ему чем-то отделяемым от тела и приоб-

ретает несомненную аналогию с экскрементом, который был первой телесной частью, от которой надо было отказаться. Таким образом, большая часть анальной эротики переносится на пенис, но интерес к этой части тела, кроме анально-эротического, имеет, видимо, еще более мощный оральный корень, так как после прекращения кормления пенис наследует также кое-что от соска груди материнского органа.

Невозможно ориентироваться в фантазиях, причудах, возникающих под влиянием бессознательного, и в языке симптомов человека, если не знать этих глубоко лежащих связей. Кал — золото — подарок — ребенок — пенис выступают здесь как равнозначные и представляются общими символами. Не забывайте также, что я могу сделать вам лишь далеко не полные сообщения. Могу прибавить лишь вскользь, что появляющийся позднее интерес к влагалищу имеет в основном анально-эротическое происхождение. Это неудивительно, так как влагалище, по удачному выражению Лу Андреа-Саломе (1916), «взято напрокат» у прямой кишки; в жизни гомосексуалистов, которые не прошли определенной части сексуального развития, оно и представлено прямой кишкой. В сновидениях часто возникает помещение, которое раньше было единым, а теперь разделено стеной или наоборот. При этом всегда имеется в виду отношение влагалища к прямой кишке. Мы можем также очень хорошо проследить, как у девушки совершенно не женственное желание обладать пенисом обычно превращается в желание иметь ребенка, а затем

и мужчину как носителя пениса и дающего ребенка, так что и здесь видно, как часть первоначально анально-эротического интереса участвует в более поздней генитальной организации.

Во время изучения прегенитальных фаз либидо мы приобрели несколько новый взгляд на формирование характера. Мы обратили внимание на триаду свойств, которые довольно часто проявляются вместе: аккуратность, бережливость и упрямство,— и из анализа таких людей заключили, что эти свойства обусловлены истощением и иным использованием их анальной эротики. Таким образом, когда мы видим такое примечательное соединение, мы говорим об анальном характере и определенным образом противопоставляем анальный характер неразвитой анальной эротике. Подобное, а может быть, и еще более тесное отношение находим мы между честолюбием и уретральной эротикой. Примечательный намек на эту связь мы берем из легенды, согласно которой Александр Македонский родился в ту же ночь, когда некий Герострат из жажды славы поджег изумительный храм Артемиды Эфесской. Может показаться, что древним эта связь была небезызвестна! Ведь вы знаете, насколько мочеиспускание связано с огнем и тушением огня. Мы, конечно, предполагаем, что и другие свойства характера подобным же образом обнаружатся в осадках, реактивных образованиях определенных прегенитальных формаций либидо, но не можем этого пока показать.

Теперь же самое время вернуться к истории, а также к теме и снова взяться за самые общие проблемы жизни влечений.



В основе нашей теории либидо сначала лежало противопоставление влечения *Я* и сексуальных влечений. Когда позднее мы начали изучать само *Я* и поняли основной принцип нарциссизма, само это различие потеряло свою почву. В редких случаях можно признать, что *Я* берет само себя в качестве объекта, ведет себя так, как будто оно влюблено в самое себя. Отсюда и заимствованное из греческой легенды название — нарциссизм. Но это лишь крайнее преувеличение нормального положения вещей. Начинаешь понимать, что *Я* является всегда основным резервуаром либидо, из которого объекты заполняются либидо и куда это либидо снова возвращается, в то время как большая его часть постоянно пребывает в *Я*. Итак, идет беспрестанное превращение: *Я* — либидо в объекте — либидо и объект — либидо в *Я* — либидо. Но оба они могут и не различаться по своей природе, тогда не имеет смысла отделять энергию одного от энергии другого, можно опустить название либидо или вообще употреблять его как равнозначное психической энергии.

Мы недолго оставались на этой точке зрения. Предчувствие какого-то антагонизма в рамках инстинктивной жизни скоро нашло другое, еще более резкое выражение. Мне не хотелось бы излагать вам, как мы постепенно подходили к этому новому положению в теории влечений; оно тоже основывается главным образом на биологических данных; я расскажу вам о нем как о готовом результате. Предположим, что есть два различных по сути вида влечения: сексуальные влечения, понимаемые

в широком смысле, Эрос, если вы предпочитаете это название, и агрессивные влечения, цель которых — разрушение. В таком виде вы вряд ли сочтете это за новость, это покажется вам попыткой теоретически облагородить банальную противоположность любви и ненависти, которая, возможно, совпадает с аналогичной полярностью притяжения — отталкивания, которую физики предполагают существующей в неорганическом мире. Но примечательно, что наше положение многими воспринимается как новость, причем очень нежелательная новость, которую как можно скорее следует устранить. Я полагаю, что в этом неприятии проявляется сильный аффективный фактор. Почему нам понадобилось так много времени, чтобы решиться признать существование стремления к агрессии, почему очевидные и общеизвестные факты не использовать без промедления для теории? Если приписать такой инстинкт животным, то вряд ли это встретит сопротивление. Но включить его в человеческую конституцию кажется фривольным: слишком многим религиозным предпосылкам и социальным условностям это противоречит. Нет, человек должен быть по своей природе добрым или, по крайней мере, добродушным. Если же он иногда и проявляет себя грубым, жестоким насильником, то это временные затемнения в его эмоциональной жизни, часто спровоцированные; возможно, лишь следствие нецелесообразного общественного устройства, в котором он до сих пор находился.

То, о чем повествует нам история и что нам самим довелось пережить, к сожалению, не подтверждает сказанное, а скорее подкрепляет суждение о том, что вера в «доброту» человеческой натуры является одной из самых худших иллюзий, от которых человек ожидает улучшения и облегчения своей жизни, в то время как в действительности они наносят только вред. Нет нужды продолжать эту полемику, ибо не только уроки истории и жизненный опыт говорят в пользу нашего предположения, это подтверждают и общие рассуждения, к которым нас привело признание феноменов садизма и мазохизма. Вы знаете, что мы называем сексуальное удовлетворение садизмом, если оно связано с условием, что сексуальный объект испытывает боль, истязания и унижения, и мазохизмом, когда имеется потребность самому быть объектом истязания. Вы знаете также, что определенная примесь этих обоих стремлений включается и в нормальные сексуальные отношения и что мы называем их извращениями, если они оттесняют все прочие сексуальные цели, ставя на их место свои собственные. Едва ли от вас ускользнуло то, что садизм имеет более интимное отношение к мужественности, а мазохизм к женственности, как будто здесь имеется какое-то тайное родство, хотя я сразу же должен вам сказать, что дальше в этом вопросе мы не продвинулись. Оба они — садизм и мазохизм — являются для теории либидо весьма загадочными феноменами, особенно мазохизм, и вполне в порядке вещей, когда то, что для одной

теории было камнем преткновения, должно стать для другой, ее заменяющей, краеугольным камнем.

Итак, мы считаем, что в садизме и мазохизме мы имеем два замечательных примера слияния обоих видов влечений — Эроса и агрессии. Предположим же теперь, что это отношение является примером того, что все инстинктивные побуждения, которые мы можем изучить, состоят из таких смесей или сплавов обоих видов влечений. Конечно, в самых разнообразных соотношениях. При этом эротические влечения как бы смешивают свои многобразные сексуальные цели, в то время как другие допускают смягчения и градации своей однообразной тенденции. Этим предположением мы открываем перспективу для исследований, которые когда-нибудь приобретут большое значение для понимания патологических процессов. Ведь смеси могут тоже распадаться, и такой распад может иметь самые тяжелые последствия для функции. Но эти взгляды еще слишком новы, никто до сих пор не пытался использовать их в работе.

Вернемся к особой проблеме, которую открывает нам мазохизм. Если мы на время не будем принимать во внимание его эротический компонент, то он будет для нас ручательством существования стремления, имеющего целью саморазрушение. Если и для влечения к разрушению верно то, что *Я* — здесь мы больше имеем в виду *Оно*, всю личность — первоначально включает в себя все инстинктивные побуждения, то получается, что мазохизм старше садизма, садизм же является



направленным вовне влечением к разрушению, которое, таким образом, приобретает агрессивный характер. Сколько-то от первоначального влечения к разрушению остается еще внутри; кажется, что мы можем его воспринять лишь при этих двух условиях — если оно соединяется с эротическими влечениями в мазохизме или если оно как агрессия направлено против внешнего мира — с большим или меньшим эротическим добавлением. Напрашивается мысль о значимости невозможности найти удовлетворение агрессии во внешнем мире, так как она наталкивается на реальные препятствия. Тогда она, возможно, отступит назад, увеличив силу господствующего внутри саморазрушения. Мы еще увидим, что это происходит действительно так и насколько важен этот вопрос. Не нашедшая выхода агрессия может означать тяжелое повреждение; все выглядит так, как будто нужно разрушить другое и других, чтобы не разрушить самого себя, чтобы оградить себя от стремления к саморазрушению. Поистине печальное открытие для моралиста!

Но моралист еще долго будет утешаться невероятностью наших умозаключений. Странное стремление заниматься разрушением своего собственного органического обиталища! Правда, поэты говорят о таких вещах, но поэты народ безответственный, пользующийся своими привилегиями. Собственно говоря, подобные представления не чужды и физиологии, например слизистая оболочка желудка, которая сама себя переваривает. Но следует признать, что наше влечение к саморазрушению нуждается в более широкой поддержке. Ведь

нельзя же решиться на такое далеко идущее предположение только потому, что несколько бедных глупцов связывают свое сексуальное удовлетворение с необычными условиями. Я полагаю, что углубленное изучение влечений даст нам то, что нужно. Влечения управляют не только психической, но и вегетативной жизнью, и эти органические влечения обнаруживают характерную черту, которая заслуживает нашего самого пристального внимания. О том, является ли это общим характером влечений, мы сможем судить лишь позже. Они выступают именно как стремление восстановить более раннее состояние. Мы можем предположить, что с момента, когда достигнутое однажды состояние нарушается, возникает стремление создать его снова, рождая феномены, которые мы можем назвать «навязчивым повторением». Так образование и развитие эмбрионов является сплошным навязчивым повторением; у ряда животных широко распространена способность восстанавливать утраченные органы, и инстинкт самолечения, которому мы всякий раз обязаны нашим выздоровлением наряду с терапевтической помощью,— это, должно быть, остаток этой так великолепно развитой способности у низших животных. Нерестовая миграция рыб, возможно, и перелеты птиц, а может быть, и все, что у животных мы называем проявлением инстинкта, происходит под действием навязчивого повторения, в котором выражается консервативная природа инстинктов. И в психике нам не придется долго искать проявлений того же самого. Мы обращали внимание на то, что забытые

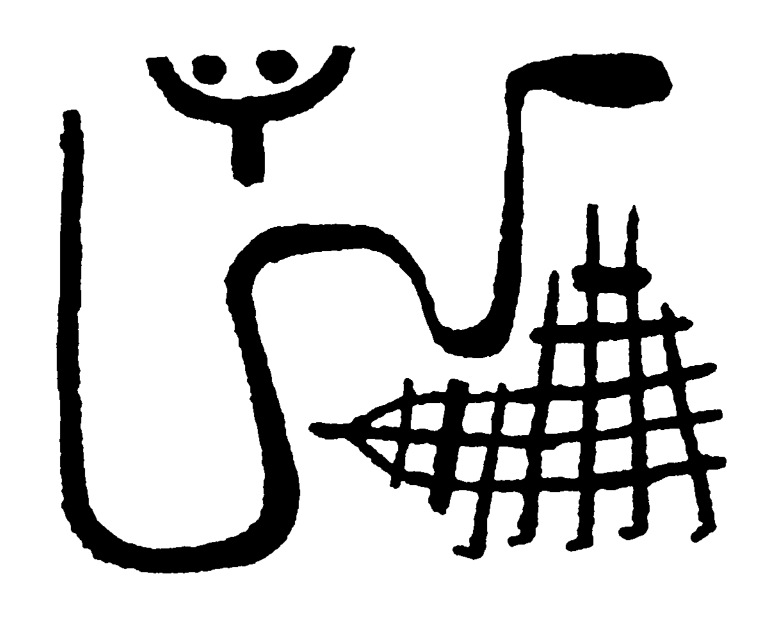
 

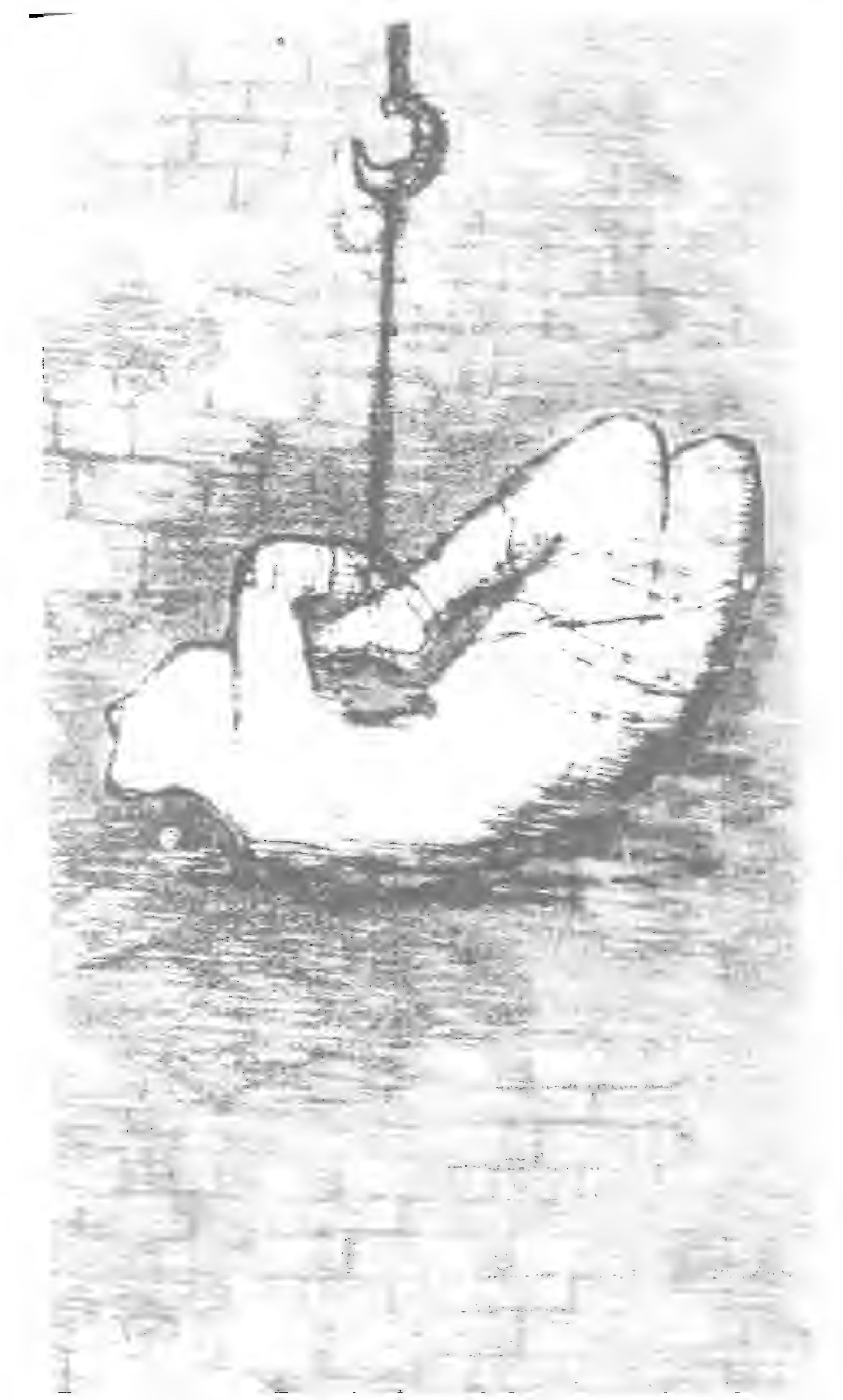
и вытесненные переживания раннего детства во время аналитической работы воспроизводятся в сновидениях и реакциях, в частности в реакциях перенесения, хотя их возрождение и противоречит принципу удовольствия, и мы дали объяснение, что в этих случаях навязчивое повторение преобладает даже над принципом удовольствия. Подобное можно наблюдать и вне анализа. Есть люди, которые в своей жизни без поправок повторяют всегда именно те реакции, которые им во вред, или которых, кажется, преследует неумолимая судьба, в то время как более точное исследование показывает, что они, сами того не зная, готовят себе эту судьбу. Тогда мы приписываем навязчивому повторению демонический характер...

...Здесь мы неожиданно выбираемся из преисподней психики в широко открытый мир. Дальше вести вас я не могу, но на одной мысли все же задержусь, прежде чем проститься с вами на этот раз. У нас вошло в привычку говорить, что наша культура построена за счет сексуальных влечений, которые сдерживаются обществом, частично вытесняются, а частично используются для новых целей. Даже при всей гордости за наши культурные достижения мы признаем, что нам нелегко выполнять требования этой культуры, хорошо чувствовать себя в ней, потому что наложенные на наши влечения ограничения тяжким бременем ложатся на психику. И вот то, что мы узнали относительно сексуальных влечений, в равной мере, а может быть даже и в большей степени, оказывается действительным для других, агрессивных стремлений. Они выступают прежде

всего в том, что осложняют совместную жизнь людей и угрожают ее продолжению; ограничение своей агрессии является первой, возможно, самой серьезной жертвой, которую общество требует от индивидуума. Мы узнали, каким изобретательным способом осуществляется это укрощение строптивого. В действие вступает *Сверх-Я*, которое овладевает агрессивными побуждениями, как бы вводя оккупационные войска в город, готовый к мятежу...

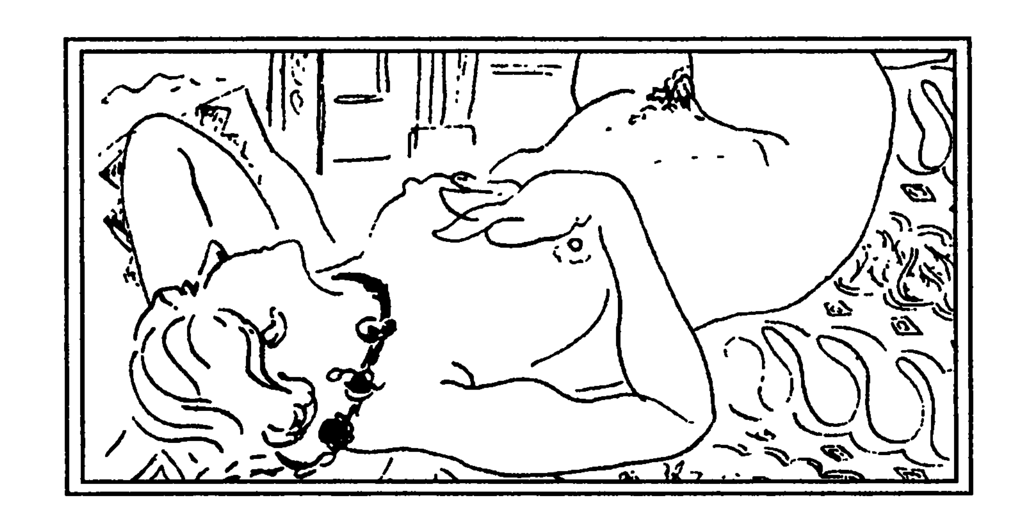
...К счастью, агрессивные влечения никогда не существуют сами по себе, но всегда сопряжены с эротическими. Эти последние в условиях созданной человеком культуры могут многое смягчить и предотвратить.

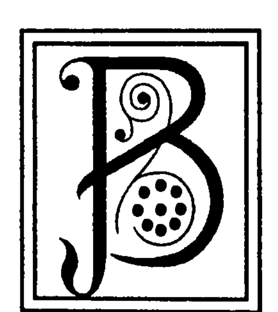






ВЛЕЧЕНИЯ И ИХ СУДЬБА





ам часто приходилось слышать требование, чтобы наука строилась на основании ясных и точно определенных исходных положений. В действительности никакая, даже самая точная, наука не начинает с таких определений. Настоящее начало научной деятельности состоит в описании явлений, которые впоследствии группируются, приводятся в порядок и во взаимную связь. Но уже при описании нельзя избежать того, чтобы прибегнуть при обработке материала к помощи некоторых отвлеченных идей, которые берутся из каких-либо иных источников, лежащих, несомненно, вне нового опыта. Еще необходимее такие идеи, из которых впоследствии развиваются основные понятия науки, при дальнейшей обработке материала. Сначала они по воле должны оставаться в известной мере неопределенными; о ясном и точном ограничении их содержания не может быть и речи. Пока они находятся в таком состоянии, смысл их определяется постоянной ссылкой на материал опыта, на основании которого они как будто бы создаются, между тем как на самом деле материал этот им подчиняется. Строго говоря, они имеют характер условности, при этом, однако, главная суть заключается в том, что они

не выбираются произвольно, а решающее значение при их выборе имеет отношение к эмпирическому материалу, которое предполагается еще раньше, чем его можно точно узнать и доказать. Лишь после того, как основательно обследована вся область изучаемых явлений, является возможность точно определить ее научные основные понятия и последовательно так изменять их, чтобы можно было применять их в большом объеме и освободить их вполне от противоречий. Тогда окажется своевременной формулировка их в точных определениях. Но прогресс понятия не терпит и закоренелости формальных определений. Как показывает блестящий пример физики, и сформулированные в точных определениях «основные понятия» подвержены постоянному изменению своего содержания.

Таким условным, пока еще довольно темным, но в психологии незаменимым основным понятием является *влечение*. Попробуем с различных точек зрения определить его содержание.

Сначала со стороны физиологии. Она дала нам понятие о *раздражении* и о рефлексной схеме, по которой внешнее раздражение, действующее на живую ткань (или первое вещество), посредством движения переводится наружу. Это движение целесообразно, так как избавляет раздражаемое вещество от действия раздражителя, удаляет это вещество из среды влияния раздражения.

Как же относится «*влечение*» к «*раздражению*»? Ничто не мешает нам поднести понятие о влечении под понятие

раздражений: влечение есть раздражение для психического. Но с самого начала мы не станем отождествлять влечение и психическое раздражение. Несомненно, что для психического имеются еще и другие раздражения, кроме раздражений влечений,— такие раздражения, которые имеют гораздо больше сходства с физиологическими. Если, например, на глаз попадает яркий свет, то это не будет раздражением характера влечения; но таковым будет сухость слизистой оболочки глотки или раздражение кислотой слизистой оболочки желудка[1] .

Итак, у нас имеются фактические данные отличать раздражения влечений от раздражений иного рода (физиологических), влияющих на психику. Во-первых, раздражение влечения исходит не из внешнего мира, а изнутри организма. Поэтому оно и влияет иначе на психику и для устранения своего требует иных действий. Далее, все существенное для характеристики раздражения заключается в положении, что оно действует как единичный толчок; в таком случае оно может быть устранено единичным целесообразным движением, типичным примером которого является бегство от источника раздражения. Разумеется, такие толчки могут повторяться и суммироваться, но это ничего не меняет в нашем представлении о процессе и об условиях устранения раздражения. Влечение же, напротив, никогда не производит действия *мгновенного толчка*, а всегда *постоянной силы*. Так как оно действует не извне, а изнутри организма, то против него не в силах помочь никакое бегство. Раздражение влечения

лучше называть «*потребностью*», а то, что удовлетворяет этой потребности, «*удовлетворением*». Оно может быть достигнуто только целесообразным (адекватным) изменением источника внутреннего раздражения.

Вообразим себя в положении почти совершенно беспомощного, не ориентирующегося в мире живого существа, воспринимающего раздражения при помощи его нервного вещества. Это существо скоро окажется в таком положении, что должно будет начать различать воспринимаемые им раздражения и ориентироваться в них. С одной стороны, оно будет воспринимать раздражения, от которых сможет избавиться посредством мускульного действия (бегства), и эти раздражения оно будет относить к внешнему миру; а с другой стороны, оно будет испытывать и такие раздражения, по отношению к которым такое действие окажется бесполезным, которые, несмотря на это действие, сохраняют свой характер непрерывного напряжения; эти раздражения являются признаком внутренней жизни, доказательством потребностей влечения. Воспринимающее вещество живого существа сможет, в зависимости от действительности своей мускульной деятельности, различать «внешнее» и «внутреннее».





Итак мы сначала открываем сущность влечения в его главных признаках, в происхождении из источника раздражения внутри организма, в проявлении в виде постоянной силы, и отсюда выводим один из его дальнейших признаков, состоящий в том, что бегством невозможно избавиться от его действия. При этом изыскании наше внимание должно было быть обращено на одно обстоятельство, заставляющее нас еще кое в чем признаться. Мы не только привносим в материал нашего опыта известные условности в виде основных положений, но еще пользуемся также некоторыми сложными *предположениями*, чтобы руководствоваться ими при научной обработке мира психологических явлений. На самое важное из этих предположений мы уже указали, нам остается только особенно подчеркнуть его. По природе своей оно относится к области *биологии*, пользуется понятием тенденции (или же целесообразности) и гласит: нервная система представляет из себя аппарат, на который возложена функция устранять доходящие до нее раздражения, низводить их по возможности до самого низкого уровня, или же, если бы это только оказалось возможным, этот аппарат стремился к тому, чтобы вообще избегать каких-либо раздражений. Пусть нас пока не смущает неопределенность этой идеи, припишем нервной системе назначение, вообще говоря, *справляться с раздражениями*. Тогда мы замечаем, насколько введение влечений усложняет простую физиологическую рефлексную схему. Внешние раздражения выдвигают задачу избавиться

от них, а совершается это посредством мускульного движения, из которых одно в конце концов достигает цели и как целесообразное становится наследственным предрасположением. Возникающие внутри организма раздражения влечений не могут быть устранены при помощи такого механизма. Они предъявляют к нервной системе гораздо более высокие требования, побуждают ее к сложным последовательным деятельностям, настолько изменяющим внешний мир, что он делает возможным удовлетворение внутренних раздражений; но главным образом, они заставляют нервную систему отказаться от своей идеальной цели — устранения всяких раздражений, так как неизбежно поддерживают непрерывный приток. Мы имеем поэтому основание заключить, что именно они, влечения, а не внешние раздражения являются настоящим двигателем прогресса, который довел до современной высоты развития столь бесконечно работоспособную нервную систему. Разумеется, ничто не мешает полагать, что сами влечения, по крайней мере отчасти, представляют из себя осадки влияния внешних раздражении, которые в ходе филогенетического развития вызвали изменения в живом веществе.

Если мы далее находим, что и деятельность самых высоких по своему развитию душевных аппаратов так же подчиняется принципу удовольствия (Lustprinzip), т. е. автоматически регулируется ощущениями удовольствия (Lust) и неудовольствия, неприятности (Unlust), то мы с трудом сможем отказаться от дальнейшего предположения, что эти ощущения от-

ражают именно тот способ, посредством которого происходит преодоление раздражения. Это нужно понимать, несомненно, в том смысле, что неприятные ощущения связаны с повышением раздражения, а приятные ощущения наслаждения — с понижением его. Но мы не должно забывать, что это предположение содержит очень большую неопределенность, до тех пор пока нам не удастся постичь — какого рода взаимодействия существуют между приятным — неприятным (Lust — Unlust) и колебаниями в величине действующего на душевную жизнь раздражения. Несомненно, что тут возможны очень разнообразные и далеко не простые отношения.

Если мы начнем с биологической точки зрения рассматривать душевную жизнь, то «*влечение*» покажется нам понятием, стоящим на границе между душевным и соматическим, психическим представителем раздражений, исходящих из внутренностей тела и проникающих в душу, мерилом работы, которая требуется от психики вследствие ее связи с физическим.

Далее мы можем обсудить некоторые термины, употребляемые по отношению к понятию влечения, как-то: импульсивное напряжение, цель, объект, источник влечения.

Под *напряжением* влечения понимают его двигательный момент, сумму сил или мерило требуемой работы, которую он олицетворяет. Признак импульсивного напряжения составляет общую особенность всех влечений, самую сущность их. Влечение представляет собой известную долю активности; если, не точно выражаясь, говорят о пассивных влечениях,

то под этим можно понимать только влечения с пассивной целью.

Целью влечения всегда является удовлетворение, которое может быть достигнуто только посредством устранения состояния раздражения в источнике влечения. Но если даже эта конечная цель и остается неизменной для всякого влечения, то все же к одной и той же конечной цели могут вести различные пути, так что у какого-нибудь влечения могут явиться разнообразные и более близкие промежуточные цели, которые могут комбинироваться друг с другом или заменять друг друга. Опыт позволяет вам говорить о влечениях с *задержкой в достижении цели*, при которых допускается известная часть удовлетворения влечения, а затем наступает задержка или отклонение от цели. Можно допустить, что с такими процессами все же связано частичное удовлетворение.

Объектом влечения является тот объект, на котором или посредством которого влечение может достичь своей цели. Это самый изменчивый элемент влечения, с ним первоначально не связанный, а присоединенный к нему только благодаря его свойству сделать возможным удовлетворение. Объектом не должен быть непременно посторонний предмет, а может быть также и часть собственного тела. В течение жизненной эволюции влечения объект может меняться сколько угодно раз, эта способность влечения перемещаться с одного объекта на другой может сыграть самую большую роль. Может случиться и так, что один и тот же объект служит

одновременно для удовлетворения нескольких влечений: по *А. Адлеру*[2], это случай *сплетения влечений*. Особенно тесная привязанность влечения к объекту отмечается термином *фиксация*. Часто такая фиксация создается в очень раннем периоде развития влечения, и этим кладется конец его подвижности, так как такая фиксация очень сильно сопротивляется отделению влечения от объекта.

Под *источником* влечения понимают тот соматический процесс в каком-либо органе или части тела, раздражение которого в душевной жизни воплощается во влечении. Неизвестно, всегда ли это процесс химический или он может соответствовать также и развитию других, например механических, сил. Изучение источников влечения уже больше не относится к области психологии; хотя происхождение из соматического источника и составляет самый решающий признак влечения, в душевной жизни мы его узнаем только по его целям. Для целей психологического исследования не требуется обязательно точного знания источников влечения. Иной раз можно, зная цели влечения, с полной уверенностью сделать заключение о природе и характере его источников.

Следует ли предполагать, что различные влечения, исходящие из телесного и действующие на психическое, отличаются различными качествами и поэтому в качественном отношении роль их в душевной жизни тоже различна? Для этого как будто нет достаточных оснований; вполне удовлетворительным кажется предположение, что все влечения однородны и дей-

ствие их зависит только от заключающейся в них величины возбуждения, быть может, еще и от некоторых функций этой количественной величины. То, благодаря чему отличаются друг от друга психические влияния различных влечений, можно объяснить различием источников этих влечений. Значения качества влечения может быть во всяком случае разъяснено только в дальнейшем изложении.

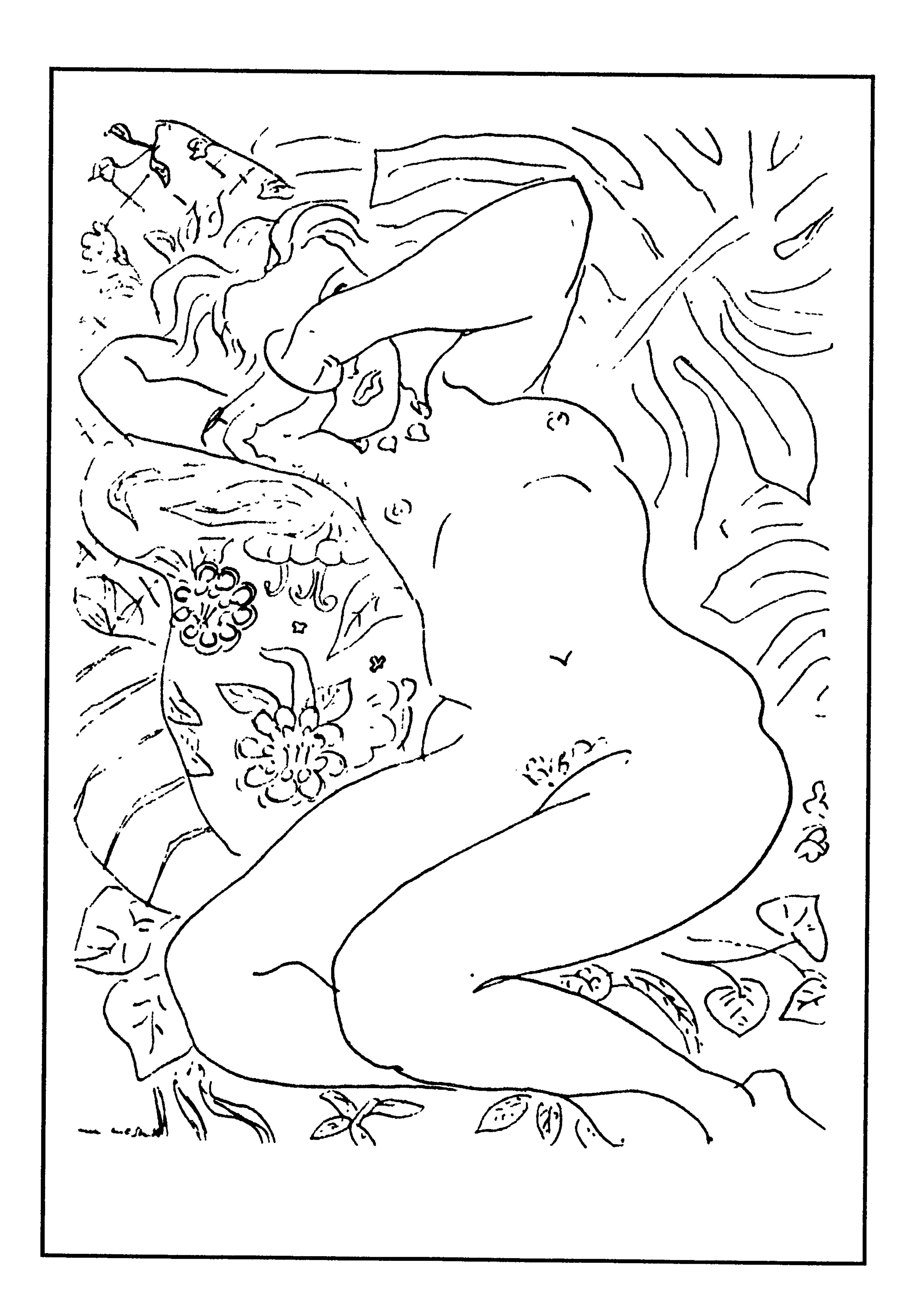
Какие влечения могут быть допущены и в каком количестве? В этом отношении, очевидно, может иметь место большой произвол. Ничего нельзя возразить против употребления понятий *влечение* к игре, *влечение* к разрушению, *влечение* к общительности в тех случаях, когда этого требует предмет обсуждаемого вопроса и когда такое ограничение психологического вопроса допустимо. Однако нельзя терять из виду и вопроса о том, не допускает ли столь специализированная мотивировка влечений дальнейшего разложения в отношении источников влечения, так что определенное значение может быть признано только за первичными, в дальнейшем неразложимыми, влечениями.

Я предложил различать две группы таких первичных влечений: *влечения Я*, или *самосохранения*, и *сексуальные влечения*. Но это допущение не имеет значения без необходимой предпосылки, как, например, предположения о биологической тенденции душевного аппарата (см. выше); это только вспомогательная конструкция, которая должна быть сохранена лишь до тех пор, пока она оказывается полезной,

и замена которой какой-либо другой мало чем изменит результаты нашей описательной и классификационной работы. Поводом к такому допущению послужила история развития психоанализа, который первым объектом своего исследования сделал психоневрозы и именно ту группу их, которая должна быть названа «неврозами перенесения» (истерия, невроз навязчивости), и при этом пришел к выводу, что в корне всякого подобного заболевания лежит конфликт между требованиями сексуальности и «Я». Однако все же возможно, что более глубокое изучение других невротических заболеваний (в первую очередь нарциссических психоневрозов, шизофрений) заставит изменить эту формулу и сделать новую перегруппировку первичных влечений. Но в настоящее время нам не известна эта новая формула, и у нас нет ни одного довода, говорящего против такого противопоставления влечений *Я* и сексуальных влечений.







Я вообще сомневаюсь, чтобы можно было на основании обработки психологического материала получить какие-либо решающие указания для разграничения и классификации влечений. Скорее кажется необходимым привнести для этой обработки к имеющемуся психологическому материалу определенные предположения относительно деятельности влечений, и было бы желательно, чтобы была возможность позаимствовать эти предположения из другой научной области и перенести их в психологию. То, что дает нам в этом отношении биология, несомненно, не противоречит такому разделению на влечения *Я* и сексуальные. Биология учит, что сексуальность нельзя поставить в один ряд с другими функциями индивида, так как тенденции ее идут дальше существования отдельного индивида — имеют своим содержанием появление новых индивидов, то есть сохранение рода. Она показывает нам далее, что в одинаковой мере верно и правильно двоякое понимание взаимоотношений между *Я* и сексуальностью: одно, по которому главным является индивид, а сексуальность представляет собой только одно из проявлений его деятельности, а сексуальное удовлетворение — одну из потребностей его; и другой взгляд, согласно которому индивид представляет собой только временный и проходящий придаток к будто бы бессмертной зародышевой плазме, доверенной ему родом.

Мнение, что сексуальная функция отмечается особым химизмом от других телесных процессов, составляет, насколько

я знаю, также одно из предположений Эрлиха в области биологических исследований.

Так как изучение влечений представляет неопредолимые трудности, если подходить к нему со стороны сознания, то психоаналитическое исследование психических нарушений остается главным источником наших знаний. Но в зависимости от хода своего развития психоанализ до сих пор мог дать нам более или менее удовлетворительные сведения только относительно сексуальных влечений, потому что он мог наблюдать эту группу влечений при психоневрозах как бы в изолированном виде. С распространением психоаналитических исследований на другие невротические заболевания, несомненно, наши знания влечений *Я* станут более основательными, хотя, кажется, не следует ожидать, что в этой обширной области исследования условия окажутся столь же благоприятными для наблюдения, как в области «*неврозов перенесения*».

По вопросу об общей характеристике половых влечений можно сказать следующее: они многочисленны, проистекают из разнообразных органических источников, действуют сначала независимо друг от друга и лишь в более поздний период объединяются в более или менее совершенный синтез. Целью, к которой стремится каждый из них, является *наслаждение, доставляемое органам*; лишь после того, как синтез уже произошел, они начинают *выполнять функцию сохранения рода*, вместе с чем они получают признание как половые влечения. При первом своем появлении они присоединяются

к влечениям самосохранения, от которых отделяются только постепенно и при нахождении объекта следуют тому пути, который предуказывается им влечениями *Я*. Часть их на всю жизнь остается присоединенной к влечениям *Я*, снабжая их *либидозными* компонентами, которые при условиях нормальной функции легко могут быть не замечены и ясно проявляются только благодаря заболеванию. Они отличаются очень большой способностью замещать друг друга и легко могут менять свои объекты. Вследствие этого либидозные компоненты могут проявляться в такой форме, которая очень далеко ушла от их первоначальных целей (*сублимирование*).

Мы должны будем ограничить исследование вопроса о судьбе, которой подвержены влечения в своем развитии в течение дальнейшей жизни индивида, сексуальными влечениями, так как последние нам лучше известны.

Наблюдения показывают нам, что эта судьба влечений может быть следующей:

превращение в противоположное;

обращение на собственную личность;

вытеснение;

сублимирование.

Так как я не намерен исследовать здесь вопрос о сублимировании, а вытеснению необходимо посвятить особую главу, то мне остается ограничиться описанием и обсуждением только двух первых пунктов. Принимая во внимание те мотивы, которые не дают возможности влечениям прямо проявляться,

можно рассматривать судьбу влечений как своего рода *отражение*, защиту индивида против открытого проявления этих влечений.

При ближайшем рассмотрении *превращение в противоположное* распадается на два различных процесса: в *поворот* влечения от *активности к пассивности и в превращение содержания* его в противоположное. Так как оба процесса по существу своему различны, то их следует и рассмотреть отдельно.

Примерами первого процесса являются противоположные пары: *садизм — мазохизм* и *любовь к подглядыванию — эксгибиционизм*. Превращение касается только целей влечения; вместо активной цели: мучить, разглядывать, становится пассивная: быть мучимым, разглядываемым. Превращение содержания в противоположное имеет место только в одном случае — превращение любви в ненависть.

Обращение против собственной личности становится нам понятным благодаря соображению, что мазохизм представляет собой садизм, обращенный против собственного *Я*, а эксгибиционизм включает в себя также рассматривание собственного тела. Аналитические наблюдения не оставляют никакого сомнения в том, что мазохист наслаждается истязанием самого себя, а эксгибиционист обнажением своего тела. Сущность процесса составляет таким образом перемена *объекта* при неизменности цели.

Мы не можем не заметить, что в этих примерах сталкиваются или совпадают обращение против собственной личности

и обращение от активности к пассивности. Для выяснения взаимоотношения становится неизбежным более основательное исследование.

При противоположной паре *садизм — мазохизм* можно весь процесс изобразить следующим образом:

a) садизм состоит в насилии, в проявлении своей мощи (силы) по отношению к другому лицу как объекту;

b) от этого лица отказываются и замещают его самим собой. Вместе с обращением против самого себя совершается и превращение активной цели влечения в пассивную;

c) вновь ищется новое лицо в качестве объекта, которое должно взять на себя роль субъекта вследствие изменившейся цели.

Последний случай представляет собой обыкновенно так называемый мазохизм. Удовлетворение и при нем происходит путем первоначального садизма благодаря тому, что пассивное *Я* фантазии становится на свое прежнее место, предоставленное теперь другому объекту. Безусловно сомнительно, бывает ли также прямое мазохистское удовлетворение. Первоначального мазохизма, не развившегося описанным путем из садизма, по-видимому, не бывает. Проявление же садистского влечения при неврозе навязчивости показывает, что предполагаемая ступень *b* не является излишней. Здесь имеет место обращение на самого себя, без пассивности по отношению к новому лицу. Превращение достигает только ступени *b*. Страсть мучить других превращается в самоистязание, наказание самого себя,

но не в мазохизм. Активный глагол превращается не в пассивный, а в возвратный.

Понимание садизма затрудняется еще благодаря тому, что это влечение наряду с достижением своей общей цели (быть может, лучше в пределах последней), по-видимому, стремится еще к специальному действию. Наряду с унижением, преодолением он стремится причинять боль. Однако психоанализ как будто показывает, что причинение боли не играет никакой роли между первичными активными проявлениями влечения. Садистский ребенок не принимает во внимание возможности боли и не намеревается ее причинять. Но раз превращение в мазохизм уже совершилось, то боль очень хорошо подходит к тому, чтобы составить пассивную мазохистскую цель, так как у нас имеется достаточно оснований предполагать, что ощущение боли, как и всякие другие неприятные ощущения, передаются половому возбуждению и вызывают состояния наслаждения (Lust), для которого можно охотно мириться с неприятностью боли. А раз ощущение боли стало мазохистской целью, то возвратным путем может развиться и садистская цель — причинение боли другому, которой можно наслаждаться, причиняя ее другому и одновременно мазохистски отождествляя себя со страдающим объектом. Разумеется, в обоих случаях испытывают наслаждение не от боли, а от сопровождающего ее полового возбуждения, что особенно удобно переживать в роли садиста. Наслаждение болью является таким образом первоначально ма-

зохистской целью, но оно может стать целью влечения только у первоначально садистского субъекта.

Для полноты освещения вопроса прибавлю, что *сострадание* не может быть описано как результат превращения влечения при садизме, а должно быть понимаемо как *реактивное образование (реакция, Reaktionsbildung)* против влечения (относительно различия см. ниже).

К несколько иным, более простым результатам приводит исследование другой противоположной пары влечений, имеющих целью разглядывание и показывание себя (*Voyeur* и эксгибиционист на языке перверзий). И здесь можно установить те же ступени, как и в предыдущем случае:

a) разглядывание в форме активного действия, направленного на посторонний объект;

b) отказ от объекта, обращение влечения к разглядыванию на собственное тело, а вместе с этим поворот к пассивности и появление новой цели — быть разглядываемым;

c) введение нового субъекта, которому показываешь себя, чтобы «быть им разглядываемым».



Вряд ли можно сомневаться в том, что активная цель появляется раньше, чем пассивная, что разглядывание предшествует показыванию себя. Но значительное отличие от случая садизма заключается в том, что во влечении к разглядыванию можно различить еще более раннюю ступень, чем описанная под рубрикой *a*. Влечение к разглядыванию в начале своего проявления аутоэротично, оно хотя и имеет объект, но объект этот составляет собственное тело. Лишь позже оно производит замену этого объекта (путем сравнения) аналогичным объектом постороннего тела (ступень *a*). Эта предварительная ступень интересна тем, что от нее исходят оба противоположных положения окончательной пары, в зависимости от того — наступает ли изменение в тот или другой момент развития (до ступени *a* или в ступени *b*). Схема влечения к разглядыванию имеет приблизительно следующий вид:

α) разглядывать самому половой орган = разглядывать самому собственный половой орган;

β) разглядывать самому чужой объект (активное влечение к разглядыванию);

γ) быть разглядываемым посторонним в качестве собственного объекта (наслаждение при показывании — эксгибиционизм).

Такой предварительной ступени нет у садизма, который с самого начала направлен на посторонний объект, хотя совсем не было бы бессмысленным сконструировать такую фазу, исходя из стараний ребенка овладеть своими членами.

К обоим рассматриваемым здесь примерам влечений относится замечание, что превращение влечения посредством поворота от активности к пассивности и обращения на самого себя никогда не распространяется на влечение во всем его объеме. Более старое активное направление влечения в известной мере сохраняется наряду с более молодым, пассивным даже и в том случае, если процесс превращения влечения зашел очень далеко. Относительно влечения к разглядыванию самым правильным было бы сказать, что все ступени развития влечения, как предварительная аутоэротическая ступень, так и активная и пассивная конечные формы его, существуют одновременно, и это утверждение становится совершенно очевидным, если в основу своего суждения положить не действия, на которые влечение толкает, а механизм удовлетворения. Впрочем, возможно, было бы правильно держаться еще одного способа понимания и изложения этих явлении. Все проявления влечений можно разложить на отдельные, разделенные на временные промежутки и одинаковые за весь период данного (любого) промежутка толчки, относящиеся друг к другу, как, например, последовательные извержения лавы. В таком случае можно себе представить, что первый и самый первоначальный порыв влечения протекает без изменений и не претерпевает вообще никакого развития. Следующий порыв с самого начала подвергается изменению, вроде поворота в сторону пассивности, и присоединяется затем к прежнему течению, сохраняя свой новый характер пассивности, и так

далее. Если бросить взгляд на данное влечение с начала его зарождения до определенного момента, то описанная последовательность порывов, толчков должна дать картину определенного развития влечения.

Тот факт, что в определенный поздний период развития влечения можно наблюдать его (пассивное) противоположное течение, заслуживает быть отмеченным и назван прекрасным термином, введенным Блюлером,— *амбивалентность*.

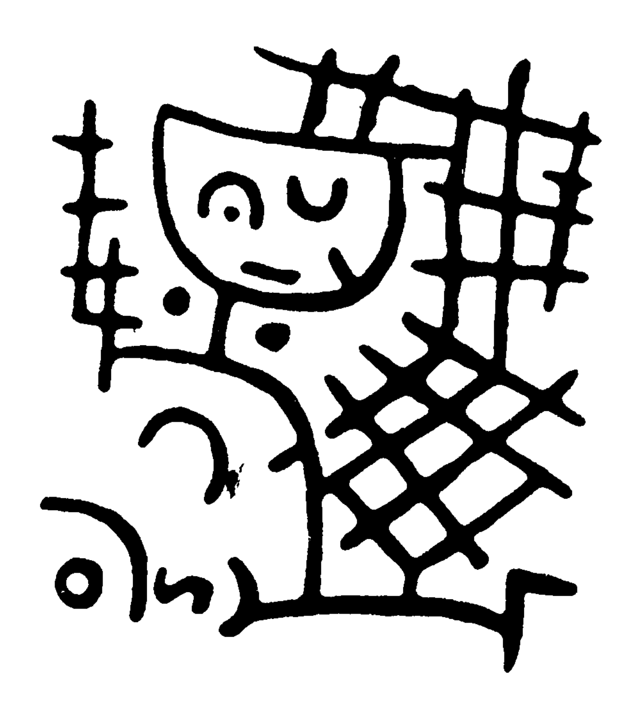
Ход развития влечения становится нам понятным, если иметь в виду всю историю развития его и постоянство серединных ступеней. Опыт показывает далее, что размеры наблюдаемой амбивалентности меняются в высокой степени у индивидов, человеческих групп или рас. В ярко выраженной амбивалентности влечений у современного человека можно видеть архаическое унаследование, так как у нас есть основание полагать, что в первобытные времена известная часть непревращенных активных импульсов в проявлениях влечений была большей, чем теперь. Мы уже привыкли называть *нарциссизмом* раннюю фазу развития *Я*, когда половые влечения удовлетворяются аутоэротически, не исследуя пока вопроса о взаимоотношениях между нарциссизмом и аутоэротизмом. В таком случае мы должны сказать, что предварительная ступень влечения к разглядыванию, когда объектом разглядывания является собственное тело, относится к проявлениям нарциссизма, представляет собой нарциссическое образование. Из этой ступени развивается активное влечение к разгляды-

ванию благодаря тому, что оно разрывает с нарциссизмом, между тем как пассивное влечение к разглядыванию крепко держится нарциссического объекта. Точно также превращение садизма в мазохизм означает возврат к нарциссическому объекту, между тем как и в том и в другом случае нарциссический субъект заменяется другим посторонним *Я* посредством идентификации. Принимая во внимание конструированную нарциссическую предварительную ступень садизма, мы приближаемся к более общему взгляду, что судьба влечений, выражающаяся в обороте к собственному *Я* и превращении из активности в пассивность, зависит от нарциссической организации *Я* и носит на себе печать этой фазы развития. Такая судьба, может быть, соответствует попыткам отражения, которые на более высоких ступенях развития *Я* достигаются другими средствами.

Тут мы должны вспомнить, что до сих пор наш разбор касался только двух противоположных пар: *садизм — мазохизм* и *страсть к подглядыванию — страсть к показыванию себя*. Это самые известные амбивалентно встречающиеся сексуальные влечения. Остальные компоненты позднейшей сексуальной функции еще не доступны в достаточной мере анализу, чтобы могли быть разобраны таким же образом. О них мы можем сказать в общем, что они появляются аутоэротически, то есть что объект их исчезает, уступая место органу, являющемуся их источником, и обыкновенно совпадает с ним. Объектом страсти к разглядыванию, хотя сначала

и составляющим часть собственного тела, является, однако, не сам глаз, а при садизме органический источник влечения — вероятно, активная мускулатура, определенно указывает на другой объект, хотя бы и на собственном теле. При аутоэротических влечениях органический источник играет настолько решающую роль, что, согласно приемлемому предположению П. Федерна и Л. Джекелса, форма и функция органа имеют решающее значение при определении активности и пассивности цели влечения.

Превращение влечения в его (материальную) противоположность наблюдается только в одном случае, при превращении *любви* в *ненависть*. Так как оба эти чувства особенно часто одновременны по отношению к одному и тому же объекту, то это одновременное существование представляет собой самый лучший пример амбивалентности чувств.



Случай любви и ненависти приобретает особый интерес благодаря тому обстоятельству, что он не подходит под картину нашего описания влечений. Нельзя сомневаться в теснейшей связи между этими двумя противоположными чувствами и сексуальной жизнью, но нельзя согласиться со взглядом на способность любить как на особое частичное влечение, подобное другим влечениям. Скорее следует видеть в способности любить выражение всего сексуального стремления полностью, но и это оказывается не совсем верным, и не знаешь, как понимать материальную противоположность этого стремления.

Любовь способна не только на одну, но и на три противоположности. Кроме противоположности *любить — ненавидеть*, имеется еще другая: *любить — быть любимым*, и, кроме того, «любить» и «ненавидеть», вместе взятые, противопоставляются еще состоянию индифферентности, или равнодушия. Из этих трех противоположностей вторая, т. е. *любить — быть любимым*, соответствует обороту от активности к пассивности и допускает возможность упрощения до одной основной ситуации, как страсть к разглядыванию. Эта ситуация гласит: *любить самого себя* для нас характеризует нарциссизм. В зависимости от того, происходит ли замена объекта или субъекта, получается активное стремление любить или пассивное стремление быть любимым, причем последнее остается близким к нарциссизму.

Вероятно, можно приблизиться к лучшему пониманию различных противоположностей «любить», если принять во внима-

ние, что душевной жизнью владеют *три полярности*, противоположности:

субъект (Я) — объект (внешний мир),

удовольствие, наслаждение (Lust) — *неудовольствие*,

активный — пассивный.

Противоположность *Я — не Я* (внешнее) (*субъект — объект*), как мы уже упоминали, рано навязывается каждому живому существу благодаря сделанному наблюдению, что оно может успокоить внешние раздражения при помощи мускульных действий, а против раздражения влечений оно совершенно беспомощно. Особенно в своей интеллектуальной деятельности оно остается самодержавным, и этим создается основание для развития способности к исследованию внешнего мира, которое никакими стараниями не может быть изменено. Полярность *наслаждение — неудовольствие* (Lust — Unlust) связана с целым рядом ощущений, решающее влияние которых на наши поступки (волю) уже подчеркивалось. Противоположность *активный — пассивный* нельзя смешивать с противоположностью *Я-субъект — внешнее-объект*. *Я* относится пассивно к внешнему миру, поскольку получает от него раздражения; активно — когда реагирует на эти импульсы раздражения. Но к особенной активности по отношению к внешнему миру его вынуждают влечения, так что, подчеркивая самое существенное, можно сказать: *Я-субъект* относится пассивно к внешним раздражениям и активно — благодаря собственным влечениям. Противоположность

активный — пассивный сливается позже с противоположностью *мужской — женский*, которая до этого момента слияния не имеет никакого психологического значения. Спайка активности с мужественностью, пассивности с женственностью выступает перед нами как биологический факт; но она никоим образом не проявляется так исключительно и так сильно, как мы склонны полагать.

Эти три психические полярности вступают между собой в объединения, имеющие очень большое значение. В одной первичной психической ситуации сталкиваются два из них. Сперва, в самом начале душевной жизни, *Я* находится во власти влечений и отчасти способно удовлетворять самим собою свои влечения. Это состояние мы называем *нарциссизмом*, а возможность удовлетворения — аутоэротической[3]. Внешний мир в этот период жизни не привлекает к себе (вообще говоря) интереса и безразличен для удовлетворения влечений. В то время *Я-субъект* совпадает, таким образом, с тем, что дает наслаждение, внешний мир — с безразличным (иногда и неприятным как источником раздражения). Если мы охарактеризуем любовь пока как отношение *Я* к источникам своего наслаждения, то ситуация, в которой *Я* любит только самого себя и равнодушно к окружающему миру, выясняет первую из противоположностей, которую мы нашли по отношению к «любить».

Я не нуждается во внешнем мире, поскольку оно аутоэротично, но оно получает из этого мира объекты вследствие переживаний влечений к самосохранению и не может избежать

того, чтобы не воспринимать в течение некоторого времени внутренние раздражения влечений как неприятные. Находясь во власти принципа удовольствия, *Я* проделывает дальнейшее развитие. Оно воспринимает в себя предлагаемые объекты, поскольку они являются источниками удовольствия, интроецирует их в себя (по выражению Ференца), а с другой стороны, отталкивает от себя все, что внутри него становится поводом к переживанию неудовольствия, неприятного (см. ниже механизм проекции).

Таким образом оно из первоначального реального *Я*, различавшего внутреннее и внешнее на основании хорошего объективного признака, превращается в чистейшее «наслаждающееся *Я*» (Lust-Ich), для которого признак наслаждения выше всего. Внешний мир распадается для него надвое: на часть, доставляющую наслаждение, которую оно воспринимает в себя, и на остаток, чуждый ему. Из собственного *Я* оно отделило часть, которую отбрасывает во внешний мир и ощущает его как враждебный. После такой перегруппировки снова восстанавливаются обе полярности:

Я-субъект — с наслаждением;

внешний мир — с неудовольствием (с прежним безразличием).

Вместе с проникновением объекта в ступень развития первичного нарциссизма достигает своего развития и вторая противоположность любви — ненависть.

Как мы слышали, объект преподносится *Я* из внешнего мира влечениями к самосохранению, и нельзя не согласиться с тем, что и первоначальный смысл ненависти выражает отношение к чужому, доставляющему раздражения внешнему миру. Индифферентность подчиняется ненависти, неблагосклонности как специальная форма ее, после того, как она появлялась сначала как предшественница. Внешнее, объект, ненавистное были сначала идентичными. Если позже объект превращается в источник наслаждения, то он становится любимым, но в то же время сливается с *Я*, так что для чистого «*Я*-наслаждение» объект опять-таки совпадает с чужим ненавистным.

Но теперь мы начинаем замечать, что, подобно тому, как противоположная пара *любовь — индифферентность* отражает полярность *Я — внешний мир*, так вторая противоположность *любовь — ненависть* воспроизводит связанную с первой полярность *удовольствие — неудовольствие*. После того как чисто нарциссическая ступень становится ступенью объекта, *удовольствие — неудовольствие* показывает отношение *Я* к объекту. Если объект становится источником ощущения наслаждения, то выявляется такая ситуация, которая притягивает объект к *Я*, сливает его с *Я*, мы говорим тогда также о «притяжении», которое оказывает дающий наслаждение объект, и говорим, что любим этот объект. Наоборот, когда объект делается источником неприятных ощущений, неудовольствия, то возникает потребность увеличить

расстояние между ним и *Я*, повторить на нем первоначальную попытку бегства от посылающего раздражения внешнего мира. Мы ощущаем «отталкивание» объекта и ненавидим его; эта ненависть может впоследствии усилиться до склонности к агрессивным действиям против объекта, до намерения уничтожить его.

Можно было бы в крайнем случае сказать про какое-нибудь влечение, что оно «любит» объект, к которому стремится для своего удовлетворения. Но странно звучит для нас выражение, что влечение «ненавидит» объект, и это обращает наше внимание на то, что отношение любви и ненависти неприменимы к отношениям влечений к своим объектам, а только к отношениям всего *Я* к объектам. Но наблюдения над безусловно глубокими по своему смыслу оборотами нашей речи указывают нам на дальнейшие ограничения значения любви и ненависти. Относительно предметов, служащих целям самосохранения, не говорят, что их любят, а подчеркивают, что нуждаются в них и выражают еще другого рода отношения, употребляя слова, обозначающие очень ослабленную степень любви, как, например, охотно то-то делаю, нахожу приятным, мне нравится.

Слово «любить» все больше приближается к сфере чистых отношений наслаждения *Я* к объекту и в конце концов фиксируется на объектах, в тесном смысле сексуальных, и на таких объектах, которые удовлетворяют потребности сублимированных сексуальных влечений. Отделение влечений *Я* от сек-

суальных, которое мы навязали нашей психологии, оказывается таким образом в полном согласии с духом нашего языка. Если у нас нет привычки говорить, что отдельное сексуальное влечение любит свой объект, но мы находим самое большое соответствие в употреблении слова «любить» для обозначения отношений *Я* к своему сексуальному объекту, то наблюдение показывает нам, что применение этого слова для обозначения этих отношений начинается только с момента синтеза всех частичных влечений сексуальности под приматом гениталий и в целях продолжения рода.

Замечательно, что в употреблении слова «ненавидеть» не проявляется такая близкая связь с сексуальным наслаждением и с сексуальной функцией, а решающее значение, по-видимому, имеет только отношение неприятного, неудовольствия. *Я* ненавидит, испытывает отвращение, преследует с целью разрушения все объекты, которые становятся для него источником неприятного, независимо от того, лишают ли они его сексуального удовлетворения или удовлетворения потребности самосохранения. Можно даже утверждать, что настоящие прообразы отношений ненависти исходят не из сексуальной жизни, а из борьбы *Я* за самосохранение и самоутверждение.

Любовь и ненависть, представляющиеся нам полными материальными противоположностями, находятся друг к другу все же не в простых взаимоотношениях. Они произошли не из расщепления чего-то, первоначально общего, а имеют

различное происхождение и прошли — каждое чувство в отдельности — особый путь развития до того, как сформировались в противоположности под влиянием отношений *наслаждения — неудовольствия.* Здесь перед нами возникает задача дать цельное и полное описание того, что нам известно о происхождении любви и ненависти.

Любовь берет свое происхождение из способности *Я* удовлетворить часть своих влечений аутоэротически, испытывая наслаждение от функции органов. Первоначально она нарциссична, затем переходит на объекты, которые сливаются с расширенным *Я*, и выражает в виде источника наслаждения моторное стремление *Я* к этим объектам. Она тесно соединяется с проявлениями позднейших сексуальных влечений, и, после того как их синтез закончен,— с сексуальным стремлением в полном его объеме. Предварительные ступени любви, оказывается, совпадают с временными переходными сексуальными целями в тот период, когда сексуальные влечения проделывают свой сложный путь развития. Как первую из этих предварительных ступеней любви мы отмечаем стремление *поглотить* — вид любви, соединяющийся с прекращением реального существования объекта и поэтому заслуживающий название амбивалентного. На более высокой ступени сексуальной садистско-анальной организации отношение к объекту проявляется в форме стремления, которому безразлично, будет ли при этом подавлен или уничтожен объект. Эту форму предварительной ступени любви по ее отношению к объекту



вряд ли можно отличить от ненависти. Только по формировании генитальной организации любовь становится противоположностью ненависти.

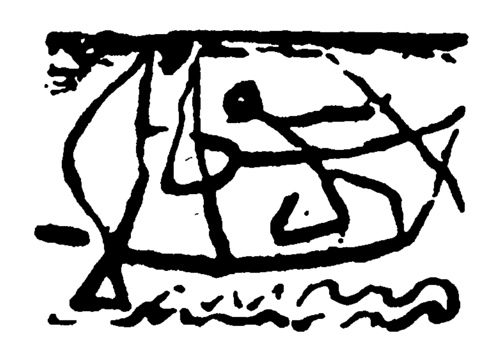
Как проявление отношения к объекту ненависть старше любви, она соответствует самому первоначальному отстранению нарциссическим *Я* внешнего мира, доставляющего раздражение. Как выражение вызванной объектами реакции неудовольствия ненависть сохраняет тесную связь с влечениями самосохранения, так что между влечениями *Я* и сексуальными влечениями легко могут образоваться отношения противоположности, повторяющей такое же отношение между ненавистью и любовью. Если влечения господствуют над сексуальными влечениями, как, например, на ступени садистско-анальной организации, то они придают и цели влечения характер ненависти.

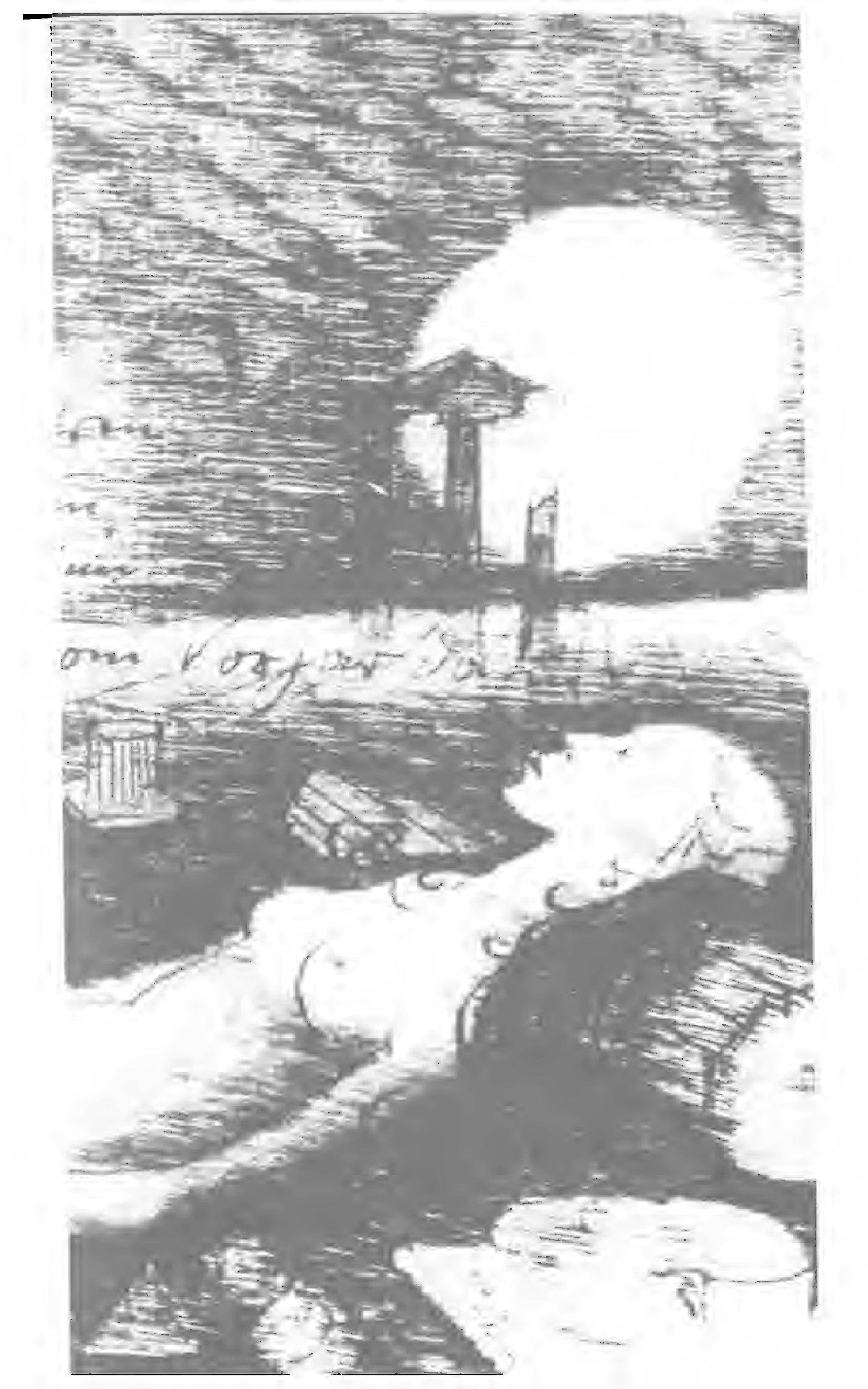
История развития и отношений любви объясняет факт, что она так часто проявляется амбивалентно, т. е. сопровождается ненавистью по отношению к тому же объекту. Примесь ненависти в любви отчасти происходит от не вполне преодоленной предварительной ступени любви, отчасти она вытекает из реакций отклонения этого чувства со стороны влечений *Я*, которые могут оправдываться реальными актуальными мотивами при столь частых конфликтах между интересами *Я* и любви. В обоих случаях, следовательно, примесь ненависти исходит из источника влечений к самосохранению. Если любовные отношения к какому-нибудь объекту обрываются, то нередко вместо них появляется ненависть,

отчего у нас получается впечатление превращения любви в ненависть. Но более широкий, чем описанный, взгляд обнаруживает, что мотивированная реальными причинами ненависть усиливается еще вследствие регрессии любви на предварительную садистскую ступень, так что ненависть приобретает эротический характер и создается, таким образом, ненарушимость любовных отношений.

Третья противоположность любви, превращение «*любить*» в «*быть любимым*» соответствует действию полярности активности и пассивности, и ее следует рассматривать так же, как случаи страсти к разглядыванию и садизма. Обобщая, мы можем особенно подчеркнуть, что участь влечений состоит в сущности в том, что *влечения подвергаются влиянию трех больших полярностей, господствующих в душевной жизни*. Из этих трех полярностей активность — пассивность можно было бы назвать биологической, *Я — внешний мир* назвать реальной и, наконец, наслаждение (Lust) — неудовольствие, неприятное (Unlust) — экономической полярностью.

Судьба влечения *вытеснения* составит предмет следующего исследования.







ПЕЧАЛЬ И МЕЛАНХОЛИЯ





После того, как сновидение послужило нам нормальным образцом нарциссических заболеваний, мы сделаем попытку осветить сущность меланхолии путем сравнения ее с нормальным аффектом печали. Но на этот раз мы должны прежде признаться, чтобы предупредить слишком высокую оценку наших результатов. Меланхолия, точное определение понятия которой не твердо и в описательной психиатрии, встречается в различных клинических формах, объединение которых в одну клиническую единицу не окончательно установлено; и из них одни скорее похожи на соматические заболевания, другие — на психогенные. Кроме впечатлений, доступных всякому наблюдателю, наш материал ограничивается небольшим количеством случаев, психогенная природа которых не подлежала никакому сомнению. Поэтому мы наперед отказываемся от всяких притязаний на то, чтобы наши выводы относились бы ко всем случаям, и утешаем себя соображением, что при помощи наших настоящих методов исследования мы едва ли можем что-нибудь найти, что не было бы *типичным* если не для целого класса заболеваний, то, по крайней мере, для небольшой группы.

Сопоставление меланхолии и печали оправдывается общей картиной обоих состояний[1]. Также совпадают и поводы к обоим заболеваниям, сводящиеся к влияниям жизненных условий в тех случаях, где удается установить эти поводы. Печаль является всегда реакцией на потерю любимого человека или заменившего его отвлеченного понятия, как отечество, свобода, идеал и т. п. Под таким же влиянием у некоторых лиц вместо печали наступает меланхолия, отчего мы подозреваем их в болезненном предрасположении. Весьма замечательно также, что нам никогда не приходит в голову рассматривать печаль как болезненное состояние и предоставить ее врачу для лечения, хотя она влечет за собой серьезные отступления от нормального поведения в жизни. Мы надеемся на то, что по истечении некоторого времени она будет преодолена и считаем вмешательство нецелесообразным и даже вредным.

Меланхолия в психическом отношении отличается глубокой страдальческой удрученностью, исчезновением интереса к внешнему миру, потерей способности любить, задержкой всякой деятельности и ухудшением самочувствия, выражающихся в упреках и оскорблениях по собственному адресу и нарастающем до бреда ожидании наказания. Эта картина становится нам понятной, если мы принимаем во внимание, что теми же проявлениями отличается и печаль, за исключением только одного признака: при ней нет нарушения самочувствия. Во всем остальном картина та же. Тяжелая печаль — реакция на потерю любимого человека — отличается таким же стра-



дальческим настроением; потерей интереса к внешнему миру, поскольку он не напоминает умершего; потерей способности выбрать какой-нибудь новый объект любви, что значило бы заменить оплакиваемого; отказом от всякой деятельности, не имеющей отношения к памяти умершего. Мы легко понимаем, что эта задержка и ограничение *Я* является выражением исключительной погруженности в печаль, при которой не остается никаких интересов и никаких намерений для чего-нибудь иного. Собственно говоря, такое поведение не кажется нам патологическим только потому, что мы умеем его хорошо объяснить.

Мы принимаем также сравнение, называющее настроение печали страдальческим. Нам ясна станет правильность этого, если мы будем в состоянии трезво, может, даже практически охарактеризовать это страдание.

В чем же состоит работа, проделываемая печалью? Я полагаю, что не будет никакой натяжки в том, если изобразить ее следующим образом: исследование реальности показало, что любимого объекта больше не существует и реальность подсказывает требование отнять все либидо, связанные с этим объектом. Против этого поднимается вполне понятное сопротивление, вообще, нужно принять во внимание, что человек нелегко оставляет позиции либидо, даже в том случае, когда ему предвидится замена. Это сопротивление может быть настолько сильным, что наступает отход от реальности и объект удерживается посредством галлюцинаторного психоза,

воплощающего желание. При нормальных условиях победу одерживает уважение к реальности, но требование ее не может быть немедленно исполнено. Оно приводится в исполнение частично, при большой трате времени и энергии, а до того утерянный объект продолжает существовать психически. Каждое из воспоминаний и ожиданий, в которых либидо было связано с объектом, приостанавливается, приобретает повышенную активную силу, и на нем совершается освобождение либидо. Очень трудно указать и математически точно обосновать, почему эта компромиссная работа требования реальности, проведенная на всех отдельных воспоминаниях и ожиданиях, сопровождается такой исключительной душевной болью. Примечательно, что боль кажется нам сама собою понятной. Фактически же по окончании этой работы печали *Я* становится опять свободным и освобожденным от оков (*задержек*).

Применим теперь к меланхолии то, что мы узнали о печали. В целом ряде случаев совершенно очевидно, что и она может быть реакцией на потерю любимого человека. При других поводах можно установить, что имела место более идеальная по своей природе потеря. Объект не умер реально, но утерян как объект любви (например, случай оставленной невесты). Еще в других случаях можно думать, что предположение о такой потере вполне правильно, но нельзя точно установить, что именно было потеряно, и тем более можно предполагать, что и сам больной не может ясно понять, что именно он потерял. С этим случаем мы сталкиваемся и тогда, когда больному из-

вестна потеря, вызвавшая меланхолию, так как он знает, *кого* он лишился, но не знает, *что* он в нем потерял. Таким образом, нам кажется естественным привести меланхолию в связь с потерей объекта, каким-то образом недоступной сознанию, в отличие от печали, при которой в потере нет ничего бессознательного.

При печали мы нашли, что задержка или отсутствие интереса к жизни всецело объясняется работой печали, полностью захватившей *Я*. Подобная же внутренняя работа явится следствием неизвестной потери при меланхолии и потому она виновна в меланхолической задержке. Дело только в том, что меланхолическая задержка производит на нас непонятное впечатление, потому что мы не можем видеть, что именно так всецело захватило больного. Меланхолик показывает нам еще одну особенность, которой нет при печали, — необыкновенное понижение своего самочувствия, огромное обеднение *Я*. При печали обеднел и опустел мир, при меланхолии — само *Я*. Больной рисует нам свое *Я* недостойным, ни к чему негодным, заслуживающим морального осуждения,— он упрекает себя, бранит себя и ждет отвержения и наказания. От унижает себя перед каждым человеком, жалеет каждого из своих близких, что тот связан с такой недостойной личностью. У него нет представления о происшедшей с ним перемене, и он распространяет свою самокритику и на прошлое, он утверждает, что никогда не был лучше. Эта картина бреда преуменьшения (преимущественно морального) дополняет-

ся бессонницей, отказом от пищи и в психологическом отношении очень замечательным преодолением влечения, которое заставляет все живущее цепляться за жизнь.

Как в научном, так и в терапевтическом отношении было бы одинаково бесцельно возражать больному, возводящему против своего *Я* такие обвинения. В каком-нибудь отношении он должен быть прав, рассказывая что-то, что соответствует тому, как ему это кажется. Некоторые из его указаний мы должны немедленно подтвердить без всяких ограничений. Ему действительно так чужды все интересы, он так неспособен любить и работать, как утверждает, но, как мы знаем, это вторичное явление, следствие внутренней, неизвестной нам работы, похожей на работу печали, поглощающей его *Я*. В некоторых других самообвинениях он нам также кажется правым, лишь оценивающим настоящее положение несколько более резко, чем другие меланхолики. Если он в повышенной самокритике изображает себя мелочным, эгоистичным, неискренним, несамостоятельным человеком, всегда стремившимся только к тому, чтобы скрывать свои слабости, то он, пожалуй, насколько нам известно, довольно близко подошел к самопознанию, и мы только спрашиваем себя, почему нужно сперва заболеть, чтобы понять такую истину. Потому что не подлежит никакому сомнению, что тот, кто дошел до такой самооценки и выражает ее перед другими — оценки принца Гамлета для себя и для всех других[2],— тот болен, независимо от того, говорит ли он правду или просто не-

справедлив к себе. Нетрудно также заметить, что между величиной самоуничижения и его реальным оправданием нет никакого соответствия. Славная, дельная и верная до сих пор женщина в припадке меланхолии будет осуждать себя не меньше, чем действительно ничего не стоящая. И, может быть, у первой больше шансов заболеть меланхолией, чем у второй, о которой мы не могли бы сказать ничего хорошего. Наконец нам должно броситься в глаза, что меланхолик ведет себя не совсем уж так, как здоровый человек, подавленный раскаянием и самоупреками. У меланхолика нет стыда перед другими, более всего характерного для такого состояния, или стыд не так уж резко проявляется. У меланхолика можно, пожалуй, подчеркнуть состояние навязчивой сообщительности, находящей удовлетворение в самообнажении.

Таким образом неважно, настолько ли прав меланхолик в своем мучительном самоунижении, что его самокритика совпадает с суждением о нем других. Важнее то, что он правильно описывает свое психологическое состояние. Он потерял самоуважение, и, конечно, у него имеется для этого основание; во всяком случае тут перед нами противоречие, ставящее перед нами трудно разрешимую загадку. По аналогии с печалью, мы должны прийти и к заключению, что он утратил объект; из его слов вытекает, что его потеря касается его собственного *Я*.

Раньше, чем заняться этим противоречием, остановимся на том, что открывается нам благодаря заболеванию меланхолика и конституции человеческого *Я*. Мы видим у него, как

одна часть *Я* противопоставляется другой, производит критическую оценку ее, делает ее как бы посторонним объектом. Все дальнейшие наблюдения подтвердят возникающие у нас предположения, что отщепленная от *Я* критическая инстанция проявит свою самостоятельность и при других обстоятельствах. Мы найдем действительно достаточные основания отделить эту инстанцию от остального *Я*. То, с чем мы тут встречаемся, представляет собой инстанцию, обыкновенно называемую *совестью*. Вместе с цензурой сознания и исследованием реальности мы причислим ее к важнейшим установлениям и как-нибудь найдем доказательства тому, что эта инстанция может заболеть сама по себе. В картине болезни меланхолика выступает на первый план, в сравнении с другими жалобами, нравственное недовольство собой; физическая немощь, уродство, слабость, социальная малоценность гораздо реже является предметом самооценки; только обеднение занимает преимущественное положение среди опасений и утверждений больного.

Объяснение указанному выше противоречию дает наблюдение, которое нетрудно сделать. Если терпеливо выслушать разнообразные самообвинения меланхолика, то нельзя не поддаться впечатлению, что самые тяжелые упреки часто очень мало подходят к собственной личности больного, но при некоторых незначительных изменениях легко применимы к какому-нибудь другому лицу, которое больной любил, любит или должен был любить. Сколько раз ни проверяешь поло-

жение дела — это предположение всегда подтверждается. Таким образом получаешь в руки ключ к пониманию картины болезни, открыв в самоупреках упреки по адресу любимого объекта, перенесенные с него на собственное *Я*.

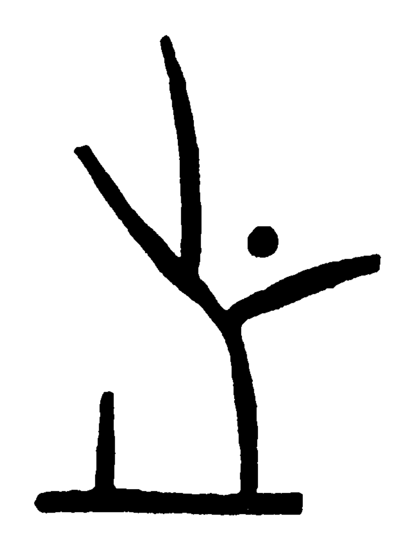
Женщина, на словах жалеющая своего мужа за то, что он связан с такой негодной женой, хочет, собственно говоря, обвинить своего мужа в негодности, в каком бы смысле это ни понималось. Нечего удивляться тому, что среди обращенных на себя мнимых самоупреков вплетены некоторые настоящие; они получили возможность выступить на первый план, так как помогают прикрыть другие и способствуют искажению истинного положения вещей; они вытекают из борьбы за и против любви, поведшей к утрате любви. Теперь гораздо понятнее становится и поведение больных. Их *жалобы* представляют собой *обвинения* в прежнем смысле этого слова; они не стыдятся и не скрываются, потому что все то унизительное, что они о себе говорят, говорится о других; они далеки от того, чтобы проявить по отношению к окружающим покорность и смирение, которые соответствовали бы таким недостойным лицам, как они сами; они, наоборот, в высшей степени сварливы, всегда как бы обижены, как будто по отношению к ним совершена большая несправедливость. Это все возможно потому, что реакции их поведения исходят еще из душевной направленности возмущения, переведенного посредством особого процесса в меланхолическую подавленность.

Далее, не представляется трудным реконструировать этот процесс. Сначала имел место выбор объекта, привязанность либидо к определенному лицу под влиянием *реального огорчения или разочарования* со стороны любимого лица, наступило потрясение этой привязанности к объекту. Следствием этого было не нормальное отнятие либидо от этого объекта и перенесение его на новый, а другой процесс, для появления которого, по-видимому, необходимы многие условия. Привязанность к объекту оказалась малоустойчивой, она была уничтожена, но свободное либидо не было перенесено на другой объект, а возвращено к *Я*. Однако здесь оно не нашло какого-нибудь применения, а послужило только *идентификации* (*отождествлению*) *Я* с оставленным объектом. Тень объекта пала таким образом на *Я*, которое в этом случае рассматривается упомянутой особенной инстанцией так же, как оставленный объект. Таким образом потеря объекта превратилась в потерю *Я*, и конфликт между *Я* и любимым лицом превратился в столкновение между критикой *Я* и самим измененным благодаря отождествлению *Я*.

Кое-что из предпосылок и результатов такого процесса можно непосредственно угадать. С одной стороны, должна была иметь место сильная фиксация на любимом объекте, а с другой стороны — в противоречие этому, небольшая устойчивость привязанности к объекту. Это противоречие, по верному замечанию О. Ранка, по-видимому, требует, чтобы выбор объекта был сделан на нарциссической основе, так что в случае,



если возникают препятствия привязанности к объекту, эта привязанность регрессирует к нарциссизму. Нарциссическое отождествление с объектом заменяет тогда привязанность к объекту, а это имеет следствием то, что, несмотря на конфликт с любимым лицом, любовная связь не должна быть прервана. Такая замена любви к объекту идентификацией образует значительный механизм в нарциссических заболеваниях. Р. Ландауэр недавно раскрыл его в процессе излечения шизофрении. Он соответствует, разумеется, *регрессии* определенного типа выбора объекта к первичному нарциссизму. В другом месте мы указали, что отождествление является предварительной ступенью выбора объекта и первым амбивалентным в своем выражении способом, которым *Я* выделяет какой-нибудь объект. *Я* хотело бы впитать в себя этот объект соответственно оральной или каннибальной фазе развития путем пожирания его. В связи с этим Абрахам вполне правильно ставит отказ от приема пищи, который наступает в тяжелых формах меланхолического состояния.



Требуемый теорией вывод, который объясняет предрасположение к меланхолическому заболеванию или к частичной степени этого заболевания преобладанием нарциссического типа, к сожалению, не нашел еще подтверждения в исследованиях. В вступительных строках к этой статье я признал, что эмпирический материал, на котором построено наше исследование, недостаточен для наших целей. Если же нам позволено будет допустить, что в будущем наблюдения подтвердят наши выводы, то мы не замедлили бы прибавить к характеристике меланхолии регрессию от привязанности к объекту на принадлежащую еще к нарциссизму оральную фазу либидо. Отождествления с объектом нередки и при неврозах перенесения, они составляют даже известный механизм образования симптомов, особенно при истерии. Но мы можем видеть различие между нарциссическим и истерическим отождествлениями в том, что при первом привязанность к объекту отпадает, между тем как при втором она сохраняется и обычно проявляется в определенных отдельных действиях и иннервациях. Во всяком случае и при неврозах перенесения отождествление является выражением того общего, что означает любовь. Нарциссическое удовлетворение более первично и открывает нам путь к пониманию менее изученного истерического отождествления.

Меланхолия берет, таким образом, часть своих признаков у печали, а другую часть — у процесса регрессии с нарциссического выбора объекта. С одной стороны, меланхолия, как

и печаль, является реакцией на реальную потерю объекта любви, но, кроме того, она связана с условием, отсутствующим при нормальной печали или превращающим ее в патологическую в тех случаях, где присоединяется это условие. Потеря объекта любви представляет собою великолепный повод, чтобы пробудить и проявить амбивалентность любовных отношений. Там, где имеется предрасположение к неврозам навязчивости, амбивалентный конфликт придает печали патологический характер и заставляет ее проявиться в форме самоупреков в том, что сам виновен в потере любимого объекта, т. е. сам хотел ее. В таких депрессиях при навязчивых неврозах после смерти любимого лица перед нами раскрывается то, что совершает амбивалентный конфликт сам по себе, если при этом не принимает участия регрессивное отнятие либидо. Поводы к заболеванию меланхолией большей частью не ограничиваются ясным случаем потери вследствие смерти и охватывают все положения огорчения, обиды и разочарования, благодаря которым в отношения втягиваются противоположность любви и ненависти или усиливается существующая амбивалентность. Этот амбивалентный конфликт иногда более реального, иногда более конституционного происхождения всегда заслуживает внимания среди причин меланхолии. Если любовь к объекту, от которой невозможно отказаться, в то время как от самого объекта отказываются, нашла себе выход в нарциссическом отождествлении, то по отношению к этому объекту, служащему заменой, проявляется ненависть,

вследствие которой этот новый объект оскорбляют, унижают и причиняют ему страдание, и благодаря этому страданию ненависть получает садистское удовлетворение. Самоистязание меланхолика, несомненно доставляющее ему наслаждение, даст ему совершенно так же, как соответствующие феномены при неврозах навязчивости, удовлетворение садистских тенденций и ненависти, которые относятся к объекту и таким путем испытали обращение на самого себя. При обоих заболеваниях больным еще удастся обходным путем через самоистязание мстить первоначальным объектам и мучить любимых людей посредством болезни, после того как они погрузились в болезнь, чтобы не проявить непосредственно свою враждебность к этим близким людям. Лицо, вызвавшее аффективное заболевание больного и по отношению к которому болезнь ориентируется, можно обыкновенно найти среди самых близких лиц, окружающих больного. Таким образом любовная привязанность меланхолика к своему объекту подверглась двоякой участи: отчасти она регрессировала до отождествления, а отчасти под влиянием амбивалентного конфликта она опустилась на близкую ему ступень садизма.

Только этот садизм разрешает загадку склонности к самоубийству, которая делает меланхолию такой интересной и такой опасной. В первичном состоянии, из которого исходит жизнь влечений, мы открыли такую огромную самовлюбленность *Я* в страхе, возникающем при угрожающей жизни опасности: мы видим освобождение такого громадного нар-



циссического количества либидо, что мы не понимаем, как это *Я* может пойти на самоуничтожение. Хотя мы уже давно знали, что ни один невротик не испытывает стремления к самоубийству, не исходя из импульса убить другого, обращенного на самого себя. Но все же оставалось непонятным, благодаря игре каких сил такое намерение может превратиться в поступок. Теперь анализ меланхолии показывает нам, что *Я* может себя убить только тогда, когда благодаря обращению привязанности к объектам на себя оно относится к себе самому как к объекту; если оно может направить против себя враждебность, относящуюся к объекту и заменяющую первоначальную реакцию *Я*, к объектам внешнего мира. Таким образом, при регрессии от нарциссического выбора объекта этот объект, хотя и был устранен, он все же оказался могущественнее, чем само *Я*. В двух противоположных положениях крайней влюбленности и самоубийства объект совсем одолевает *Я*, хотя и совершенно различными путями.

Второй бросающийся в глаза признак меланхолии — страх обеднения — легче всего свести к анальной эротике, вырванной из ее общей связи и регрессивно измененной.

Меланхолия ставит нас перед другими вопросами, ответ на которые нам отчасти неизвестен. В том, что через некоторый промежуток времени она проходит, не оставив явных, грубых изменений, она сходится с печалью. В случае печали мы нашли объяснение, что с течением времени лицо, погруженное в печаль, вынуждено подчиниться необходимости

подробного рассмотрения своих отношений к реальности, и после этой работы *Я* освобождает либидо от своего объекта. Мы можем себе представить, что *Я* во время меланхолии занято такой же работой; здесь, как и в том случае, у нас нет понимании процесса с эмпирической точки зрения. Бессонница при меланхолии показывает неподатливость этого состояния, невозможность осуществить необходимое для погружения в сон прекращение всех интересов. Меланхолический комплекс действует как открытая рана, привлекает к себе энергию всех привязанностей (названных нами при неврозах перенесения «противодействием») и опустошает *Я* до полного обеднения. Он легко может устоять против желания спать у *Я*. В регулярно наступающем к вечеру облегчении состояния проявляется, вероятно, соматический момент, не допускающий объяснения его психогенными мотивами. В связи с этим возникает вопрос, не достаточно ли потери *Я* безотносительно к объекту (чисто нарциссическое огорчение *Я*), чтобы вызвать картину меланхолии, не могут ли некоторые формы этой болезни быть вызваны непосредственно токсическим обеднением *Я* либидо. Самая замечательная и больше всего нуждающаяся в объяснении особенность меланхолии — это ее склонность превращаться в симптоматически противоположное состояние мании. Как известно, не всякая меланхолия подвержена этой участи. Некоторые случаи протекают периодическими рецидивами, а в интервалах или не замечается никакой мании, или только самая незначительная маниакаль-

ная окраска. В других случаях наблюдается та правильная смена меланхолических и маниакальных фаз, которая нашла свое выражение в установлении циклической формы помешательства. Появляется искушение видеть в этих случаях исключения, не допускающие психогенного понимания болезни, если бы психоаналитическая работа не привела в анализе большинства этих заболеваний к психологическому разъяснению болезни и терапевтическому успеху. Поэтому не только допустимо, но даже необходимо распространить психоаналитическое объяснение меланхолии также и на манию.

Я не могу обещать, что такая попытка окажется вполне удовлетворительной. Пока она не идет дальше возможности первой ориентировки, здесь у нас имеются два исходных пункта: первый — психоаналитическое впечатление, второй — можно прямо сказать — вообще опыт эмпирического подхода. Впечатление, полученное уже многими исследователями-психоаналитиками, состоит в том, что мания имеет то же содержание, что и меланхолия, что обе болезни борются с тем же самым «комплексом», который в меланхолии одержал победу над *Я*, между тем как в мании *Я* одолело этот комплекс или отодвинуло его на задний план. Второй пункт представляет собой тот факт, что состояния радости, ликования, триумфа, являющиеся нормальным прообразом мании, вызываются теми же причинами. Тут дело идет о таком влиянии, благодаря которому большая, долго поддерживаемая или ставшая привычной трата психической энергии становится в конце концов

излишней, из-за чего ей можно дать самое разнообразное применение, и открываются различные возможности ее расходования: например, если какой-нибудь бедняк, выиграв большую сумму денег, вдруг освобождается от забот о хлебе насущном, если долгая мучительная борьба в конце концов увенчивается успехом, если оказываешься в состоянии освободиться от давящего принуждения или прекратить долго длящееся притворство и т. п. Все такие положения отличаются повышенным настроением, признаками радостного аффекта и повышенной готовностью ко всевозможным действиям, совсем как при мании и в полной противоположности к депрессии и задержке при меланхолии. Можно иметь смелость сказать, что мания представляет собой не что иное, как подобный триумф; но только от *Я* опять-таки скрыто, *что* оно одолело и над *чем* празднует победу. Таким же образом можно объяснить и относящееся к тому же разряду состояний алкогольное опьянение, поскольку оно радостного характера. При нем, вероятно, дело идет о прекращении траты энергии на вытеснение, достигнутое токсическим путем. Расхожее мнение утверждает, что в таком маниакальном состоянии духа становишься потому таким подвижным и предприимчивым, что появляется хорошее настроение. От этого ложного соединения придется отказаться. В душевной жизни осуществилось вышеупомянутое условие, и потому появляется, с одной стороны, такое радостное настроение, а с другой — такое отсутствие задержек и действий.

Если мы соединим оба наметившиеся объяснения, то получим: в мании *Я* преодолело потерю объекта (или печаль из-за потери, или, может быть, самый объект), и теперь оно располагает всей суммой противодействующей силы, которую мучительное страдание меланхолии отняло от *Я* и сковало. Маниакальный больной совершенно явно показывает нам свое освобождение от объекта, из-за которого страдал, тем, что с жадностью голодного набрасывается на новые привязанности к объектам.

Это объяснение кажется вполне приемлемым, но, во-первых, оно страдает неточностью, а во-вторых — вызывает столько новых вопросов и сомнений, что мы не в состоянии на все ответить. Мы не отказываемся от обсуждения этих вопросов, хотя и не надеемся при помощи этой дискуссии найти путь к их разъяснению.

Во-первых, нормальная печаль также преодолевает потерю объекта и также поглощает всю энергию *Я* на то время, пока она держится. Почему же не создается при нормальной печали реального условия для фазы триумфа, хотя бы в самой слабой форме после того, как печаль прошла? *Я* нахожу невозможным вкратце ответить на это возражение. Оно обращает наше внимание на то, что мы даже не можем сказать, какими практическими средствами печаль разрешает свою задачу; но, может быть, тут поможет нам одно предположение. По поводу каждого отдельного воспоминания и ожидания, в котором проявляется привязанность либидо к потерянному

объекту, реальность выносит свой приговор, что объект этот больше не существует. Всей суммой нарциссических удовлетворений *Я* оказывается как бы поставленным перед дилеммой: хочет ли оно разделить участь умершего, или ради сохранения жизни вынуждено будет согласиться на то, чтобы разорвать свою связь с погибшим объектом. Можно себе представить приблизительно, что этот разрыв происходит так медленно и постепенно, что по окончании этой работы оказывается израсходованной вся необходимая для нее трата энергии[3].

Очень соблазнительно, принимая во внимание работу печали, искать путь к изображению меланхолической работы. Но тут мы сперва натыкаемся на некоторую неуверенность. До сих пор мы почти не принимали во внимание топической точки зрения при меланхолии и не поднимали вопроса, в какой и между какими психическими системами происходит работа меланхолии. Какие из психических процессов этого заболевания разыгрываются еще с оставленными бессознательными привязанностями к объектам, а какие процессы протекают над заменяющим их отождествлением с *Я*.

Легко сказать и не труднее написать, что «бессознательные представления (вещей) объекта лишены либидо». Но в действительности это представление заменено бесчисленным количеством отдельных впечатлений (бессознательными следами его), и процесс отнятия либидо не может быть делом одного момента, а, несомненно, как и при печали, представляет собой длительный, постепенно продвигающийся процесс.

Трудно различить, начинается ли он во многих местах одновременно или протекает в каком-либо определенном порядке; при анализе часто можно установить, что оживают то одни, то другие воспоминания и что однообразные, утомительные в своей монотонности жалобы меланхолика всякий раз являют другую, бессознательную причину. Если объект не имеет для *Я* такого большого, такого усиленного тысячами связей значения, то потеря его не может вызвать печали или меланхолии. Признак постепенного отделения либидо по частям нужно приписать в равной мере как меланхолии, так и печали. Он, вероятно, основывается на одинаковых условиях и служит тем же тенденциям.

Однако, как мы слышали, меланхолия имеет несколько большее содержание, чем печаль. Отношение к объекту у нее не такое простое — оно усложняется амбивалентным конфликтом. Амбивалентность или конституциональна, т. е. присуща всем любовным отношениям данного *Я*, или же она вытекает из тех переживаний, с которыми связана угроза потери объекта. Поводы к меланхолии могут быть поэтому гораздо более обширны, чем к печали, которая обыкновенно вызывается только реальной потерей — смертью объекта. При меланхолии разыгрывается таким образом бесконечное количество отдельных сражений из-за объекта, в которых происходит борьба между ненавистью и любовью: в одних случаях, чтобы отнять либидо от объекта, в других — чтобы удержать против натиска позиции либидо. Эти отдельные сра-

жения мы можем поместить только в систему бессознательного, в область следов вещественных воспоминаний (в противоположность активности словесных представлений). Так же разыгрываются попытки отнятия либидо и при печали, но при ней не имеется никаких препятствий к тому, чтобы эти процессы продолжались нормальным путем и через бессознательное достигали сознания. Этот путь закрыт для меланхолической работы, может быть, вследствие большого числа причин или одновременного их действия. Конституционная амбивалентность сама по себе принадлежит к вытесненному, травматические же переживания с объектом могут активировать другое вытесненное. Таким образом все в этой амбивалентной борьбе остается вне сознания до тех пор, пока не наступает характерный для меланхолии исход. Как знаем, он состоит в том, что угрожаемая привязанность либидо наконец оставляет объект, но только для того, чтобы вернуться на место *Я*, из которого оно исходило. Благодаря бегству к *Я* любовь была избавлена от полного уничтожения. После этой регрессии либидо процесс может стать сознательным и представляться сознанию как конфликт между частью *Я* и критической инстанцией.

То, что сознание узнает о меланхолической работе, не составляет, следовательно, существенную часть ее, и не ту часть, которой мы приписываем влияние на разрешение страданий. Мы видим, что *Я* обесценилось и негодует против себя и понимает так же мало, как и сам больной, к чему это может привести и как это может измениться. Скорее мы можем приписать



такую деятельность бессознательной части работы, потому что нетрудно найти существенную аналогию между работой меланхолии и работой печали. Подобно тому, как печаль вынуждает *Я* отказаться от объекта, объявляя объект мертвым, а *Я* предлагает премию сохранения жизни, так и каждое отдельное амбивалентное сражение ослабляет фиксацию либидо на объекте, обесценивая его, унижая, как бы убивая. Может случиться, что процесс закончится в бессознательном или после того, как утихла ярость, или после того, как объект оставлен как не имеющий никакой цены. Мы не можем обнаружить, какой из этих двух возможностей, как правило, или в большинстве случаев приписать окончание меланхолии и какое влияние такое окончание имеет на дальнейшее развитие событий. *Я* при этом испытывает удовлетворение от того, что в состоянии признать свое превосходство над объектом.

Если мы и примем такое понимание меланхолической работы, то и она не может нам дать того, что мы собирались объяснить. Наше желание вывести правило-условие возникновения мании по окончании меланхолии из амбивалентности, господствующей в этой болезни, могло бы основываться на аналогиях с различными другими областями, но мы должны склониться перед одним фактом. Из трех предпосылок меланхолии — потери объекта, амбивалентности и регрессии либидо на *Я* — мы встречаем оба первые условия при навязчивых упреках в случае смерти. В этих случаях амбивалентность является движущей силой конфликта, и наблюдение показывает,

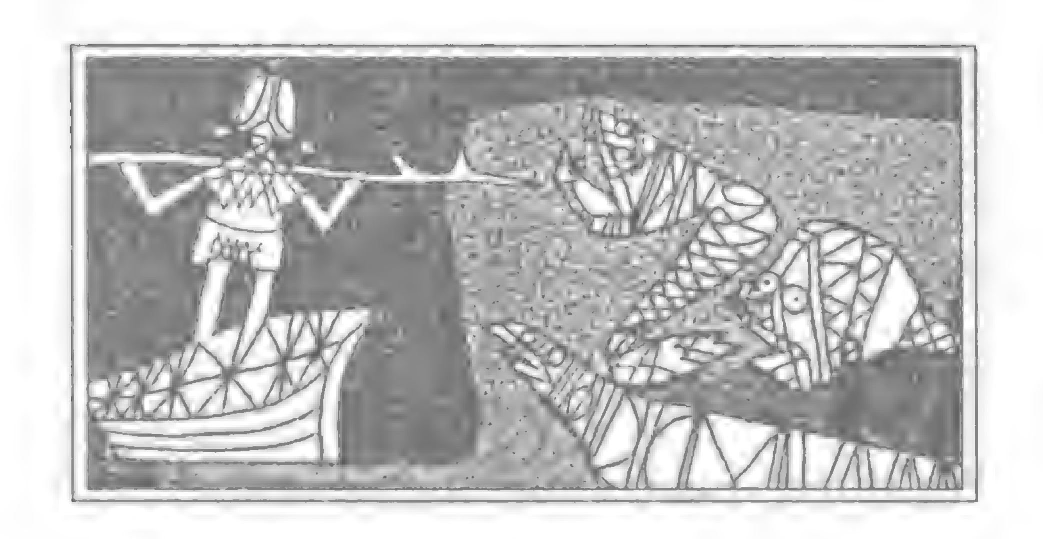
что после того, как конфликт разрешился, не остается ничего похожего на триумф маниакального настроения. Это показывает нам, что единственно действительным является третий момент. То накопление связанной сначала энергии, которая освобождается по окончании меланхолической работы и делает возможной наступление мании, должно находиться в связи с регрессией либидо к нарциссизму. Конфликт в *Я*, которым меланхолия заменила борьбу за объект, должен оказать действие болезненной раны, которая требует необыкновенно большого противодействия. Но здесь будет вполне целесообразно остановиться и отложить дальнейшее разъяснение мании, пока мы не научимся понимать экономическую природу сначала телесной, а затем и аналогичной ей душевной боли. Мы уже знаем, что общая связь запутанных душевных проблем вынуждает нас прервать, не закончив, всякое исследование до того момента, пока нам не придут на помощь результаты другого исследования.

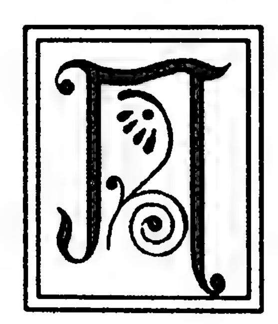






ЖУТКОЕ





Психоаналитик лишь изредка чувствует побуждение к эстетическим изысканиям, и не в том случае, когда эстетику сужают до учения о прекрасном, а когда представляют ее учением о качествах нашего чувства. Он работает в других пластах душевной жизни и имеет мало дела с оттесненными от цели, смягченными, зависимыми от столь многих сопутствующих обстоятельств эмоциональными порывами, чаще всего и являющимися предметом эстетики. Все же иногда он вынужден заинтересоваться определенной областью эстетики, и в таком случае это обычно область, лежащая в стороне, пренебрегаемая профессиональной эстетической литературой.

Таково «жуткое». Нет сомнений, что оно относится к тому, что вызывает испуг, страх или ужас, так же верно и то, что это слово не всегда употребляется в четко определенном смысле, так что вообще чаще всего совпадает именно с вызывающим страх. Но все же мы вправе надеяться, что существует своеобразное ядро, оправдывающее употребление особого слова-понятия. Хотелось бы знать, *что* является таким общим ядром, которое, возможно, позволит распознать «жуткое» в рамках вызывающего страх.

По этому поводу не найдешь почти ничего в пространных писаниях эстетики, вообще охотнее занимающейся чувством прекрасного, величественного, привлекательного, то есть положительными видами эмоций, их предпосылками и предметами, которые их вызывают, чем с чувством неприятного, отталкивающего, мучительного. Со стороны медицинско-психологической литературы я знаю только одну содержательную, но не исчерпывающую статью Э. Йенча. Во всяком случае должен признать, что согласно легко обнаруживаемым, связанным со временем причинам литература к этому небольшому докладу, в особенности иноязычная, не была основательно отобрана, вот почему он и предстает перед читателем без каких либо притязаний на окончательную истину.

В качестве трудности при изучении жуткого Йенч справедливо подчеркивает, что восприимчивость к эмоциям такого качества различается у разных людей. Более того, автор этой новой попытки вынужден обвинить себя в нечувствительности в деле, где, напротив, была бы уместна значительная утонченность. Он уже давно не испытывал или не сталкивался ни с чем, что вызвало бы у него впечатление жуткого, поэтому сначала он вынужден был вживаться в это чувство, вызывать в своей памяти возможные случаи последнего. Впрочем, трудности такого рода велики и во многих других областях эстетики; не следует из-за этого терять надежду, что удастся отобрать случаи, соответствующий характер большинства которых признается беспрекословно.

Теперь можно избрать два пути: посмотреть, какое значение вложило в слово «жуткое» развитие языка, или отобрать то, что в людях и в предметах, в чувственных впечатлениях, в переживаниях и в ситуациях вызывает в нас чувство «жуткого», или сделать вывод о скрытом характере жуткого на основе общего для всех случаев. Сейчас я намерен показать, что оба пути ведут к одному и тому же результату: жуткое — это та разновидность пугающего, которое берет начало в давно известном, в издавна привычном. Как это возможно, при каких условиях привычное может стать жутким, пугающим, станет ясным из дальнейшего. Еще я отмечаю, что это исследование на самом деле избрало путь собирания отдельных фактов и лишь позднее нашло подтверждение благодаря свидетельствам словоупотребления. В своем изложении я, однако, пойду противоположным путем.

Немецкое слово «жуткое» (unheimlich) явно противоположно словам «уютное» (heimlich), «родное» (heimisch), «привычное» (vertraut)[1], и напрашивается вывод: это то, что вызывает испуг именно потому, что оно *не* знакомо и *не* привычно. Но, разумеется, пугает не все новое и непривычное; отношение *не* обратимо. Можно только сказать, что своеобразное легко становится пугающим и жутким; но пугает только определенное своеобразие, а далеко не всякое. К новому и непривычному нужно прежде кое-что добавить, чтобы оно стало жутким.

Йенч в общем остановился на этом отношении жуткого к своеобразному, непривычному. Существенное условие для появления чувства жуткого он обнаруживает в интеллектуальной неуверенности. Жутким, собственно, всегда становится нечто, в чем до некоторой степени не разбираются. Чем лучше человек ориентирован в окружающей среде, тем труднее ему испытать впечатление жути от вещей или событий в ней.

Мы должны без труда решить, что эта характеристика не является исчерпывающей, и поэтому попытаемся выйти за пределы равенства: жуткое = непривычное. Обратимся прежде всего к другим языкам. Однако словари, в которых мы наводили справки, не говорят нам ничего нового, и, быть может, не только потому, что мы сами иноязычны. Более того, у нас складывается впечатление, что многим языкам недостает одного слова для этого особого оттенка пугающего[2].

Латинский язык (по K. E. Georges «Kl. Deutsch-latein Wörterbuch», 1898): жуткое место — lokus suspectus, в жуткое время ночи — intempesta nocte.

Греческий язык (Wörterbucher von Rost und von Schenkl): ξευοζ — то есть чуждый, чужеродный.

Английский язык (из словарей Лукаса, Беллоу, Флюгеля, Мюре-Сандерса): uncomfortable, uneasy, gloomy, dismal, uncanny, ghostly; о доме: haunted; о человеке: a repulsive fellow.

Французский язык (Sachs — Villatte): inquietant, sinistre, lugubre, mal a son aise.

Испанский язык (Tollhausen, 1889): sospechoso, de mal aguero, lugubre, siniestro.

Кажется, что испанский и португальский языки довольствуются словами, которые мы назвали бы парафразами. В арабском и в еврейском языке «жуткое» совпадает с демоническим, ужасающим.

Вернемся поэтому к немецкому языку.

В «Wörterbuch der Deutschen Sprache», 1860, Даниеля Зандерса содержатся следующие сведения о слове «уютный» (heimlich), которые здесь выписаны мною в сокращенном виде и из которых я буду выделять отдельные места путем подчеркивания (I Bd. S. 729)[3].

«Heimlich, a. (-keit, f. -en). 1.Также Heimelich, heimelig, относящийся к дому, не чужой, привычный, ручной, милый и дружественный, родной и т. д.— а) (*устар.*) относящийся к дому, к семье, или: рассматриваемый как относящийся к ним, ср. *лат.*— familiaris — привычный. Уютное, домашнее. Дружеский совет, принять дружеский совет.— б) одомашнивать животных, делать их доверчивыми к людям. Противопол.: дикий, напр., не одичавший, не домашний зверь и т. д. Дикие животные, воспитанные домашними и прирученные людьми. Так как эти животные росли у людей, то они стали совершенно домашними, ласковыми и т. д. Кроме того: она (овца) стала домашней и ела из моих рук. При всем том аист остается красивой, домашней птицей.— в) уютный, напоминающий об уюте; вызывающий чувство спокойного благополучия,

кроме того, успокаивающей тишины и надежной защиты, подобно закрытому уютному дому. Ср. *безопасный*: Уютно ли тебе в краю, где чужаки корчуют твои леса? Ему было у него не особенно уютно. По открытой уютной тропе усопших... вдоль лесного ручья, текущего и плещущегося с журчанием. С трудом я нашел такое интимное и уютное местечко. Мы представляли это таким удобным, таким благопристойным, таким приятным и уютным. В уютной домашней обстановке, отвлекаясь от узких рамок приличия. Рачительная домохозяйка, умеющая с минимальными затратами создать домашний уют. Тем ближе [уютнее, теплее, милее] ему казался этот еще совсем недавно посторонний ему человек. Властитель-протестант чувствовал себя неуютно среди своих католических подданных. Когда стало тихо [спокойно, уютно] и только еле слышно звучал вечерний покой в твоей келье... И тихо, и мило, и уютно, как они могли только мечтать о месте отдыха. Ему при этом было вовсе неуютно.— Также: Место было таким тихим, таким уединенным, таким затененно-уютным. Низвергающаяся и разрушающая волна, украдкой калечащая и убаюкивающая.— Ср., особенно Unheimlich (неуютный).— Очень часто у швабских, шварцвальдских писателей пишется в три слога: Как уютно (heimelich) было Иво опять вечером, когда он лежал дома. В этом доме мне было совсем по-домашнему. Жаркая горница, уютное послеобеденное время. Это действительно приятно, когда человек от всего сердца чувствует, как мелок он сам и как велик Господь. Мало-помалу им

стало очень приятно и душевно друг с другом. Дружеский уют. Пожалуй, мне нигде не будет уютнее, чем здесь. Занесенное издалека обычно не очень радушно (по-родственному, добрососедски) сосуществует с людьми. Хижина, где обычно он так по-домашнему, с таким удовольствием сидел в кругу своих. Поскольку рожок караульного звучит с башни так по-домашнему, его звук как бы приглашает в гости. Она спит здесь так умилительно и покойно, так удивительно приятно.— *Этот вариант стал привычным, и его не следует смешивать с напрашивающимся 2) значением: Все клещи скрытны (2). Приятны? Что вы под этим понимаете? В этом случае у меня с вами получилось, как с засыпанным колодцем или с высохшим прудом. Не может быть и речи, чтобы они опять могли наполниться водой. Мы называем их неприятными; вы называете их скрытными. Почему вы находите, что у этого семейства есть что-то скрытое и сомнительное? (Гуцков Р.*[4])— г) (см. *в*)) особенно в Силезии: радостный, ясный, — то же о погоде.

2. Оставаться скрытым, так что другим об этом или изза этого непозволительно знать: это от них хотят скрыть. Ср. Geheim (потаенное) прежде всего в нововерхненемецком диалекте, а особенно в старонемецком, например в Библии, а также Heimeligkeit вместо Geheimnis (тайна). Не всегда точно разделяются: скрытно (за чьей-то спиной) делать что-то, подвигать; тайком уйти от кого-то; тайные связи, тайные

соглашения; смотреть со скрытым злорадством; тайно вздыхать, плакать тайком; делать тайком, словно надо было что-то скрывать. Тайная любовь, любовная связь. Тайный грех. Потаенные места (в которые прячут имущество). Отхожее место (уборная).— Также: судно. Опускать в гроб, в безвестность. Тайком от Лаомедонта вывести кобылиц. — Также: скрытно, потаенно, с коварством и злобой против лютых господ, открыто, непринужденно, сочувственно и услужливо по отношению к страдающему другу. Ты еще узнаешь мои тайны и святыни. Тайное искусство (колдовство). Там, где вынуждены прислушиваться к общественному мнению, начинаются тайные махинации. Свобода — это тихий пароль тайных заговорщиков, громкий отзыв общественных ниспровергателей. Тайное священнодействие. Мои корни, в том числе и тайные, я скрыл глубоко в почве. Мои тайные козни (ср. коварство). Если он не получал это явно и по совести, то мог брать тайком и вопреки совести. Давайте тайком и секретно соберем телескоп. Отныне я не намерен больше допускать что-то тайное между нами. Некто открыл, обнаружил, разгадал потаенное. Строить тайны за моей спиной. В наше время стараются сохранить таинственность. Таинственно шушукаться за спиной. Таинственность отлучения можно сокрушить только силой разума. Скажи, где ты ее скрываешь [таишь]? В каком месте умалчиваемой [потаенной] тайны? Ее пчелы, которые слепили таинственности замок (воск для печати). Проникнуть в дивные тайны (чародейство). Ср. Geheimnis.

Сопоставимое, см. I B), а также противоположное: Unheimlich; сумерки, вызывающие чувство неприятного страха. Тот показался ему жутким, призрачным. Ночь жутких, пугающих часов. На душе у меня давно уже было неприятно, даже жутко. Мне сделалось жутко. Жуткое и недвижное, как каменная статуя. Жуткий туман, называемый сухим. Эти бледные юнцы были жутки, и бог знает, что они натворят. *Жутким называют все то, что должно было оставаться тайным, скрытым и вышло наружу. (Шеллинг).*— и далее: скрывать, окружать божественное некоторой таинственностью. Не употребительно противоположное».

Из этой длинной выдержки для нас интереснее всего то, что слово (heimlich) среди многочисленных оттенков своего значения демонстрирует одно, в котором совпадает со своей противоположностью (unheimlich). Heimlich тогда становится unheimlich; сравните пример Гуцкова: «Мы называем это приятным, вы называете это жутким». Мы вообще вспоминаем о том, что слово «heimlich» не однозначно, а относится к двум кругам представлений, которые, не будучи противоположными, все же весьма далеки друг от друга: представлению о привычном, приятном и представлению о скрытом, остающимся потаенным. Жуткое (unheimlich) как бы употребительно в качестве противоположности только к первому значению, а не ко второму. Мы ничего не узнаем у Зандерса о том, нельзя ли все-таки предположить генетическую связь между этими двумя значениями. Зато обращаем внимание на замеча-

ние Шеллинга, высказавшего нечто совершенно новое о содержании понятия «жуткое», разумеется, не подделываясь под наши ожидания. Жуткое — это все, что должно было оставаться тайным, сокровенным и выдало себя.

Часть упомянутого сомнения объясняется сведениями из «Deutsches Wörterbuch», Leipzig, 1877 (IV/2. S. 874 и далее) Якоба и Вильгельма Гриммов:

«Heimlich; adj. und adv. vernaculus, occultus; средневерхненемецкий: heimelich, heimlich.

S. 874: В несколько ином смысле: это мне приятно, пригодно, не пугает меня...

в) heimlich — также место, свободное от призрачного...

S. 875: б) привычное, дружественное, вызывающее доверие.

Из родного, домашнего далее развивается понятие, скрытое от чужого взгляда, сокровенное, тайное; последнее развивается и в другом отношении...

S. 876: «слева от моря располагался луг, скрытый лесом» (Шиллер).

...Вольно и для современного словоупотребления непривычно... heimlich присоединяется к глаголу «скрывать»: он тайком (heimlich) скрыл меня в своей палатке. ...Потаенные (heimliche) места человеческого тела, половые органы... то, что людей не убивает, а тянет к родным (heimlichen) местам.

в) Важные и остающиеся тайными Советы, отдающие приказы в государственных делах, требующих тайных советов; прилагательное заменяется — по современным нормам сло-



воупотребления — «geheim» (тайный): ...(Фараон) называет его (Иосифа) тайным советником.

S. 878: heimlich (скрытое) от познания, мистическое, аллегорическое: скрытое значение, mysticus, divinus, occultus, figuratus.

S. 878: кроме того, «heimlich», непознанное, неосознанное; также сокрытое, непроницаемое для исследования: «...Ты, видимо, заметил? Они мне не доверяют, они скрытно боятся Фридляндца». («Лагерь Валенштейна»).

Значение скрытного, опасного, подчеркнутое в предыдущем пункте, развивается еще дальше, так что heimlich приобретает смысл, который в ином случае принадлежит unheimlich (образованное от heimlich. S.874): для меня это слишком поздно, как для человека, который бродит в ночи и верит в привидения, за каждым углом ему чудится что-то скрытое и ужасное».

Итак, «heimlich» — это слово, развертывающее свое значение в амбивалентных направлениях, вплоть до совпадения со своей противоположностью «unheimlich». В некоторых случаях «unheimlich» разновидность «heimlich». Сопоставим этот еще не вполне объясненный вывод с определением «жуткого» Шеллингом. Исследование отдельных случаев жуткого сделало для нас понятным эти предложения.



II

Если теперь мы перейдем к предварительному разбору людей и предметов, впечатлений, процессов и ситуаций, способных с особой силой и отчетливостью пробудить в нас чувство жуткого, то, пожалуй, настоятельной необходимостью является выбор удачного первого примера. Э. Йенч выделяет как превосходный случай «сомнение в одушевленности кажущегося живым существа, и наоборот: не одушевлена ли случайно безжизненная вещь» и при этом ссылается на впечатление от восковых фигур, искусно изготовленных кукол и автоматов. Он добавляет впечатление жуткого от эпилептического припадка и проявлений безумия, потому что с их помощью в зрителе пробуждаются догадки о рефлекторных — механических — процессах, видимо, скрытых за привычным образом одушевленного. Не будучи пока полностью убежденными этим выводом автора, мы добавим к нему наше собственное исследование, ибо в дальнейшем оно напомнит нам о писателе, которому удавалось создание жуткого впечатления лучше, чем кому-либо другому.

«Один из самых надежных приемов без труда вызвать впечатление жуткого с помощью повествования,— пишет Йенч,— основывается на том, чтобы оставить читателя в неведении, является ли некоторая фигура человеком или, допустим, автоматом, и именно так, чтобы эта неуверенность не оказалась непосредственно в фокусе его внимания и не побуждала

его тем самым немедленно исследовать и выяснять суть дела, так как из-за этого, как утверждают, легко исчезает особое эмоциональное воздействие. Э.-Т.-А. Гофман с успехом неоднократно демонстрировал в своих фантастических повестях данный психологический прием».

Это, конечно же, верное замечание намекает прежде всего на рассказ «Песочный человек» в «Ночных повестях» (третий том гризебаховского издания Полного собрания сочинений Гофмана), из которого возник удачный образ куклы Олимпии в первом акте оперы Оффенбаха «Сказки Гофмана». Я вынужден, однако, сказать — и надеюсь, большинство читателей этой истории со мной согласится,— что мотив кажущейся одушевленной куклы Олимпии отнюдь не единственный, который ответствен за бесподобное впечатление жути от рассказа, более того, даже не тот, которому в первую очередь следовало бы приписать такое воздействие. Этому воздействию также не подходит то, что самим автором эпизод с Олимпией воспринимается с легким сатирическим уклоном и используется им как насмешка над любовной переоценкой со стороны молодого человека. Напротив, в центре рассказа находится другой момент, по которому он и получил название и который обыгрывается снова и снова в решающих моментах: мотив Песочного человека, ослепляющего детей.

Студент Натанаэль, с детских воспоминаний которого начинается фантастическая повесть, не в состоянии — несмотря на свое нынешнее благополучие — отрешиться от воспоми-

наний, связанных у него с загадочно ужасной смертью любимого отца. Иногда вечерами мать имела обыкновение отправлять детей рано в постель с предостережением: «Придет Песочный человек», и в самом деле, потом ребенок каждый раз слышал тяжелые шаги какого-то посетителя, который пришел к отцу в этот вечер. Мать на вопрос о Песочнике, правда, потом отрицала, что таковой существует, это всего лишь простое слово, а няня сумела дать весомую справку: «Это такой злой человек, который приходит за детьми, когда они упрямятся и не хотят идти спать, швыряет им в глаза пригоршню песка, так что глаза заливаются кровью и лезут на лоб, а потом кладет ребят в мешок и относит на луну на прокорм своим детушкам, что сидят там в гнезде, а клювы у них кривые, как у сов, и ими они выклевывают глаза непослушным деткам».

Хотя маленький Натанаэль был достаточно взрослым и смышленым, чтобы пренебречь столь ужасающими подробностями в фигуре Песочного человека, все же в нем угнездился страх перед самим Песочником. Он решил выведать, как выглядит Песочный человек, и однажды вечером, когда его опять ожидали, спрятался в кабинете отца. Тут в посетителе он признал адвоката Коппелиуса, отвратительную личность, обычно пугавшую детей, когда он при случае появлялся за обедом как гость, и теперь отождествил Коппелиуса со вселяющим страх Песочником. В дальнейшем развитии этой сцены поэт уже в сомнении: имеем ли мы дело с первым бредом объятого страхом мальчика или с повествованием, которое следует

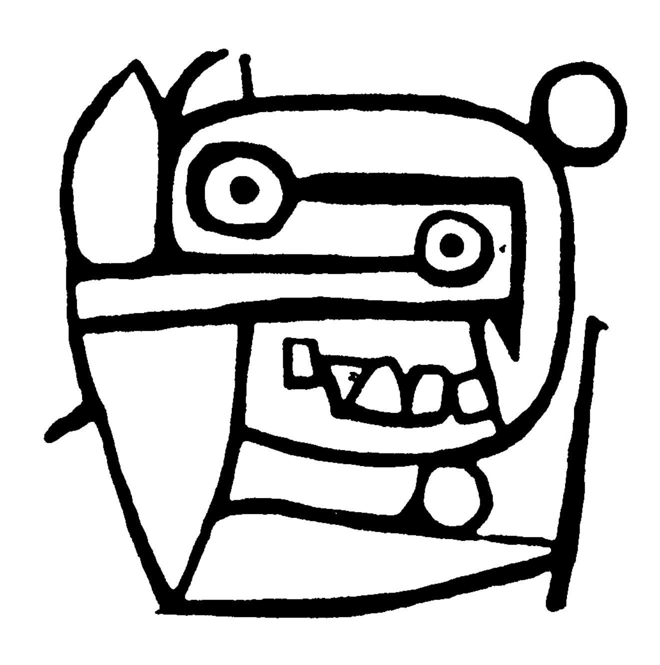
понимать как реальное в изобразительном мире рассказа. Отец и гость хлопочут над очагом с раскаленными углями. Маленький сыщик слышит крик Коппелиуса: «Глаза сюда! Глаза!» — и выдает себя возгласом, его хватает Коппелиус вознамерившийся бросить ему в глаза горсть пылающих угольков, чтобы затем швырнуть его в очаг. Отец умоляет сохранить ребенку глаза. Приключение заканчивается глубоким обмороком и длительной болезнью. Человек, склонный к рационалистическому толкованию Песочного человека, признает в этой фантазии ребенка сохранившееся воздействие рассказа нянюшки. Место песчинок заняли раскаленные угли, которые должны быть брошены ребенку в глаза в обоих случаях, чтобы глаза вылезли из орбит. При следующем визите Песочного человека, годом позже, отец был убит взрывом в кабинете; адвокат Коппелиус бесследно исчез из города.

Теперь ужасающий образ своего детства студент Натанаэль, как он считает, признал в бродячем итальянском оптике Джузеппе Копполе, предложившем ему в университетском городе купить барометр, а после его отказа добавил: «Э, ни барометр, ни барометр! — есть и короши глаз, короши глаз!». Ужас студента спал, так как предлагаемые глаза оказались безобидными очками; он купил у Копполы карманную подзорную трубу и с ее помощью заглянул в расположенную напротив квартиру профессора Спаланцани, где узрел его прекрасную, но загадочно молчаливую и недвижную дочь Олимпию. Скоро оно влюбился в нее так горячо, что из-за нее забыл

о своей умной и рассудительной невесте. Но Олимпия — автомат, к которому Спаланцани приделал заводной механизм, а Коппола — Песочный человек — вставил глаза. Студент пришел в эту квартиру, когда оба мастера ссорились из-за своего творения; оптик уносил деревянную, безглазую куклу, а механик Спаланцани бросил в грудь Натанаэля лежащие на полу окровавленные глаза Олимпии и сказал, что Коппола похитил их у Натанаэля. Последнего настиг новый припадок безумия, в бреде которого соединились воспоминания о смерти отца со свежим впечатлением: «Живей — живей — живей! Огненный круг — огненный круг! Кружись, огненный круг,— веселей — веселей! Деревянная куколка, живей,— прекрасная куколка, кружись!». Затем он бросился на профессора, мнимого отца Олимпии, и начал его душить.

Оправившись от долгой, тяжелой болезни, Натанаэль, казалось, наконец-то выздоровел. Он думает жениться на своей вновь обретенной невесте. Однажды они вдвоем гуляли по городу, высокая башня ратуши которого бросала на рынок исполинскую тень. Девушка предложила жениху подняться на башню, тогда как сопровождающий парочку брат невесты остался внизу. Наверху внимание Клары привлекло какое-то странное видение, приближающееся по улице. Натанаэль посмотрел на этот предмет в подзорную трубу Копполы, которую он нашел в своем кармане, и вновь его охватило безумие. Со словами: «Деревянная куколка, кружись!» — он вознамерился сбросить девушку с высоты. Привлеченный криком

брат спас ее и поспешил с ней вниз. Безумный метался наверху и выкрикивал: «Огненный круг, кружись!» — происхождение чего мы, безусловно, уже поняли. Среди людей, собравшихся внизу, возвышался неожиданно появившийся вновь адвокат Коппелиус. Мы вправе предположить, что именно зрелище его приближения привело к вспышке безумия у Натанаэля. Кое-кто собрался подняться наверх, чтобы связать безумца, но Коппелиус[5] рассмеялся : «Повремените малость, он скоро спустится сам». Внезапно Натанаэль остановился, узнал Коппелиуса и с пронзительным воплем: «А! Короши глаз — короши глаз!» — бросился через перила. Как только Натанаэль размозжил себе голову о мостовую, Песочный человек исчез в толпе.



Видимо, этот короткий пересказ не оставит ни малейшего сомнения в том, что чувство жуткого прямо связано с образом Песочного человека, т. е. с представлением о похищении глаз, и что интеллектуальная неуверенность в смысле Йенча не имеет ничего общего с этим впечатлением. Сомнения в одушевленности, которое мы были обязаны допустить в отношении куклы Олимпии, вообще не принимается во внимание в этом впечатляющем примере жуткого. Правда, поначалу писатель вызывает в нас разновидность неуверенности, не позволяя нам — конечно же, не без умысла — до поры до времени догадаться, вводит ли он нас в реальный мир или в угодный ему фантастический мир. Более того, он, как известно, имеет право создавать тот или иной мир, и, если, например, он избрал мир, в котором действуют духи, демоны и привидения, как сцену для своего описания, подобно Шекспиру в «Гамлете», в «Макбете» и в другом смысле — в «Буре» и во «Сне в летнюю ночь», мы в этом должны ему потворствовать и рассматривать этот предлагаемый им мир как реальность. Но по ходу повести Гофмана это сомнение исчезает, мы знаем, что художник хочет дозволить нам самим посмотреть через очки или подзорную трубу коварного оптика, более того, что он, быть может, самолично смотрел через такой инструмент. Окончание рассказа делает бесспорным, что оптик Коппола в самом деле адвокат Коппелиус, а следовательно и Песочный человек.



Об «интеллектуальной неуверенности» здесь уже не может быть и речи; теперь мы уверены, что нам нужно рассматривать не фантастическое видение безумца, за которым мы при рационалистическом рассуждении обязаны признать объективное положение дел, а впечатление жуткого, которое из-за этого объяснения ни в малейшей степени не уменьшилось. Стало быть, интеллектуальная неуверенность ничего не предлагает для понимания этого жуткого впечатления.

Напротив, психоаналитический опыт напоминает нам о том, что детей ужасает страх повредить глаза или лишиться их. У многих взрослых сохранилась эта боязнь, и они не опасаются утраты никакого другого органа так сильно, как органов зрения. Ведь по привычке можно сказать: нечто хранят как зеницу ока. Изучение сновидений, фантазий и мифов сообщило нам позднее, что боязнь за глаза, страх перед слепотой достаточно часто является заменой страха кастрации. И самоослепление мифического преступника Эдипа является только уменьшением наказания в виде кастрации, которое и было бы ему уготовано по принципу талиона. Правомерно попытаться в духе рационалистического способа мышления отвергнуть сведение боязни ослепления к страху кастрации; считают понятным, что столь ценный орган, как зрение, охраняется соответствующим значительным страхом; более того, могу далее утверждать, что за страхом кастрации не скрывается никакая более глубокая тайна и никакой иной смысл. Но этим все же не воздают должного замещающей связи между зрением и мужским членом,

обнаруженной в сновидении, фантазии и в мифе, и не способной оспорить впечатление, что особо сильное смутное чувство возникает как раз из-за угрозы лишиться полового члена и что это чувство лишь заменяет представление об утрате другого органа. Всякое последующее сомнение исчезает тогда, когда из анализа невротика узнают детали «комплекса кастрации» и замечают его огромную роль в душевной жизни последнего.

Я также не посоветовал бы ни одному противнику психоаналитического толкования ссылаться в пользу утверждения, будто страх перед ослеплением независим от комплекса кастрации, именно на гофмановскую повесть о «Песочном человеке». Ибо почему здесь боязнь слепоты оказалась в теснейшей связи со смертью отца? Почему Песочник каждый раз появляется как разрушитель любви? Он ссорит несчастного студента с его невестой и с ее братом, его лучшим другом, он уничтожает второй объект его любви — прекрасную куклу Олимпию, и принуждает его самого к самоубийству накануне его счастливого соединения со вновь обретенной Кларой. Данные, а также многие другие черты повести кажутся произвольными и маловажными, если отвергают связь страха за зрение с кастрацией, и становятся разумными, как только Песочного человека заменяют страшным отцом, от которого ожидают кастрацию[6].

Мы рискнули бы, следовательно, свести чувство жуткого от Песочника к страху детского комплекса кастрации. Но, как только всплывает мысль принять во внимание для возникно-

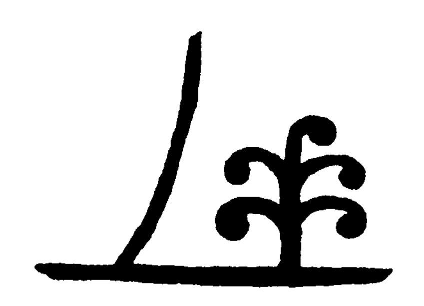
вения чувства жуткого такой инфантильный фактор, это подталкивает нас к попытке этот же вывод учесть и для других примеров жуткого. В «Песочном человеке» содержится мотив кажущейся живой куклы, который выделил Йенч. Согласно этому автору, особенно благоприятным условием рождения чувства жуткого есть пробуждение интеллектуальной неуверенности, является ли что-то живым или лишенным жизни и когда безжизненное проявляет далеко идущее сходство с живым. Конечно, как раз в случае с куклой мы недалеко удалились от инфантильного. Мы вспоминаем, что ребенок в ранней стадии игры вообще резко не различает одушевленное и неодушевленное и с особой охотой обращается со своей куклой как с живым существом. Более того, от одной пациентки удалось услышать рассказ, что в возрасте восьми лет у нее еще оставалось убеждение, что если бы она глядела на свою куклу определенным образом, возможно более убедительно, то та должна была бы ожить. Стало быть, и здесь можно легко продемонстрировать инфантильный фактор, но примечательно, что в случае с Песочником речь идет о пробуждении старого детского страха, а в случае с живой куклой о страхе нет и речи: ребенок не испытывал страха перед оживлением своей куклы, быть может, даже желал этого. Итак, здесь источником чувства жуткого является не детский страх, а детское желание или даже только детская вера. Это вроде бы противоречие. Но, может быть, это только

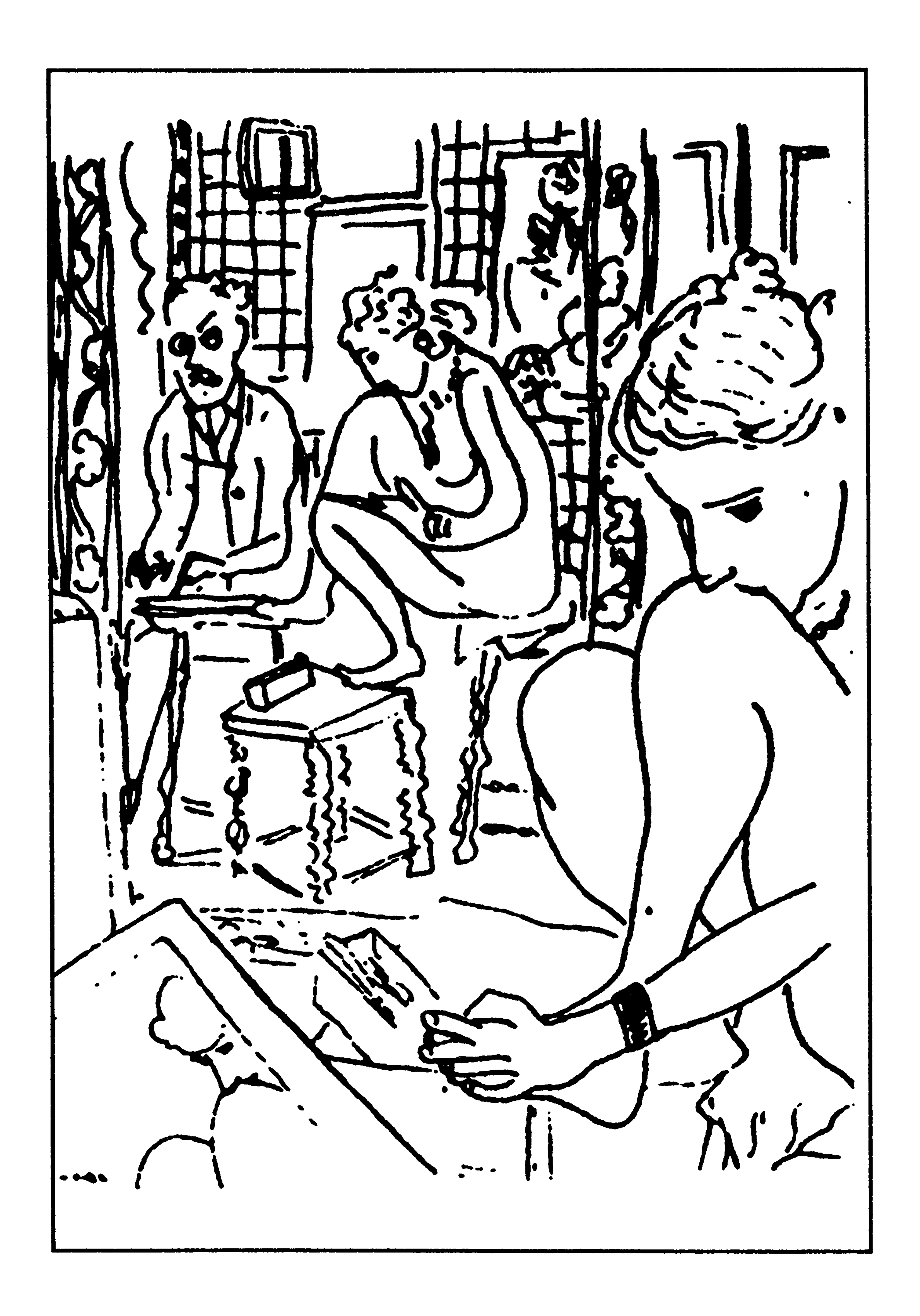
разнообразие, которое позднее может оказаться полезным для нашего понимания.

Э.-Т.-А. Гофман — недосягаемый мастер изображения жуткого в литературе. Его роман «Эликсиры Сатаны» показывает целый букет мотивов, которые могли бы укрепить впечатление жуткого от приведенной в нем истории. Содержание романа слишком богато и запутанно, чтобы можно было рискнуть на резюме из него. В конце книги, когда прибавляются обстоятельства действия романа, до сих пор скрывавшиеся от читателя, результатом является не просвещение читателя, а его полное замешательство. Художник нагромоздил слишком много однородного; видимо, от этого страдает не впечатление целостности, а только его уразумение. Мы ограничиваемся здесь упоминанием наиболее примечательных мотивов, производящих впечатление жуткого, чтобы исследовать, позволительно ли их выводить из инфантильных источников? Таковым является проблема двойников во всех оттенках и вариантах, т. е. появление людей, которые из-за своей одинаковой наружности должны считаться идентичными, усиление данной ситуации благодаря скачку душевных процессов от одной из персон к другой — что мы называли бы телепатией,— так что один персонаж овладевает знанием, чувствами и переживаниями другого, отождествляется с другим лицом. Герои произведения плутают в своем *Я* или перемещают чужое *Я* на место собственного, т. е. происходит удвоение *Я*, разделение *Я*, подмена *Я* — и, наконец, постоянное возвращение

одного и того же, повторение тех же самых черт лица, характеров, судеб, преступных деяний, даже имен на протяжении нескольких сменяющих друг друга поколений.

Мотив двойника нашел обстоятельную оценку в одноименной работе О. Ранка. Там исследуется отношение двойника к зеркальному и теневому изображению, к ангелу-хранителю, к учению о душе и к страху смерти, но это бросает яркий свет и на поразительную историю развития мотива. Так как первоначально двойник был страховкой от гибели *Я*, «решительным опровержением власти смерти» (О. Ранк), и, вероятно, «бессмертная душа» была первым двойником телу. Создание такого удвоения для защиты от уничтожения имеет свое подобие в описании на языке сновидения, предпочитающего изображать кастрацию путем удвоения или умножения символов гениталий; в культуре древних египтян он стало толчком для искусства придавать образу умершего форму постоянной темы. Но эти представления возникли на почве неограниченного себялюбия, первичного нарциссизма, господствующего над душевной жизнью как детей, так и первобытных людей, а вместе с преодолением этой фазы изменяются признаки двойника, из гарантии загробной жизни он становится жутким предвестником смерти.







Представлению о двойнике не нужно исчезать вместе с этим первобытным нарциссизмом, поскольку оно в состоянии почерпнуть новое содержание из более поздних ступеней развития *Я*. В *Я* медленно выделяется особая инстанция, служащая самонаблюдению и самокритике, производящая работу психической цензуры и известная нашему сознанию как «совесть». В патологическом случае грезовидения она обособляется, откалывается от *Я*, что замечает врач. Факт наличия такой инстанции, способность рассматривать прочее *Я* как объект, т. е. способность человека к самонаблюдению, делают возможным наполнить старое представление о двойнике новым содержанием и предоставить ему всякого рода прибавки, прежде всего то, что кажется самокритике принадлежащим к давно преодоленному нарциссизму первобытных времен[7].

Однако в двойника может включаться не только предосудительное для *Я-критики* содержание, но равно и все оставшиеся варианты формирования судьбы, на которых еще будет задерживаться фантазия, и все «стремления *Я*», которые не смогли добиться успеха в результате внешних неблагоприятных условий, как и все подавленные волеизъявления, доказывающие иллюзорность свободы воли.[8]

Однако после такого рассмотрения явной подоплеки образа двойника мы вынуждены сказать себе: ничто из всего этого не объясняет нам чрезвычайно высокую степень жуткого, присущую ему, а на основе нашего знания патологических душевных процессов мы вправе установить — ничто из этого

содержания не могло бы объяснить защитное стремление, которое проецирует его вне *Я* как нечто постороннее. Особенность жуткого проистекает только из того, что двойник — это относящееся к преодоленным первобытным временам психики образование, впрочем имевшее тогда более приятный смысл. Двойник стал образом ужаса, подобно тому как боги после падения их религии стали демонами (Гейне «Боги в изгнании»).

Другие использованные у Гофмана расстройства *Я* можно легко оценить по образцу мотива двойника. В случае с ними речь идет об откате к отдельным фазам в истории развития чувства *Я*, к регрессии во времена, когда *Я* еще не было жестоко ограничено от внешнего мира и от другого человека. Полагаю, что эти побудительные силы повинны во впечатлении жуткого, хотя и нелегко по отдельности выделить их долю в этом впечатлении.

Фактор повторения одного и того же, видимо, найдет признание как источник чувства жуткого не у каждого. По моим наблюдениям, при определенных условиях и в сочетании с определенными обстоятельствами несомненно появляется такое чувство, напоминающее к тому же о беспомощности некоторых состояний мечтательности. Когда я однажды в жаркий солнечный полдень бродил по незнакомым мне безлюдным улицам маленького итальянского городка, я оказался в месте, в характере которого не мог долго сомневаться. В окнах маленьких домов можно было увидеть только на-

крашенных женщин, и я поспешил покинуть узкую улицу через ближайший закоулок. Но, после того как какое-то время, не зная дороги, проскитался, я неожиданно обнаружил себя снова на той же улице, где уже начал привлекать внимание, а мое поспешное бегство привело только к тому, что по новой окольной дороге в третий раз оказался там же. Тогда-то меня охватило чувство, которое я могу назвать только чувством жути, и я был рад, когда, отказавшись от дальнейших пешеходных изысканий, нашел дорогу на недавно покинутую мной площадь. Другие ситуации, сходные с только что описанной ситуацией случайного возвращения и основательно отличающиеся от нее в других отношениях, сопровождались тем же чувством беспомощности и жути. Например, когда блуждают в дремучем лесу, скажем, окутанном туманом, и все же, несмотря на все старания найти заметную или знакомую дорогу, возвращаются повторно к одному и тому же, отмеченному определенными признаками месту. Или когда плутают в незнакомой темной комнате в поисках двери или выключателя и при этом неоднократно сталкиваются с теми же самыми предметами мебели, ситуация, которую Марк Твен, правда с помощью гротескного преувеличения, преобразовал в неотразимо комическую.



В другой серии наблюдений мы также без труда узнаем, что именно фактор неумышленного повторения делает жутким то, что в ином случае является безобидным, и навязывает нам идею рокового, неизбежного там, где иначе мы сказали бы только о «случае». Так, наверняка, когда, например, за свою, сданную в гардероб вещь, получают номерок с определенным числом — скажем, 62 — и обнаруживают, что полученная каюта носит тот же номер, то это — незначительное событие. Но такое впечатление меняется, когда два индифферентных самих по себе события близко сходятся друг с другом, так что кто-то в один день неоднократно сталкивается с числом 62, и, когда при таких обстоятельствах, этот кто-то случайно вынужден наблюдать, что все, носящее номер,— адреса, гостиничные комнаты, вагоны железной дороги и т. д. — снова и снова повторяет тот же номер, по крайней мере, в качестве составной части. Это считается «жутким», а тот, кто уязвим и чувствителен к искусам суеверий, обнаружит склонность приписать это назойливое возвращение одного и того же числа тайному смыслу, скажем, увидит здесь указание на предопределенную ему продолжительность жизни. Или если, например, кто-нибудь только что занимался изучением трудов великого физиолога Э.Геринга, а несколько дней спустя получил одно за другим письма от двух людей с той же фамилией из различных краев, тогда как доселе никогда не вступал в отношения с людьми с таким именем. Недавно один естествоиспытатель попытался подчинить события такого рода определенным за-

конам, благодаря чему должно было быть упразднено впечатление жуткого. Не рискну определить, удалось ли это ему.

Каким образом ужас от возвращения одного и того же можно вывести из инфантильной душевной жизни, я могу здесь только наметить и для этого обязан отослать к созданному в другой связи уже готовому обстоятельному описанию. То есть в психическом бессознательном следует, конечно же, признать власть «навязчивого повторения», исходящего от побуждений и, видимо, зависящей от внутренней природы самого влечения, достаточно сильного для возвышения над принципом удовольствия, наделяющего определенные стороны душевной жизни чертами злобности, еще очень отчетливо проявляющегося в стремлениях маленького ребенка и частично изученного в ходе психоанализа невротика. В результате всех предшествующих исследований мы подготовлены к выводу: как жуткое будет восприниматься то, что сумеет напомнить об этом внутренне навязанном повторении.

Однако теперь, по моему мнению, самое время оставить эти все же трудно оцениваемые ситуации и отыскать бесспорные случаи жуткого, от анализа которых мы вправе ожидать окончательного решения о ценности нашего предположения.

В «Поликратовом перстне» гость приходит в ужас, потому что замечает, что любое желание друга незамедлительно исполняется, что все его тревоги безотлагательно снимаются судьбой. Этот друг стал для него «жутким». Сам он сообщает, что слишком счастливые должны опасаться зависти богов,

это сообщение кажется нам пока неясным, его смысл мифологически замаскирован. Изберем поэтому другой пример из более простых ситуаций. В истории болезни одного больного с неврозом навязчивости я записал, что однажды этот больной побывал в водолечебнице, которая принесла ему значительное облегчение. Но он был достаточно умен, чтобы приписать этот результат не целительной силе воды, а положению своей комнаты, непосредственно соседствующей с комнаткой одной любезной санитарки. Позднее, вторично приехав в заведение, он снова потребовал ту же комнату, но вынужден был услышать, что она уже занята одним старым господином; свое недовольство он выразил в следующих словах: «За это его еще разобьет паралич». Двумя неделями позже со старым господином на самом деле случился апоплексический удар. Для моего пациента это было «жутким» событием. Впечатление жути было бы еще сильнее, если бы между высказыванием и несчастьем был более короткий промежуток или если бы пациент мог знать о неоднократных очень похожих случаях. Правда, у него были наготове такие подтверждения, но не он один, а все больные неврозом навязчивости, которых я изучал, могли рассказать о себе аналогичное. Они совсем не удивлялись, постоянно встречая лицо, о котором они только что — быть может после долгого перерыва — подумали; они привыкли постоянно утром получать письмо от кого-то из друзей, если накануне вечером заявляли: «О нем уже давно ничего не слышно», а уж случаи несчастья или смерти

происходили редко, не будучи даже чуть-чуть предваренными их мыслями. Они имели обыкновение это обстоятельство выражать утверждением, что они имели «предчувствие», «почти всегда» сбывающееся.

Одна из самых страшных и распространенных форм суеверия — страх перед «дурным глазом», подробно рассмотренный гамбургским окулистом С. Зелигманом. Источники, из которых черпается этот страх, вроде бы никогда не были познаны. Тот, кто владеет чем-то ценным — пусть даже обветшалым, — опасается зависти других людей, так как проецирует на них ту зависть, которую он сам чувствовал бы в подобном случае. Такие побуждения, даже если кто-то решился их открыто проявить перед другими людьми, объясняются с помощью мнения, считающего другого способным достигнуть особой силы зависти, а затем изменить направление ее действия. Следовательно, люди опасаются понести ущерб из-за тайного намерения и в соответствии с определенными признаками предполагают, что такое намерение обладает и силой.

Вышеупомянутый пример жуткого зависит от принципа, который я, по инициативе одного пациента, назвал *всевластием мыслей*. Теперь мы уже не можем ошибиться, на какой почве находимся. Анализ случаев жуткого вернул нас к старому анимистическому миропониманию, которое отличает заполнение мира человекоподобными духами, нарциссическая переоценка собственных душевных процессов, всевластие мыслей и основанная на этом техника магии, придание тщательно иерархизи-

рованных магических сил посторонним людям и вещам (мана), как и всем образам, с помощью которых неограниченный нарциссизм этого периода развития защищается от очевидных возражений реальности. Видимо, все мы в своем индивидуальном развитии пережили фазу, соответствующую этому анимизму первобытных народов, никто из нас не миновал ее, не сохранив способных к проявлению остатков и следов, а все, что нам сегодня кажется «жутким», затрагивает эти остатки анимистической душевной деятельности или побуждает их к проявлению[9] .

Теперь уместны два замечания, в которых я хотел бы изложить основное содержание этого небольшого исследования. Во-первых, если психоаналитическая теория права, что всякий всплеск эмоционального побуждения, безразлично какого рода, путем вытеснения превращается в страх, то среди случаев пугающего нужно выделить группу, в которой можно показать, что это пугающее является, видимо, возвратившимся вытесненным. Как раз этот вид пугающего и был бы жутким, и при этом безразлично, было ли оно пугающим с самого начала или это вызвано другим аффектом. Во-вторых, если это действительно является природой жуткого, то мы понимаем, что словоупотребление превратило слово «скрытое» в свою противоположность — «жуткое», ибо это жуткое в самом деле не является чем-то новым или посторонним, а чем-то издревле привычным для душевной жизни, что было отчуждено от нее только в результате процесса вытеснения. Ссылка на вытесне-

ние разъясняет нам теперь и определение Шеллинга: жуткое — это нечто, что должно было бы оставаться в скрытом виде, но проявилось.

Нам еще остается для объяснения некоторых других случаев жуткого опробовать уже обретенное понимание.

Самым жутким кажется многим людям то, что связано со смертью, покойниками, с возвращением мертвых, с духами и с привидениями. Более того, мы узнали, что некоторые современные языки наше выражение «жуткий дом» могут передать не иначе как с помощью описания «дом, в котором обитает нечистая сила». Собственно, мы могли бы начать наше исследование с этого, быть может, самого яркого примера жути, но мы этого не сделали, потому что в этом случае жуткое слишком перемешано с ужасным, а частично покрывается им. Но едва ли в какой другой области наше мышление и чувствование так мало изменились с первобытных времен, былое так хорошо оставалось в сохранности под тонким покрывалом, как наше отношение к смерти. Два главных фактора сообщают добротные сведения об этом застое: сила наших первобытных эмоциональных реакций и ненадежность нашего научного познания. Современная биология все еще не смогла решить, является ли смерть неизбежной участью всех живых существ или только постоянным, но, быть может, устранимым событием. Хотя тезис: «Все люди должны умереть» — и выдвигается в учебнике логики как образец всеобщего утверждения, но ни одному человеку он не очевиден, а в нашем бессознательном сегодня

так же мало места для представления о собственной смертности, как и прежде. Религии все еще оспаривают факт безусловной предопределенности индивидуальной смерти и продлевают существование человека за пределы жизни; государственные власти думают, что не смогут строго поддерживать нравственный порядок среди живых, если откажутся от исправления земной жизни с помощью лучшей потусторонней жизни; на колоннах для объявлений наших больших городов сообщается о лекциях, готовых дать совет, как можно вступить в связь с душами умерших, и бесспорно, что многие из самых проницательных умов и острых мыслителей, особенно к концу собственной жизни, высказывали мнение, что не исключена вероятность такого общения. Поскольку в этом пункте почти все мы думаем еще как дикари, то не следует удивляться, что первобытный страх перед мертвецом у нас так же силен и готов себя проявить, как только что-нибудь даст ему повод. Правдоподобно, что он тоже сохраняет старый смысл: покойник стал врагом живого и замышляет взять его с собой в качестве спутника в своем новом существовании. Скорее при такой незыблемости установки к смерти можно было бы спросить: где сохраняется условие вытеснения, которое требует, чтобы примитивное смогло вернуться как нечто жуткое. Но все же эта незыблемость тоже преодолима; так называемые образованные люди формально уже не верят в появление умерших в виде душ и связывают это с отдаленными и редко осуществимыми обстоятельствами, а первоначально в высшей степени дву-

смысленная, амбивалентная эмоциональная установка к покойникам для высших слоев душевной жизни смягчилась до однозначного пиетета[10].

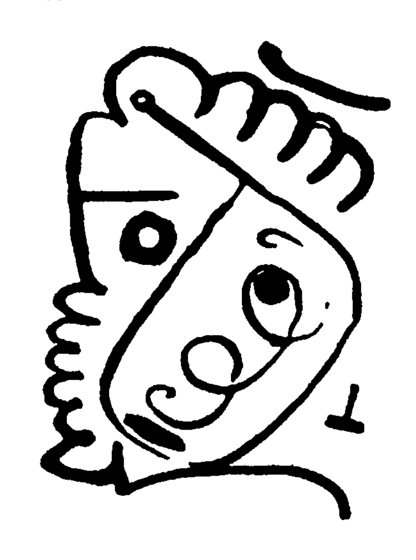
Теперь необходимо привести только несколько дополнений, ибо вместе с анимизмом, магией и колдовством, всевластием мысли, отношением к смерти, неумышленным повторением и комплексом кастрации мы изрядно исчерпали объем факторов, превращающих пугающее в жуткое.

Мы называем жуткими и живых людей, а именно в том случае, когда считаем их способными к злым намерениям. Но этого не достаточно, мы обязаны еще учесть, что эти намерения навредить нам будут осуществляться с помощью особых сил. «Gettstore» (человек с дурным глазом) — хороший пример, это жуткий образ романского суеверия, которого Альбрехт Шеффер в книге «Жозеф Монфор» с художественной интуицией и с глубоким психоаналитическим пониманием преобразовал в симпатичную фигуру. Но вместе с этими скрытыми силами мы снова оказались на почве анимизма. Именно предчувствие таких тайных сил делает Мефистофеля столь жутким для Гретхен: «Она смекнула, что я почти наверняка гений, а может быть, даже дьявол».

Жуть от падучей болезни, сумасшествия — того же происхождения. Здесь дилетант видит перед собой проявление не предполагаемых им в ближнем сил, чье присутствие он может еще смутно ощущать в отдаленных уголках собственной личности. Средневековье последовательно и психологически почти

корректно приписывало все болезни влиянию демонов. Более того, я бы не удивился, услышав, что психоанализ, который занимается обнаружением этих тайных сил, сам стал по этой причине для многих людей жутким. В одном случае, когда мне удалось — хотя и не очень быстро — излечение одной, многие годы болевшей девушки, я услышал это от ее матери.

Оторванные члены, отрубленная голова, отделенная от плеча рука, как в сказках Гауфа, ноги, танцующие сами по себе, как в упомянутой книге А. Шеффера, содержат в себе что-то чрезвычайно жуткое, особенно если им, как в последнем примере, еще придается самостоятельная деятельность. Мы уже знаем, что эта жуть происходит из сближения с комплексом кастрации. Некоторые люди отдали бы пальму первенства в жуткости представлению о погребении самих себя мнимо-умершими. Только психоанализ научил нас, что эта ужасающая фантазия — всего лишь преобразование другой, поначалу вовсе не пугающей, а вызванной определенным жгучим желанием — мечтой о жизни в материнской утробе.

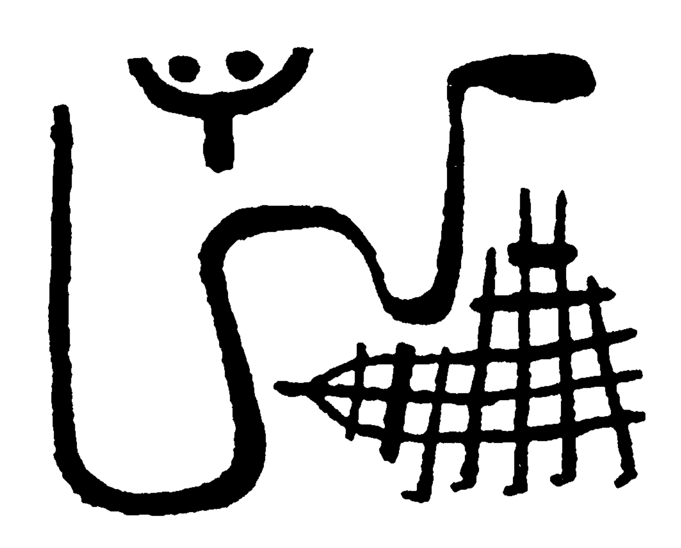


* * *

Прибавим кое-что общеизвестное, что, строго говоря, уже содержалось в наших предыдущих утверждениях об анимизме и о преодоленных способах работы психического аппарата, но все же достойное особого упоминания: дело в том, что часто и легко впечатление жуткого возникает, когда стирается грань между фантазией и действительностью, когда перед нами предстает нечто реальное, что до сих пор мы считали фантастическим, когда символ принимает на себя полностью функцию и значение символизируемого и даже больше того. На этом же основывается добрая часть жуткого, присущего магической практике. Инфантильность, владеющая и душевной жизнью невротика, состоит в чрезмерном подчеркивании психической реальности по сравнению с материальной, черта, смыкающаяся с всевластием мыслей. В разгар военной блокады мне в руки попал номер английского журнала «Стрэнд», в котором среди других довольно ненужных произведений я прочитал рассказ о снятии одной юной парой меблированной квартиры, в которой находился диковинно оформленный стол с вырезанными из дерева крокодилами. Обычно под вечер в квартире иногда распространялось невыносимое характерное зловоние, в темноте о что-то спотыкались, чудилось, что видно, как нечто неопределенное снует по лестнице, короче, скоро выяснялось, что из-за присутствия этого стола в доме водятся призрачные крокодилы, или что в темноте оживают деревянные чудовища, или что-то подобное. Это очень простая история,

но ее наводящее жуть воздействие ощущалось как совершенно исключительное.

В заключение этого конечно же неполного собрания примеров необходимо упомянуть об одном наблюдении из психоаналитической практики, являющимся, если оно не основывается на случайном совпадении, наилучшим подтверждением нашего понимания жуткого. Часто случается, что невротики признаются, что женские гениталии являются для них чем-то жутким. Но это жуткое — дверь в былое отечество детей человеческих, место, в котором каждый некогда и сначала пребывал. «Любовь — это тоска по родине»,— утверждает шутливая фраза, и когда сновидец во сне думает о местности или пейзаже: «Это мне знакомо, тут я однажды уже был», то толкование вправе заменить это гениталиями или телом матери. Значит, и здесь жуткое (unheimlich) — это в прежние времена родное, давно привычное. Приставка «не» (un) в этом слове — опять-таки клеймо вытеснения.





III

Уже во время чтения предыдущих рассуждений у читателя могли возникнуть сомнения, которые теперь, должно быть, накопились и вопиют.

Пусть верно, что жуткое — это скрытое, привычное, претерпевающее вытеснение и вновь из него вернувшееся и что все жуткое соблюдает это условие. Но кажется, что таким выбором материала загадка жуткого не решена. Наш тезис явно не выдерживает обратного толкования. Не все, что напоминает о вытесненных порывах желаний и преодоленных способах мышления индивидуального прошлого и первобытных времен народов, является по этой причине жутким.

И мы не умолчим, что почти к каждому примеру, призванному доказать наш тезис, можно найти аналогичный, ему противоречащий. К примеру, отрубленная рука в сказке Гауфа «История с отрубленной рукой» воздействует, разумеется, жутко, и это мы сводим к комплексу кастрации. Но в повествовании Геродота о сокровище Рампсенита вор, которого царевна хочет задержать за руку, оставляет ей отрубленную руку своего брата, другие люди, вероятно, как и я, полагают, что такой оборот не вызывает впечатления жуткого. Безотлагательное осуществление желания в «Поликратовом перстне» производит на нас, право же, такое же жуткое впечатление, как и на самого царя Египта. Но в нашей сказке кишат немедленно исполняемые желания, а чувство жути при этом не возникает. В сказке о трех желаниях женщина, соблаз-

ненная приятным запахом сосисок, позволяет себе сказать, что она соответственно хотела бы колбасок. Они тотчас оказываются перед ней на тарелке. С досады муж пожелал: «Пусть они повиснут на носу сунувшейся не в свое дело». Немедленно сосиски повисают на ее носу. Это весьма впечатляюще, но ни в малейшей мере не жутко. Вообще сказка стоит совершенно открыто на анимистической точке зрения всевластия мыслей и желаний, а я все же не уверен, называть ли ее сказкой, в которой происходит что-то жуткое. Мы уже знаем, что наиболее жуткое впечатление возникает, когда оживают неодушевленные вещи, изображения, куклы, но в сказках Андерсена оживает домашняя утварь, мебель, оловянный солдатик, и все же нет ничего более далекого от жуткого. Даже оживление прекрасной статуи Пигмалиона едва ли будет воспринято как жуткое.

Кажущуюся смерть и оживление покойников мы уже оценили как очень жуткое впечатление. Но это опять-таки очень распространено в сказках, кто-нибудь рискнет назвать жутким, когда, например, просыпается Снегурочка? И воскресение мертвых в повествованиях о чудесах, например в Новом завете, вызывает чувства, не имеющие ничего общего с жутким. Ненамеренное возвращение одного и того же, безо всякого сомнения вызывающее жуткое впечатление, находится в том же ряду случаев других, хотя и очень различных, впечатлений. Мы уже познакомились со случаем, в котором оно употребляется как средство возбуждения чувства комического, и примеры

такого рода можно умножить. В другом случае оно действует как средство усиления и т. п., далее: отчего возникает жуть от тишины, от одиночества, от темноты? Не объяснить ли эти обстоятельства ролью опасности при возникновении жуткого, хотя эти же обстоятельства, как мы видим у детей, чаще всего вызывают страх? И можем ли мы совершенно пренебречь фактором интеллектуальной неуверенности, поскольку мы ведь признали его значение для жуткого впечатления от смерти?

Таким образом, мы, видимо, должны быть готовы к предположению, что появление чувства жуткого обусловлено и другими, чем представленные нами, материальными условиями. Правда, можно было бы сказать: с того первого установления интерес психоанализа к проблеме жуткого иссяк, остаток, вероятно, требует эстетического исследования. Но тем самым мы как бы дали повод сомнению, на какое же значение вправе, собственно, претендовать наше понимание происхождения жуткого из вытесненного привычного.

Одно наблюдение может указать нам путь к освобождению от этой неуверенности. Почти все примеры, противоречащие нашим предположениям, были заимствованы из литературы. Следовательно, нас подталкивают провести различие между жутким, которое переживают, и жутким, которое всего лишь представляют или о котором читают.

Переживаемое жуткое имеет гораздо более простые предпосылки, но охватывает менее многочисленные случаи. Полагаю, это касается безоговорочно нашей попытки объяснения,

всякий раз допускающей сведение к давно привычному вытеснению. Все-таки и здесь следует проводить важное и психологически значимое разграничение материала, которое мы лучше всего осознаем на соответствующих примерах.

Возьмем жуткое от всевластия мыслей, от безотлагательного исполнения желаний, от скрытых вредоносных сил, от возвращения покойников. Нельзя ошибиться в условии, при котором в этом случае возникает чувство жуткого. Мы — или наши первобытные прародители — некогда считали такие возможности действительностью, были убеждены в реальности этих процессов. Сегодня мы больше не верим в это, мы *преодолели* этот способ мышления, но чувствуем себя не совсем уверенно в этом новом убеждении, в нас еще продолжают жить и ждут подтверждения старые представления. Теперь, как только в нашей жизни встречается что-то, что, казалось бы, подтверждает эти старые, периферийные убеждения, у нас появляется чувство жуткого, к которому можно добавить суждение: итак, все же верно, что можно умертвить другого человека посредством простого желания, что покойники оживают и появляются на месте своих прежних занятий, и т. д.! У того, кто, напротив, основательно и окончательно изжил у себя это анимистическое убеждение, жуткое данного рода отпадает. Самые странные совпадения желания и его исполнения, самые загадочные повторения сходных переживаний в одном и том же месте или в одни и те же числа месяца, самые обманчивые зрительные восприятия и самые подозрительные

шорохи не собьют его с толку, не пробудят в нем страх, который можно назвать страхом перед «жутким». Следовательно, речь здесь только об усилении критерия реальности, о проблемах материальной реальности[11].

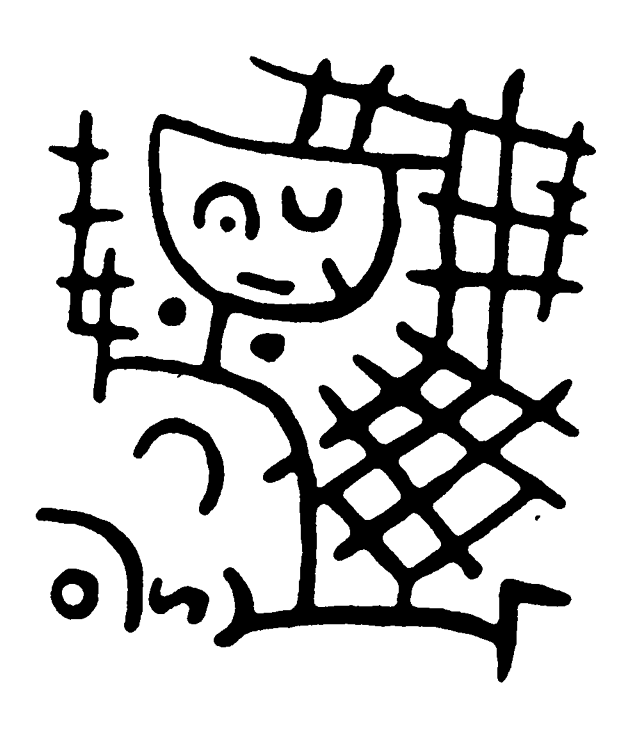
Иначе обстоит дело с жутким, возникшим из вытесненных инфантильных комплексов, из комплекса кастрации, мечты о материнском теле и т. д., возможно только, что реальные события, которые вызывают этот вид жуткого, не слишком часты. Жуткое переживание относится большей частью к предыдущей группе, но для теории очень важно различие обеих. В случае жуткого, исходящего из инфантильных комплексов, вопросы материальной реальности вовсе не принимаются во внимание, ее место занимает психическая реальность. Речь идет о действительном вытеснении некоего содержания и о возврате вытесненного, а не об исчезновении *веры в реальность* этого содержания. Можно было бы сказать: в одном случае вытесняется содержание определенных представлений, в другом — вера в его (материальную) реальность. Но последний способ выражения, вероятно, расширяет употребление термина «вытеснение» за пределы его законных границ. Правильнее будет, если мы учтем ощутимую здесь психологическую разницу и назовем состояние, в котором находятся анимистические убеждения культурных людей, *быть* — более или менее полностью — *преодоленным*. Тогда наш вывод гласит: жуткое переживание имеет место, когда *вытесненный* инфантильный комплекс опять оживляется неким впечатлением

или если опять кажутся подтвержденными *преодоленные* примитивные убеждения. Наконец, из-за пристрастия к точному выводу и к ясному изложению не следует отклонять признание, что оба представленных здесь вида жуткого в переживании не всегда можно твердо разделить. Если принять во внимание, что примитивные убеждения связаны самым тесным образом с инфантильными комплексами, и, собственно, коренятся в них, то это стирание границ не очень удивит.

Жуткое вымысла — мечтаний, поэзии — в самом деле заслуживает особого рассмотрения. Прежде всего оно гораздо шире, чем переживания жуткого, оно объемлет всю его совокупность и, кроме того, другое, что не допускает условия переживания. Противоположность между вытесненным и преодоленным не может быть не перенесена на жуткое в поэзии без глубоких видоизменений, ибо царство фантазии безусловно имеет предпосылкой своего действия то, что его содержание освободилось от критерия реальности. Парадоксально звучащий вывод таков: *в поэзии не является жутким многое из того, что было бы жутким, если бы случилось в жизни, и что в поэзии существует много возможностей достигнуть впечатления жути, недоступных в жизни.*

Ко многим вольностям поэта относится и свобода выбирать по своему усмотрению описываемый мир так, чтобы он совпадал с привычной нам реальностью или как-то от него отдалялся. В любом случае мы следуем за ним. К примеру, мир сказки с самого начала покидает почву реальности и открыто скло-

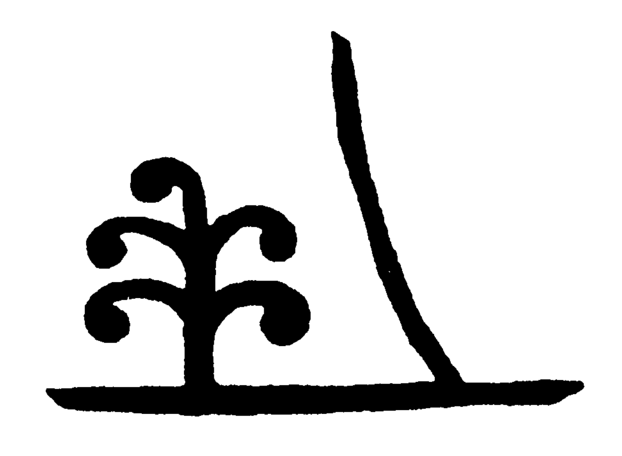
няется к принятию анимистических убеждений. Исполнение желаний, тайные силы, всевластие мыслей, оживление неживого — весьма обычное дело для сказки — может здесь не вызывать впечатление жуткого, так как для возникновения чувства жуткого необходимо — как мы уже говорили — столкновение мнений: может ли все-таки быть реальным преодоленное невероятное или нет, вопрос, который вообще устранен предпосылками сказочного мира. Таким образом, сказка реализует то, что предлагало нам большинство примеров, противоречащих нашему решению о жутком — упомянутый первый случай: в царстве воображения не является жутким многое, что должно было вызывать впечатление жуткого, если бы случилось в жизни. Кроме того, к сказке относятся и другие факторы, которые позже будут коротко затронуты.



Видимо, и поэт создает себе мир, который — менее фантастичный, чем сказочный мир,— все же отличается от реального из-за допущения более высоких духовных существ, демонов или бродячих, как привидения, покойников. Все жуткое, что могло быть присуще этим образам, отпадает в той мере, насколько простираются предпосылки этой поэтической реальности. Души преисподней Данте или появление духов в «Гамлете», «Макбете», «Юлии Цезаре» Шекспира должны быть достаточно мрачными и устрашающими, но они, по существу, так же мало жутки, как, скажем, мир веселых богов Гомера. Мы приспосабливаем наше мнение к условиям этой вымышленной поэтом реальности и рассматриваем души, духов и привидения, как если бы они обладали полноценным существованием, подобно нашему собственному существованию в материальной реальности. Это также случай, в котором исчезает жуткое.

Иначе обстоит дело тогда, когда поэт поставил себя, видимо, на почву привычной реальности. Тогда он принимает и все условия, которые действуют в переживании при возникновении чувства жуткого, а все, что в жизни воздействует как жуткое, действует точно так как в поэзии. Но и в этом поэт способен увеличить и умножить жуткое, далеко выходя за пределы меры, возможностей в переживании, допуская совершение таких событий, которые или вообще не наблюдаются в действительности, или наблюдаются очень редко. Тут он показывает нам наши считающиеся преодоленными суеверия;

он обманывает нас, суля привычную реальность. Мы реагируем на вымыслы так, как реагировали бы на происшествие с нами самими: когда мы замечаем обман, уже слишком поздно, поэт успел достичь своего намерения, но я вынужден утверждать: он не добился чистого впечатления. У нас остается чувство неудовлетворенности, разновидность неприязни из-за пережитого обмана, который я особенно ощутил после чтения рассказа Шницлера «Предсказания» и от подобных заигрывающих с чудесами произведений. Поэт имел в распоряжении средство, с помощью которого мог уклониться от нашего возмущения и одновременно улучшить условия для достижения своих намерений. Это средство заключается в том, что он долго не позволял нам догадаться, какие предположения он, собственно, избрал для вымышленного им мира, или искусно и хитро уклонялся до самого конца от такого решающего объяснения. Но в целом здесь налицо ранее объявленный случай: воображение создает новые возможности чувства жуткого, которое вылилось бы в переживание.



Все это разнообразие относится, строго говоря, только к жуткому, возникающему из преодоленного. Жуткое из вытесненных комплексов более устойчиво, оно сохраняется в вымысле — независимо от условий — таким же жутким, как и в переживании. Другое жуткое, жуткое от преодоленного, проявляет этот характер в переживании и в вымысле, стоящем на почве материальной действительности, но может терять его в вымышленной, созданной поэтом действительности.

Общеизвестно, что вольности поэта, а тем самым и преимущества вымысла в возбуждении или сдерживании чувства жуткого не исчерпываются вышеприведенными замечаниями. К переживанию мы относимся в общем-то пассивно и подчиняем воздействию вещественного. Но с поэтом мы особым образом сговорчивы; благодаря настроению, в которое он погружает нас, с помощью ожиданий, которые в нас пробуждает, он способен отвлечь наш эмоциональный процесс от одного результата и настроить на другой, а на основе одного и того же материала способен достичь зачастую очень разнообразных впечатлений. Это все уже давно известно и, вероятно, было обсуждено профессиональными эстетиками. В эту область нас завели не наши исследования, а попытка объяснить противоречия некоторых приведенных ранее примеров нашему объяснению жуткого. К отдельным из этих примеров по этой причине мы хотим вернуться.

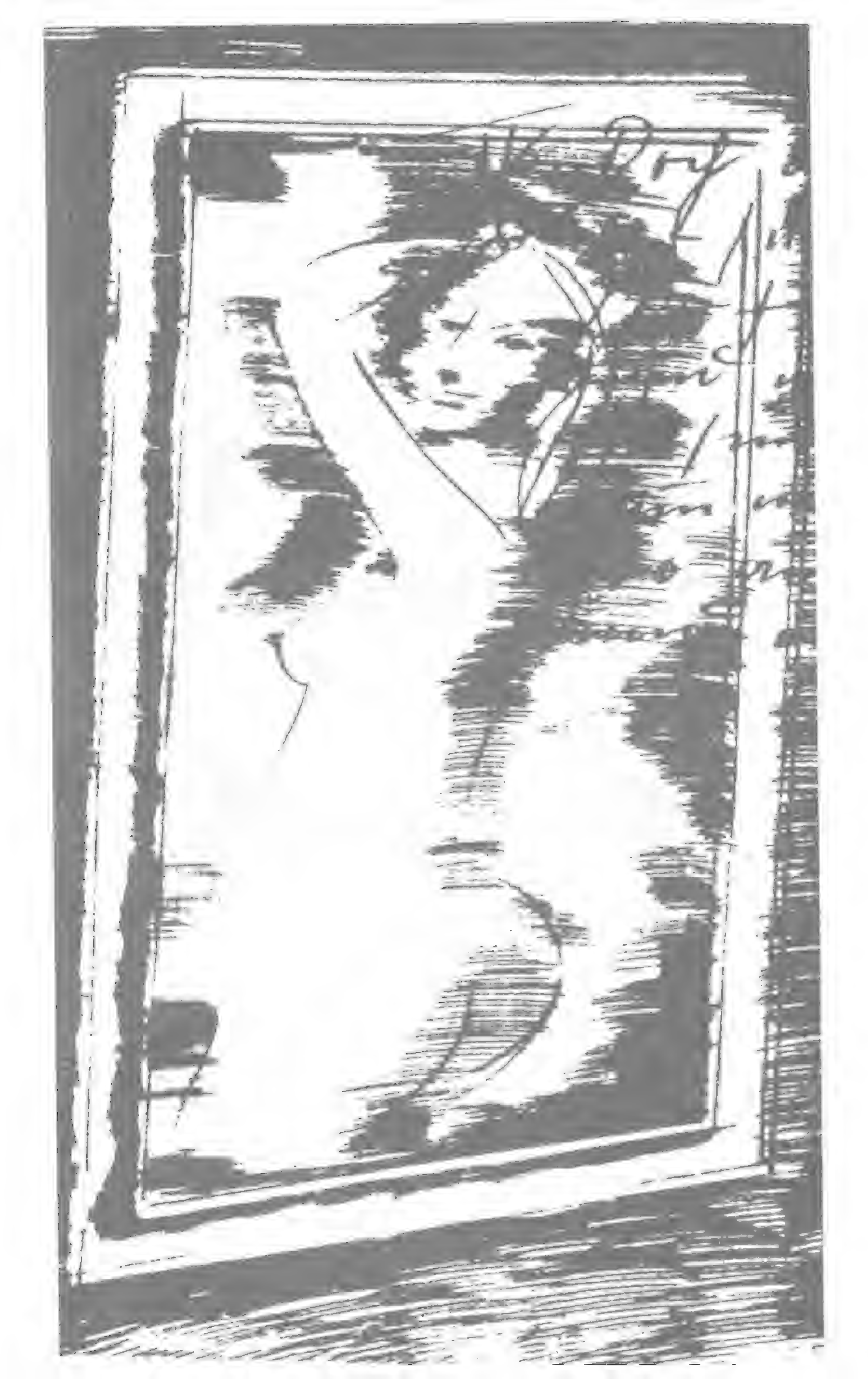
Ранее мы спрашивали, почему отрубленная рука в «Сокровище Рампсенита» не производит жуткого впечатления,

как, скажем, в «Истории об отрубленной руке» Гауфа. Теперь вопрос нам кажется более важным, так как мы осознали большую устойчивость жуткого из источников вытесненного комплекса. Можно легко найти ответ. Он гласит: в этом рассказе мы сосредоточены не на чувствах царевны, а на великолепной изворотливости «ворюги». Видимо, при этом царевна не может обойтись без чувства жуткого; мы даже сочтем достоверным, что она упала в обморок, но не чувствуем никакой жути, так как поставили себя не на ее место, а на место другого человека. Благодаря иному стечению обстоятельств мы обходимся без жуткого впечатления в фарсе Нестроя «Растерзанный», когда человек, схвативший убийцу, видит, как из западной двери, с которой он снял покрывало, поднимается предполагаемый призрак убитого и отчаянно кричит: «Я ведь убил только одного!». Для чего это чудовищное удвоение? Мы знаем предварительные обстоятельства этой сцены, не разделяем ошибку «растерзанного», и поэтому то, что для него безусловно является жутким, на нас действует неотразимо комично. Даже «настоящий» *призрак*, подобный «Кентервильскому привидению» в рассказе О. Уайльда, должен лишиться всех своих притязаний, по крайней мере претензии возбуждать ужас, когда автор позволяет себе шутить, иронизировать и подтрунивать над ним. Итак, в мире вымысла эмоциональное впечатление может быть независимым от выбора материала. В мире сказки чувство страха, а следовательно, и жуткое чувство вообще не должно возникать. Мы понимаем это и по-

этому даже не замечаем поводов, при которых было бы возможно что-то подобное.

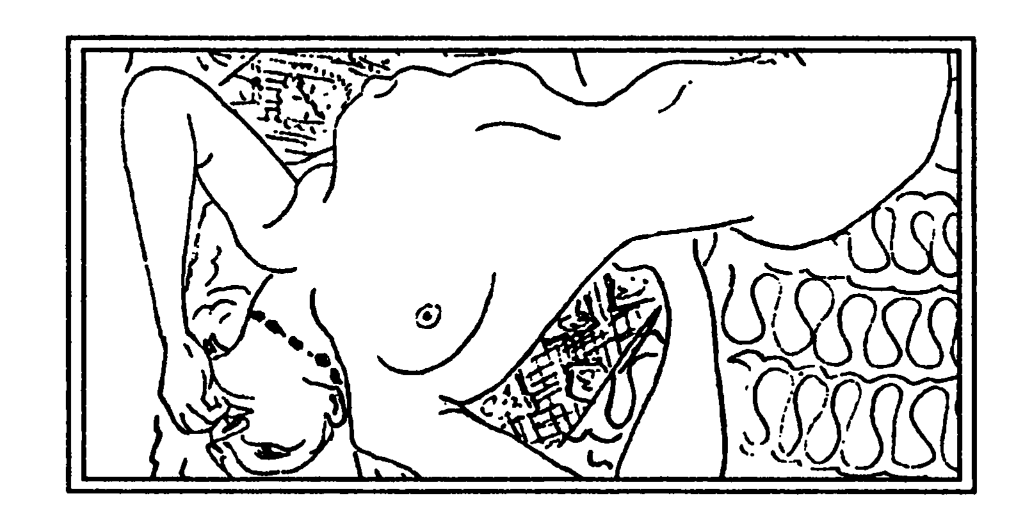
Об одиночестве, безмолвии и темноте мы не в состоянии сказать ничего, кроме того, что это на самом деле факторы, с которыми у большинства людей связан никогда полностью не угасающий детский страх. Психоаналитическое исследование имело дело с проблемой последнего в другом месте.

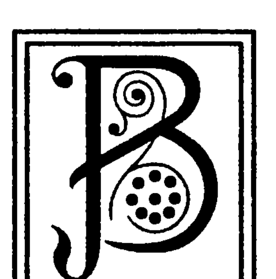






ЖЕНСТВЕННОСТЬ



се это время, пока я готовился к беседам с вами, я боролся с внутренним затруднением. Я чувствовал себя в некоторой степени неуверенным в своей правоте. Действительно, за пятнадцать лет психоанализ изменился и обогатился, но все-таки введение в психоанализ могло бы остаться без изменений и дополнений. Мне все время кажется, что данные лекции не имеют права на существование. Аналитикам я говорю слишком мало и в общем ничего нового, вам же слишком много и о таких вещах, к пониманию которых вы не подготовлены и которые непосредственно к вам не относятся. Я искал оправданий и для каждой отдельной лекции хотел найти свое обоснование. Первая, о теории сновидений, должна была сразу погрузить вас в самую гущу аналитической атмосферы и показать, какими устойчивыми оказались наши воззрения. Во второй, которая прослеживает пути от сновидения к так называемому оккультизму, меня привлекла возможность свободно высказаться в той области, где убеждения, полные предрассудков, наталкиваются сегодня на страстное сопротивление, и я смел надеяться, что вы, воспитанные на примере психоанализа в духе терпимости, не откажетесь сопровождать

меня в этом экскурсе. В лекции о разделении личности были выдвинуты, безусловно, самые резкие для вас (настолько своеобразно их содержание) предположения, но я счел невозможным скрыть от вас этот первый подход к психологии *Я*, и, если бы мы имели его пятнадцать лет назад, я должен был бы уже тогда упомянуть о нем. И, наконец, в последней лекции, на которой вы, вероятно, следили за мной с большим трудом, были внесены необходимые поправки, сделана попытка дать новые решения самых важных загадок, и мое введение было бы введением в заблуждения, если бы я умолчал об этом. Как видите, если предпринимаешь попытку извиниться за что-то, это сводится в конце концов к признанию того, что все было бы неизбежно, все предопределено. Я покоряюсь, прошу и вас сделать то же самое. Сегодняшняя лекция тоже могла бы не включаться во введение, но она даст вам пример подробной аналитической работы, и я рекомендую ее в двух отношениях. В ней нет ничего, кроме наблюдений фактов почти без всяких умозаключений, но ее тема может заинтересовать вас как никакая другая. Над загадкой женственности много мудрило голов всех времен:

Голов в колпаках с иероглифами,
Голов в чалмах и черных с перьями шапках,
Голов в париках и тысячи тысяч других
Голов человеческих, жалких, бессильных*...

---

* *Г. Гейне.* Северное море. (Перевод М. Михайлова).

Вам тоже не чужды эти размышления, поскольку вы мужчины; от женщин же, присутствующих среди вас, этого ждать не приходится, они сами являются этой загадкой. Мужчина или женщина — вот первое, что вы различаете, встречаясь с другим человеческим существом, и привычно делаете это с уверенностью и без раздумий. Анатомическая наука разделяет вашу уверенность лишь в одном пункте. Мужское — это мужской половой продукт, сперматозоид и его носитель, женское — яйцо и организм, который заключает его в себе. У обоих полов образовались органы, служащие исключительно половым функциям, развившиеся, вероятно, из одного и того же *праоргана* в две различные формы. Кроме того, у тех и других прочные органы, форма тела и ткани обнаруживают влияние пола, но оно непостоянно и его масштаб изменчив, это так называемые вторичные половые признаки. А далее наука говорит вам нечто, что противоречит нашим ожиданиям и что, вероятно, способно смутить ваши чувства. Она обращает ваше внимание на то, что и в теле женщины присутствуют части мужского полового аппарата, хотя и в рудиментарном состоянии, и то же самое имеет место в обратном случае. Она видит в этом явлении признак двуполости, бисексуальности, как будто индивидуум является не мужчиной или женщиной, а всякий раз и тем и другим, только одним в большей степени, а другим в меньшей.

Затем вам придется освоиться с мыслью, что соотношение мужского и женского, сочетающегося в отдельном индивидууме,

подвержено весьма значительным колебаниям. Но поскольку, несмотря на весьма редкие случаи, у каждого индивидуума наличествуют либо те, либо другие половые продукты — яйцеклетки или сперматозоиды,— вы, должно быть, усомнитесь в решающем значении этих элементов и сделаете вывод, что то, из чего составляется мужественность или женственность, неизвестного характера, который анатомия не может распознать.

Может быть, это сумеет сделать психология? Мы привыкли рассматривать мужское и женское и как психические качества, перенося понятие бисексуальности также и в душевную жизнь. Таким образом, мы говорим, что человек, будучи самцом или самкой, в одном случае ведет себя по-мужски, а в другом — по-женски. Но вы скоро поймете, что это лишь уступка анатомии и условностям. Вы не сможете дать понятиям «мужское» и «женское» никакого нового содержания. Это не психологическое различие, когда вы говорите, что мужское, как правило, предполагает «активное», а женское — «пассивное». Правильно, такая связь действительно существует. Мужская половая клетка активно движется, отыскивает женскую, а последняя, яйцо, неподвижно, пассивно ждет. Это поведение элементарных половых организмов — образец поведения половых партнеров в половых сношениях. Самец преследует самку с целью совокупления, нападает на нее, проникает в нее. Но именно психологически вы, таким образом, свели особенности мужского к фактору агрессии. Вы будете

сомневаться, удалось ли вам тем самым уловить что-то существенное, если примете во внимание то, что в некоторых классах животных самки являются более сильными и агрессивными, самцы же активны только при акте совокупления. Так происходит, например, у пауков, и функции высиживания и выращивания потомства, кажущиеся нам такими исключительно женскими, у животных не всегда связаны с женским полом. У весьма высокоразвитых видов мы наблюдаем участие обоих полов в уходе за потомством или даже то, что самец один посвящает себя этой задаче, да и в области сексуальной жизни человека нетрудно заметить, насколько недостаточно характеризовать мужское поведение активностью, а женское пассивностью. Мать в любом смысле активна по отношению к ребенку, даже об акте сосания вы можете с одинаковым успехом сказать: она кормит ребенка грудью или она дает ребенку сосать свою грудь. Чем далее затем вы выйдете за границы узкой области сексуального, тем яснее проявится «ошибка наложения». Женщины в состоянии развивать большую активность в разных направлениях, мужчины не могут жить вместе с себе подобными, если у них не развита в высокой степени пассивная уступчивость. Если вы теперь скажете, что эти факты как раз доказывают, что мужчины, как и женщины, в психологическом смысле бисексуальны, то отсюда я сделаю вывод, что про себя вы решили признать соответствие «активного» — «мужскому», а «пассивного» — «женскому». Но делать этого я вам не советую. Мне кажется это нецеле-

сообразным и не дающим ничего нового в познавательном отношении.

Можно было бы попытаться охарактеризовать женственность психологически как предпочтение пассивных целей. Это, конечно, не то же самое, что пассивность; для того чтобы осуществить пассивную цель, может понадобиться большая затрата активности. Возможно, дело обстоит таким образом, что у женщины при выполнении ее сексуальной функции преобладание пассивного поведения и пассивных целеустремлений частично распространяется несколько дальше в жизнь, более или менее далеко, в зависимости от того, насколько границы сексуальной жизни сужены или расширены. Но при этом мы должны обратить внимание на недопустимость недооценки влияния социальных устоев, которые как бы загоняют женщину в ситуацию пассивности. Все это еще не совсем ясно. Однако не будем забывать об особенно прочной связи между женственностью и половой жизнью. Предписанное женщине конституционально и налагаемое на нее социально подавление своей агрессии способствует образованию сильных мазохистских побуждений, которым все-таки удается эротически подавить направленные внутрь разрушительные тенденции. Итак, мазохизм, что называется, поистине женское извращение. Но если вы встретите мазохизм у мужчин, что бывает довольно часто, то что же остается сказать, кроме того, что этим мужчинам свойственны весьма отчетливые женские черты?

Вот вы уже и подготовлены к тому, что и психология не решит тайны женственности. Разъяснение этого вопроса должно прийти, видимо, из какого-то другого источника, и оно не придет до тех пор, пока мы не узнаем, как вообще возникло деление живых существ на два пола. Мы ничего не знаем об этом, а ведь двуполость является таким отчетливым признаком органической жизни, которым она столь резко отличается от неживой природы. А между тем человеческие индивидуумы, которые благодаря наличию женских половых органов характеризуются как явно или преимущественно женские, дают немало материала для исследования. В соответствии со своей спецификой психоанализ не намерен описывать, что такое женщина — это было бы для него едва ли разрешимой задачей,— а он исследует, как она ею становится, как развивается женщина из предрасположенного к бисексуальности ребенка. За последнее время мы кое-что узнали об этом благодаря тому обстоятельству, что несколько замечательных женщин — наших коллег по психоанализу — начали разрабатывать эту проблему. Дискуссия об этом приобрела особую привлекательность из-за различия полов, потому что каждый раз, когда сравнение оказывалось как будто бы не в пользу их пола, наши дамы подозревали нас, аналитиков-мужчин, в том, что мы, не преодолев определенных, глубоко укоренившихся предубеждений против женственности, были пристрастны в своих исследованиях. На почве бисексуальности нам, напротив, было легко избежать любой невежливости.

Нужно было только сказать: это к вам не относится. Вы — исключение, на этот раз в вас больше мужского, чем женского.

В своих исследованиях развития женской сексуальности мы тоже опираемся на два предположения: первое заключается в том, что и здесь конституция не без сопротивления подчиняется функции. Второе гласит, что решающие перемены подготавливаются или совершаются уже до наступления половой зрелости. Оба предположения нетрудно подтвердить. Затем сравнение с развитием мальчика говорит нам, что превращение маленькой девочки в нормальную женщину происходит труднее и сложнее, поскольку оно включает в себя на две задачи больше и этим задачам нет соответствия в развитии мужчины. Проследим эту параллель с самого начала. Конечно, сама материальная база у мальчика и у девочки различна; чтобы это установить, не нужно никакого психоанализа. Различие в формировании половых органов сопровождается другими физическими отличиями, которые слишком хорошо известны, чтобы о них говорить. В структуре склонностей тоже проявляются дифференциации, которые позволяют почувствовать будущую сущность женщины. Маленькая девочка, как правило, менее агрессивна, упряма и эгоцентрична. В ней, по-видимому, больше потребности в нежности, поэтому она более зависима и послушна. То, что ее легче и быстрее можно научить управлять своими экскреторными функциями, вероятно, есть лишь следствие этой послушности; моча и стул являются первыми подарками, которые

ребенок делает ухаживающим за ним лицам, а управление ими — первой уступкой, на которую вынужденно идет инстинктивная жизнь ребенка. Создается впечатление, что маленькая девочка интеллигентнее, живее мальчика тех же лет, она больше идет навстречу внешнему миру, в то же время у нее более сильная привязанность к объектам. Не знаю, подтверждается ли это опережение развития точными данными, во всяком случае установлено, что девочку нельзя назвать интеллектуально отсталой. Но эти половые различия можно не принимать во внимание, они могут быть уравновешены индивидуальными вариациями. Для целей, которые мы в настоящий момент преследуем, ими можно пренебречь.

Ранние фазы развития либидо оба пола проходят, по-видимому, одинаково. Можно было бы ожидать, что у девочек уже в садистско-анальной фазе проявляется отставание в агрессии, но это не так. Анализ детской игры показал нашим женщинам-аналитикам, что агрессивные импульсы у маленьких девочек по разнообразию и интенсивности развиты как нельзя лучше. Со вступлением в фаллическую фазу различия полов полностью отступают на задний план, и мы должны признать, что маленькая девочка — это как бы маленький мужчина. У мальчиков эта фаза, как известно, характеризуется тем, что он умеет доставлять себе наслаждение с помощью своего маленького пениса, связывая его возбужденное состояние со своими представлениями о половых сношениях. То же самое делает девочка со своим еще более маленьким клитором. Кажется,

что все онанистические акты происходят у нее с этим эквивалентом пениса, а собственно женское влагалище остается еще неоткрытым для обоих полов. Правда, есть отдельные свидетельства о ранних вагинальных ощущениях, но их трудно отличить от анальных или от ощущений преддверия влагалища; они ни в каком отношении не могут играть большой роли. Мы смеем настаивать на том, что в фаллической фазе девочки ведущей эрогенной зоной является клитор. Но ведь так не может быть всегда, с переходом к женственности клитор совсем или частично уступает влагалищу свою чувствительность, а следовательно, и значение. И это одна из двух проблем, которые предстоит решать женскому развитию, в то время как более счастливый мужчина ко времени половой зрелости должен только продолжать то, чему он предварительно научился в период раннего сексуального созревания.

Мы еще вернемся к роли клитора, обратимся теперь ко второй проблеме, которая стоит перед развитием девочки. Первым объектом любви мальчика является мать, она остается им также и при формировании Эдипова комплекса, по сути на протяжении всей жизни. И для девочки мать, а вместе с ней и образы кормилицы, няни тоже являются первым объектом; ведь первые привязанности к объектам связаны с удовлетворением важных и простых жизненных потребностей, а условия ухода за ребенком для обоих полов одинаковы. Но в ситуации Эдипова комплекса объектом любви для девочки становится отец, и мы вправе ожидать, что при нормальном

ходе развития она найдет путь от объекта-отца к окончательному выбору объекта. Итак, девочка с течением времени должна понять эрогенную зону и объект, у мальчика то и другое сохраняется. Возникает вопрос, как это происходит; в частности, как девочка переходит от матери к привязанности к отцу, или, другими словами, из своей мужской фазы в биологически определенную ей женскую?

Решение было бы идеально простым, если бы мы могли предположить, что с определенного возраста вступает в силу элементарное влияние притяжения друг к другу противоположных полов, которое и влечет маленькую женщину к мужчине, в то время как тот же закон позволяет мальчику упорно держаться матери. Можно было бы еще прибавить, что при этом дети следуют намекам, которые подают им родители, предпочитая их в зависимости от пола. Но дело далеко не так просто, ведь мы едва знаем, можем ли мы всерьез верить в ту таинственную, аналитически далее не разложимую силу, о которой так часто грезят поэты. Из трудоемких исследований, для которых, по крайней мере, легко было получить материал, мы почерпнули сведения совсем иного рода. А именно: вы должны знать, что число женщин, которые долго остаются в нежной зависимости от объекта-отца, к тому же от реального отца, очень велико. Такие женщины с интенсивной и затянувшейся привязанностью к отцу предоставили нам возможность сделать поразительные открытия. Мы, конечно, знали, что была предварительная стадия привязанности к матери,

но мы не знали, что она могла быть так содержательна, так длительна и могла дать так много поводов для фиксаций и предрасположений. В это время отец — только обременительный соперник; в некоторых случаях привязанность к матери затягивается до четвертого года. Все, что мы позднее находим в отношении к отцу, уже было в ней и после того было перенесено на отца. Короче, мы убеждаемся, что нельзя понять женщину, не отдав должное этой фазе доэдиповой привязанности к матери.

А теперь зададимся вопросом, каковы либидозные отношения девочки к матери. Ответ гласит: они очень разнообразны. Проходя через все три фазы детской сексуальности, они принимают при этом признаки отдельных фаз, выражаются оральными, садистско-анальными и фаллическими желаниями. Эти желания представляют как активные, так и пассивные побуждения; если их отнести к проявляющейся позднее дифференциации полов, чего по возможности следует избегать, то их можно назвать мужскими и женскими. Они, кроме того, полностью амбивалентны, столь же нежной, сколько и враждебно-агрессивной природы. Последние часто проявляются, лишь превратившись в страхи. Не всегда легко сформулировать эти ранние сексуальные желания, отчетливее всего выражается желание сделать матери ребенка и соответствующее ему желание родить ей ребенка, оба относятся к фаллическому периоду, они достаточно странны, но несомненно установлены аналитическим наблюдением. Привлекательность этих ис-



следований — в ошеломляющих отдельных находках, которые они нам дают. Так, например, уже в этот доэдипов период можно обнаружить относящийся к матери страх быть убитой или отравленной, который впоследствии может образовать ядро заболеваний паранойей. Или другой случай: вы помните интересный эпизод из истории аналитических исследований, который доставил много неприятных минут? В то время, когда основной интерес был направлен на раскрытие детских сексуальных травм, почти все мои пациентки рассказывали мне, что они были совращены отцом. В конце концов я должен был прийти к выводу, что эти признания не соответствуют действительности, и начал понимать, что истерические симптомы есть плод фантазий, а не реальных событий. Только позднее я смог распознать в этой фантазии о совращении отцом выражение типичного Эдипова комплекса у женщины. А теперь мы снова находим в доэдиповой предыстории девочек фантазию совращения, однако совратительницей, как правило, бывает мать. Но здесь фантазия уже спускается на реальную почву, потому что действительно мать, ухаживая за телом ребенка, вызывает у него в гениталиях ощущения удовольствия, возможно, даже впервые их пробуждая.





Я предполагаю, что вы готовы подозревать, будто это описание полноты и силы сексуальных отношений маленькой девочки к своей матери очень преувеличено. Ведь когда наблюдаешь за маленькими девочками, ничего подобного за ними не замечаешь. Но этот довод не годится: можно достаточно многое увидеть в детях, если уметь наблюдать, а кроме того, не забывайте, как мало из своих сексуальных желаний ребенок может предсознательно выразить или тем более сообщить. И тогда мы пользуемся нашим правом изучения остатков и последствий этого мира чувств у лиц, у которых данные процессы развития стали особенно отчетливыми или даже чрезмерными. Ведь патология благодаря изоляции и преувеличению всегда оказывала нам услугу в познании отношений, которые в норме остаются скрытыми. А так как наши исследования никогда не проводились на людях, страдающих тяжелыми отклонениями, то я полагаю, что мы можем считать полученные результаты достоверными.

А теперь сосредоточим свое внимание на следующем вопросе: отчего умирает эта сильная привязанность девочки к матери? Мы знаем, что это ее обычная судьба; она предназначена для того, чтобы уступить место привязанности к отцу. И вот мы сталкиваемся с фактом, который указывает нам дальнейший путь. Этот шаг в развитии свидетельствует не о простой смене объекта. Отход от матери происходит под знаком враждебности, связь с матерью выливается в ненависть. Такая ненависть может стать очень ярко выраженной и сохраниться

на всю жизнь, позднее она может подвергнуться тщательной сверхкомпенсации, как правило, какая-то ее часть преодолевается, другая остается. Конечно, сильное влияние оказывают на нее события последующих лет. Но мы ограничимся изучением ее во время перехода к отцу и выяснением ее мотивов. Мы услышим длинный перечень весьма различного свойства обвинений и жалоб в адрес матери, призванных оправдать враждебные чувства ребенка, значение которых нельзя недооценивать. Некоторые из них — явные рационализации, действительные источники враждебности предстоит еще отыскать. Надеюсь, вы последуете за мной, когда на этот раз я проведу вас через все детали психоаналитического исследования.

Упрек в адрес матери, к которому больше всего прибегают, заключается в том, что она слишком мало отдавала ребенку молока, что должно свидетельствовать о недостатке любви. Этот упрек имеет в наших семьях определенное оправдание. У матерей часто не бывает достаточно питания для ребенка, и они ограничиваются тем, что кормят грудью несколько месяцев, полгода или три четверти года. У примитивных народов детей кормят материнской грудью до двух и трех лет. Образ кормилицы, как правило, сливается с матерью; там, где этого не происходит, упрек превращается в другой, а именно, что она слишком рано отослала кормилицу, которая так охотно кормила ребенка. Но как бы там ни было, не может быть, чтобы каждый раз упрек ребенка имел под собой почву. Скорее кажется, что жадность ребенка к своему первому пи-

танию вообще неутолима, что он никогда так и не примирится с утратой материнской груди. Я бы нисколько не удивился, если бы анализ ребенка, принадлежащего примитивному народу, который сосет материнскую грудь, даже научившись бегать и говорить, выявил бы тот же упрек. С отнятием от груди связан, вероятно, и страх перед отравлением. Яд — это пища, которая делает кого-то больным. Может быть, что и свои ранние заболевания ребенок сводит к этому отказу. Чтобы поверить в случай, надо иметь определенное интеллектуальное воспитание; примитивные, необразованные люди и, конечно, ребенок умеют всему, что происходит, найти причину. Возможно, что первоначально это был мотив в духе анимизма. В некоторых слоях нашего населения еще сегодня нельзя умереть без того, чтобы не сказали, что умершего кто-то погубил, скорее всего доктор. А обычной невротической реакцией на смерть близкого является самообвинение в том, что ты сам являешься причиной его смерти.

Следующее обвинение в адрес матери возникает, когда в детской появляется еще один ребенок. Возможно, оно фиксирует связь с вынужденным оральным отказом. Мать не могла или не хотела давать ребенку больше молока, потому что оно нужно для вновь появившегося. В случае, когда дети рождаются следом друг за другом, так что кормление грудью нарушается второй беременностью, этот упрек получает реальное обоснование, и примечательно, что ребенок даже с разницей в возрасте всего лишь в 11 месяцев не слишком мал, чтобы

не понять положение вещей. Но ребенок чувствует себя ущемленным перед лицом нежелательного пришельца и соперника не только в кормлении молоком, но также и во всех других свидетельствах материнской заботливости. Он чувствует себя низвергнутым, ограбленным, обделенным в своих правах, на почве ревности ненавидит маленького брата или сестру и направляет на неверную мать свою злобу, которая очень часто выражается в неприятном изменении его поведения. Он становится «плохим», раздражительным, непослушным, отказываясь от приобретенных навыков в умении управлять своими экскреторными функциями. Это все давно известно и принимается как само собой разумеющееся, но мы редко имеем правильное представление о силе этих ревнивых чувств, об устойчивости, с которой они продолжают сохраняться, а также о величине их влияния на последующее развитие. Тем более что эта ревность в последующие детские годы питается новыми источниками, и все это потрясение усиливается с рождением каждого нового брата или сестры. Немногое меняется от того, что ребенок остается любимцем матери; притязания любви ребенка безмерны, они требуют исключительности и не допускают никакого разделения.

О значительном источнике враждебности ребенка к матери свидетельствуют его многообразные меняющиеся в зависимости от фазы либидо сексуальные желания, которые в большинстве своем не могут быть удовлетворены. Самый существенный вынужденный отказ имеет место в фаллической фазе, когда

мать запрещает — нередко сопровождая это суровыми угрозами и всеми знаками неудовольствия — вызывающие наслаждение манипуляции с гениталиями, к которым она, правда, сама его подвела. Следовало бы предположить, что мотивов для обоснования отхода девочки от матери достаточно. Тогда пришлось бы высказать суждение, что эта двойственность неизбежно следует из природы детской сексуальности, из чрезмерности притязаний любви и невыполнимости сексуальных желаний. Кто-нибудь, может быть, даже подумает, что это первое любовное отношение ребенка обречено на неудачу именно потому, что оно первое, потому что эта ранняя привязанность к объекту, как правило, в высокой степени амбивалентна: наряду с сильной любовью всегда имеется сильная склонность к агрессии, и чем более страстно ребенок любит объект, тем восприимчивее он к разочарованиям и отказам со стороны объекта. В конце концов любовь не в состоянии противостоять накопившейся враждебности. Или же такую первоначальную амбивалентность чувственных привязанностей можно отклонить и указать на то, что отношение мать — ребенок имеет особую природу, которая с такой же неизбежностью ведет к разрушению детской любви, потому что даже самое мягкое воспитание не может обойтись без принуждения к ограничениям, а каждое такое вмешательство в его свободу вызывает у ребенка как реакцию склонность к сопротивлению и агрессии.

Я думаю, что дискуссия об этих возможностях могла бы стать очень интересной, но вот неожиданно возникает возражение, которое дает нашему интересу другое направление. Ведь все эти факторы: обиды, разочарования в любви, ревность, соблазн с последующим запретом — действительны также для отношения мальчика к матери, однако они не в состоянии вызвать у него отчуждения к объекту-матери. Если мы не найдем чего-то, что является специфичным для девочки, отсутствует у мальчика или происходит у него иначе, то мы не сможем объяснить судьбы связи с матерью у девочки.

Я думаю, что мы нашли этот специфический фактор: он находится в комплексе кастрации. Ведь анатомическое (половое) различие должно сказываться и на психических последствиях. Но весьма неожиданно было узнать в результате анализа то, что девочка считает мать ответственной за отсутствие пениса и не может простить ей этой своей обделенности.

Да-да, мы и женщине приписываем комплекс кастрации и с полным основанием, хотя он не может иметь то же содержание, что и у мальчика. У него комплекс кастрации возникает после того, как, увидев женские гениталии, он узнал, что столь высоко ценимый им член не обязательно должен быть вместе с телом. Затем он вспоминает угрозы, которым он подвергался, занимаясь своим пенисом, начинает им верить и попадает с этих пор под влияние страха кастрации, который становится самой мощной движущей силой его дальнейшего развития. Комплекс кастрации у девочки тоже возникает



благодаря тому, что она видит гениталии другого. Она сразу же замечает различие и, надо признаться, его значение. Она чувствует себя глубоко обделенной, часто дает понять, что ей тоже хотелось бы иметь такое же, в ней появляется зависть к пенису, которая оставляет неизгладимые следы в ее развитии и формировании характера, преодолеваемые даже в самом благоприятном случае не без серьезной затраты психических сил. То, что девочка признает факт отсутствия пениса, отнюдь не говорит о том, что она с этим смиряется. Напротив, она еще долго держится за желание тоже получить «это», верит в эту возможность невероятно долго, и даже тогда, когда знание реальности давно отбросило это желание как невыполнимое, анализ может показать, что в бессознательном оно осталось и сохранило значительный запас энергии. Желание получить в конце концов долгожданный пенис может способствовать возникновению мотивов, которые приведут зрелую женщину к психоанализу, и то, чего она, понятно, может ожидать от анализа, а именно возможности заниматься интеллектуальной деятельностью, может быть часто истолковано как сублимированная вариация этого вытесненного желания.



В значении зависти к пенису вполне можно не сомневаться. Приведу в качестве примера мужской несправедливости утверждение, что зависть и ревность играют еще большую роль в душевной жизни женщины, чем мужчины. Не то чтобы эти качества отсутствовали у мужчин или они не имели бы у женщины никакого другого корня, кроме зависти к пенису, но этой последней мы склонны приписывать большее значение для женщин. Однако у некоторых аналитиков есть склонность принижать значение того первого приступа зависти к пенису, который возникает в фаллической фазе. Они полагают, что, когда у женщины обнаруживается подобная установка, то речь идет главным образом о вторичном образовании, которое в случае последующих конфликтов осуществляется благодаря регрессии на то раннее инфантильное побуждение. Ну а это — общая проблема глубинной психологии. При многих патологических или всего лишь необычных установках влечений, например при всех сексуальных извращениях, возникает вопрос, какую долю их силы нужно отнести на счет ранних инфантильных фиксаций и какую — на счет влияния последующих переживаний и развитий. При этом почти всегда речь идет о дополнительных рядах, как мы это предположили при обсуждении этиологии неврозов. Оба фактора в различном соотношении являются причиной; меньшая доля участия одного фактора возмещается большей другого. Инфантильное во всех случаях является направляющим, не всегда, но все-таки часто

решающим. Как раз в случае зависти к пенису я хотел бы решительно выступить за преобладание инфантильного фактора.

Открытие своей кастрации является поворотным пунктом в развитии девочки. Оно открывает три направления развития: одно ведет к подавлению сексуальности или к неврозу, другое к изменению характера в смысле комплекса мужественности, наконец, последнее — к нормальной женственности. Обо всех трех направлениях мы узнали довольно много, хотя и не все. Основное содержание первого направления состоит в том, что маленькая девочка, которая до сих пор жила по-мужски, умела доставлять себе наслаждение возбуждением клитора, соотносила это занятие со своими часто активными сексуальными желаниями, относящимися к матери, под влиянием зависти к пенису лишается удовольствия от своей фаллической сексуальности. Уязвленная в своем самолюбии сравнением с мальчиком, наделенным пенисом, она отказывается от мастурбационного удовлетворения клитором, отвергает свою любовь к матери, нередко вытесняя при этом значительную часть своих сексуальных стремлений вообще. Отход от матери происходит, правда, не сразу, так как девочка считает кастрацию сначала своим индивидуальным несчастьем, она лишь постепенно распространяет ее на другие женские существа и, наконец, также на мать. Ее любовь относилась к фаллической матери; с открытием того, что мать кастрирована, возможно, она отказывается от нее как от объекта любви, так что давно накопленные мотивы враждебности берут верх. Таким обра-

зом, это означает, что открытие отсутствия пениса обесценивает женщину в глазах девочки, как и мальчика, а позднее, возможно, и мужчины.

Все вы знаете, какое чрезвычайное этиологическое значение наши невротики придают своему онанизму. Они считают его виновником всех своих недугов, и нам требуется немало усилий, чтобы они поверили, что заблуждаются. Но, собственно, мы должны были бы признать, что они правы, так как онанизм является выражением детской сексуальности, от неправильного развития которой они и страдают. Правда, невротики в основном обвиняют онанизм периода половой зрелости; о раннем детском онанизме, от которого в действительности все зависит, они обычно забывают. Я хотел бы иметь когда-нибудь возможность подробно изложить вам, насколько важны все фактические частные особенности раннего онанизма для последующего невроза или характера индивидуума, был ли он обнаружен или нет, как родители с ним боролись или допускали его, удалось ли ему самому его подавить. Все это оставило неизгладимые следы в его развитии. Но я даже рад, что мне не нужно этого делать; это была бы трудная задача, которая заняла бы много времени, и в конце вы смутили бы меня тем, что потребовали бы от меня совершенно определенных практических советов, как родителям или воспитателям следует относиться к онанизму маленьких детей. В развитии девочки, о котором я говорю, виден пример того, что ребенок сам старается освободиться от онанизма. Но это не всегда ему удается. Там, где зависть

к пенису пробудила сильное противодействие клиторному онанизму, а он все-таки не хочет уступать, начинается энергичная освободительная борьба, в которой девочка как бы берет на себя роль отставленной матери и выражает все свое недовольство неполноценным клитором, сопротивляясь удовлетворению с его помощью. Уже много лет спустя, когда онанистические действия давно подавлены, интерес продолжает сохраняться, и его мы должны толковать как защиту от все еще существующей боязни искушения. Это выражается в возникновении симпатии к лицам, у которых предполагаются схожие трудности, это становится мотивом для заключения брака, это может даже определять выбор партнера по браку или любви. Освобождение от ранней детской мастурбации действительно является делом отнюдь не легким или безразличным.

Прекращение клиторной мастурбации означает отказ от части активности. Теперь пассивность берет верх, обращение к отцу происходит преимущественно с помощью пассивных побуждений. Вы видите, что такой сдвиг в развитии, устраняющий фаллическую активность, подготавливает почву для женственности. Если при этом не слишком многое теряется из-за вытеснения, эта женственность может осуществляться нормально. Желание, с которым девочка обращается к отцу, это ведь первоначальное желание иметь пенис, в котором ей отказала мать и которого она ждет от отца. Но женская ситуация восстанавливается только тогда, когда желание иметь пенис замещается желанием иметь ребенка; ребенок, таким

образом, согласно эквивалентам древней символики, занимает место пениса. От нас не ускользает то, что девочка еще раньше, в ненарушенной фаллической фазе, хотела ребенка, ведь таков был смысл ее игры с куклами. Но эта игра не была, собственно, выражением ее женственности, она служила идентификации с матерью с намерением заменить пассивность активностью. Она играла роль матери, а куклой была она сама; теперь она могла делать с ребенком все то, что мать обычно делала с ней. Только с появлением желания иметь пенис кукла-ребенок становится ребенком от отца и отныне самой желанной женской целью. Велико счастье, если когда-нибудь впоследствии это детское желание найдет свое реальное воплощение и особенно, если ребенок будет мальчиком, который принесет с собой долгожданный пенис. В связи «ребенок от отца» акцент достаточно часто смещен на ребенка, а не на отца. Так старое мужское желание обладать пенисом еще просвечивает сквозь сложившуюся женственность. Но, может быть, это желание иметь пенис мы должны, скорее, признать исключительно женским.





С переносом желания ребенка-пениса на отца девочка вступает в ситуацию Эдипова комплекса. Враждебность к матери, которой не нужно создаваться заново, получает теперь сильное подкрепление, потому что та становится соперницей, которой достается от отца все, чего желает от него девочка. Эдипов комплекс девочки долгое время скрывал от нас доэдипову связь с матерью, которая столь важна и оставляет такие стойкие фиксации. Для девочки эдипова ситуация является исходом долгого и трудного развития, чем-то вроде предварительного освобождения, некоей точкой покоя, которую она не так-то скоро оставит, тем более, что теперь недалеко и начало латентного периода. В отношении Эдипова комплекса к комплексу кастрации обращает на себя внимание различие полов, которое, вероятно, чревато последствиями. Эдипов комплекс мальчика, когда он желает свою мать, а отца хотел бы устранить как соперника, развивается, конечно, из фазы его фаллической сексуальности. Но угроза кастрации принуждает его отказаться от этой установки. Под влиянием опасности потерять пенис Эдипов комплекс оставляется, вытесняется и в наиболее нормальном случае разрушается до основания, а в качестве его наследника вступает в силу строгое *Сверх-Я*. У девочки происходит почти противоположное. Комплекс кастрации подготавливает Эдипов комплекс, вместо того чтобы его разрушать, под влиянием зависти к пенису нарушается связь с матерью, и девочка попадает в эдипову ситуацию как в какую-то гавань. С устранением страха кастрации от-

падает главный мотив, который заставляет мальчика преодолеть Эдипов комплекс. Девочка остается в нем неопределенно долго и лишь позднее, да и то не полностью, освобождается от него. В этих условиях должно пострадать образование *Сверх-Я*, оно не сможет достичь той силы и независимости, которые и придают ему культурное значение, и феминисты не любят, когда им указывают на последствия этого момента для обычного женского характера.

А теперь вернемся назад: как вторую возможную реакцию на открытие женской кастрации мы выделили развитие сильного комплекса мужественности. Под этим подразумевалось, что девочка как бы отказывается признать этот неприятный факт, упрямым протестом еще больше преувеличивает свою прежнюю мужественность, не хочет отказываться от своих клиторных действий и находит себе прибежище в идентификации с фаллической матерью или отцом. Что может быть решающим для такого исхода? Мы не можем представить себе ничего иного, кроме конституционального фактора, большей меры активности, что обычно характерно для самца. Сущностью процесса является то, что в этом месте развития не происходит сдвига к пассивности, который открывает поворот к женственности. Крайним проявлением этого комплекса мужественности кажется нам влияние на выбор объекта в смысле открытого гомосексуализма. Хотя аналитический опыт показывает нам, что женский гомосексуализм редко или никогда не продолжает прямо инфантильную мужественность. Сюда же,

по-видимому, относится и то, что и такие девушки на некоторое время принимают отца в качестве объекта и попадают в эдипову ситуацию. Но затем вследствие неизбежных разочарований в отце они вынуждены регрессировать к своему раннему комплексу мужественности. Не следует переоценивать значение этих разочарований; их не минует и девушка, склонная к женственности, но без того же результата. Превосходящая сила конституционального фактора кажется неоспоримой, но две фазы в развитии женского гомосексуализма очень хорошо отражаются в практике лесбиянок, которые так же часто и так же явно играют друг с другом в мать и ребенка, как и в мужчину и женщину.

То, что я вам тут рассказал, это, так сказать, предыстория женщины. Это результаты самых последних лет; возможно, они заинтересуют вас как попытка кропотливой аналитической работы. Так как темой является сама женщина, я позволю себе на этот раз упомянуть поименно некоторых женщин, которым это исследование обязано важными работами. Д-р Рут Макбрунсквик первой (1929) описала случай невроза, истоки которого прослеживаются в фиксации на доэдиповой стадии и когда эдипова ситуация вообще не была достигнута. Он имел форму паранойи ревности и оказался поддающимся терапии. Д-р Жанна Лампль де Гру достоверными наблюдениями установила (1927) столь маловероятную фаллическую активность девочки по отношению к матери, д-р Елена Дейч показала (1932),

что любовные акты гомосексуальных женщин воспроизводят отношения матери и ребенка.

Проследить дальнейшее развитие женственности через половое созревание вплоть до периода зрелости не входит в мои намерения. Да и наши знания недостаточны для этого. Некоторые черты я суммирую ниже. Ссылаясь на предысторию, я только хочу подчеркнуть, что развитие женственности по-прежнему подвергается нарушениям со стороны остаточных явлений предварительного периода мужественности. Регрессии к фиксациям тех доэдиповых фаз имеют место очень часто; в некоторых историях жизни дело доходит до неоднократного повторения периодов, в которых преобладает то мужественность, то женственность. Частично то, что мы, мужчины, называем «загадкой женщины», возможно, ведет начало от этого проявления бисексуальности в жизни женщины. Но во время этих исследований, по-видимому, назрел другой вопрос. Движущей силой сексуальной жизни мы называем либидо. Сексуальная жизнь подчинена полярности мужского-женского; таким образом, кажется необходимым внимательно рассмотреть отношение либидо к этой полярности. Не было бы неожиданностью, если бы оказалось, что каждой сексуальности подчиняется свое особое либидо, так что один вид либидо преследует цели мужской, а другой — цели женской сексуальной жизни. Но ничего подобного не существует. Есть только одно либидо, которое служит как мужской, так и женской сексуальной функции. Мы не можем сами приписать ему

пол; если мы, согласившись на отождествление активности и мужественности, пожелаем назвать его мужским, нам не следует забывать, что оно (либидо) представляет также стремления к пассивным целям. Словосочетание «женское либидо» все же лишено всякого оправдания. Оно вызывает у нас впечатление, что либидо стесняют, когда принуждают к служению женской функции, и что природа, если говорить телеологически, менее серьезно считается с ее притязаниями, чем в случае мужественности. А это, мыслимое опять-таки телеологически, может иметь свое основание в том, что проведение в жизнь биологической цели вверяется агрессии мужчины и некоторым образом независимо от согласия женщины.

Сексуальная фригидность женщины, частота которой, кажется, подтверждает это пренебрежение, является всего лишь недостаточно понятым феноменом. Иногда она носит психогенный характер и тогда подвластна воздействию, в других случаях она позволяет предполагать конституциональную обусловленность и даже вклад анатомического фактора.

Я обещал рассказать вам еще о некоторых психических особенностях зрелой женственности, как они проявляются при аналитическом наблюдении. Мы не претендуем этими утверждениями на окончательную истину; кроме того, не всегда легко отделить то, что можно приписать влиянию сексуальной функции, а что — социальному воспитанию. Итак, мы приписываем женственности более высокую степень нарциссизма, которая и влияет на ее выбор объекта, так что быть любимой

для женщины — более сильная потребность, чем любить. В физическом тщеславии женщины все еще сказывается действие зависти к пенису, поскольку свои прелести она тем более высоко ценит, что они представляются ей компенсацией за первоначальную сексуальную неполноценность. Стыдливости, которая считается отличительным женским качеством, но является гораздо более обусловленной традициями, чем следовало бы думать, мы приписываем первоначальное намерение скрыть дефект гениталий. Мы не забываем, что позднее она приняла на себя другие функции. Полагают, что женщины внесли меньший вклад в открытия и изобретения истории культуры, но, может быть, именно они открыли один вид техники — технику плетения и ткачества. Если это так, то попытаемся отгадать бессознательный мотив этого достижения. Сама природа как будто подает пример такому подражанию, заставляя гениталии с наступлением половой зрелости обрастать волосами, скрывающими их. Шаг, который надо было сделать далее, состоял в том, чтобы скрепить волокна друг с другом, которые на теле выступали из кожи и были лишь спутаны. Если эта неожиданная мысль кажется вам фантастичной и вы считаете влияние отсутствия пениса на формирование женственности моей идеей, то я, естественно, обезоружен.

Условия выбора объекта женщиной достаточно часто до неузнаваемости изменяются социальными отношениями. Там, где он может проявиться свободно, он часто происходит по нарциссическому идеалу мужчины, которым девушка хотела

стать. Если девушка остановилась на привязанности к отцу, т. е. на Эдиповом комплексе, то она выберет его по типу отца. Поскольку при переходе от матери к отцу враждебность амбивалентного эмоционального отношения осталась направленной на мать, такой выбор должен обеспечить счастливый брак. Но очень часто случается то, что вообще ставит под угрозу подобное разрешение амбивалентного конфликта. Сохранившаяся враждебность следует за положительной привязанностью и переходит на новый объект. Супруг, который сначала получает в наследство чувства к отцу, со временем наследует и чувства к матери. Таким образом, легко может произойти то, что вторую половину жизни женщины заполняет борьба против своего мужа, как первую, более короткую,— сопротивление по отношению к своей матери. После того как реакция изжита, второй брак может легко сложиться гораздо более удовлетворительно. Другой поворот в сущности женщины, к которому не подготовлены любящие, может произойти после рождения в браке первого ребенка. Под впечатлением собственного материнства может снова ожить идентификация с собственной матерью, которой женщина вплоть до брака оказывала сопротивление, и привлечь к себе все имеющееся либидо, так что с навязчивым повторением репродуцируется несчастный брак родителей. То, что прежний фактор отсутствия пениса все еще не утратил своей силы, обнаруживается в неодинаковой реакции матери на рождение сына или дочери. Только отношение к сыну приносит матери неограниченное

удовлетворение; оно вообще является из всех человеческих отношений самым совершенным и наиболее свободным от амбивалентности. На сына мать может перенести свое честолюбие, которое она должна была подавить в себе, от него она ждет удовлетворения всего того, что осталось у нее от комплекса мужественности. Даже брак нельзя считать устойчивым, пока женщине не удастся сделать и мужа своим ребенком и разыгрывать перед ним мать.

Идентификация женщины с матерью позволяет различить два слоя — доэдипов, который основан на нежной привязанности к матери, считающейся образцом, и более поздний из Эдипова комплекса, когда мать устраняется и заменяется отцом. Многое от обоих остается для будущего, и можно по праву сказать, что ни один не преодолевается в процессе развития в достаточной мере. Но фаза нежной доэдиповой привязанности является для будущего женщины решающей; в ней подготавливается приобретение тех качеств, благодаря которым она позднее будет соответствовать своей роли в сексуальной функции и достигать поразительных социальных успехов. В этой идентификации она приобретает также привлекательность для мужчины, которая превращает его эдипову привязанность к матери во влюбленность. Лишь тогда сын зачастую получает то, чего он добивался для себя. Создается впечатление, что любовь мужчины и любовь женщины разделяются психологическим различием фаз.

То, что женщине мало свойственно чувство справедливости, связано с преобладанием зависти в ее душевной жизни, потому что требование справедливости перерабатывает зависть, создавая условие, при котором от нее можно отказаться. Мы говорим о женщинах также, что их социальные интересы слабее, а способность к сублимации влечений меньше, чем у мужчин. Первое, правда, проистекает из асоциального характера, который, несомненно, присущ всем сексуальным отношениям. Любящие находят удовлетворение друг в друге, и даже семья еще противится принятию в более широкие сообщества. Способность к сублимации подвержена самым значительным индивидуальным колебаниям. Я не могу не упомянуть впечатления, которое все время получаешь при аналитической деятельности. Мужчина около тридцати лет представляется молодым, скорее незрелым индивидуумом, от которого мы ждем, что он в полной мере использует возможности развития, которые ему открывает анализ. Но женщина того же возраста часто пугает нас своей психической закостенелостью и неизменяемостью. Ее либидо заняло окончательные позиции и кажется не способным оставить их ради других. Путей для дальнейшего развития нет; дело обстоит так, как будто весь процесс уже закончен, не может подвергнуться отныне никакому воздействию и даже как будто трудное развитие на пути к женственности исчерпало возможности личности. Мы как терапевты жалуемся на это положение вещей, даже если нам удается устранить недуг путем разрешения невротического конфликта.

Это все, что я хотел вам сказать о женственности. Разумеется, все это неполно и фрагментарно, да и не всегда приятно звучит. Не забывайте, что мы описали женщину лишь в той мере, в какой ее сущность определяется ее сексуальной функцией. Это влияние заходит, правда, очень далеко, но мы имеем в виду, что отдельная женщина все равно может быть человеческим существом. Если вы хотите знать о женственности больше, то спросите об этом собственный жизненный опыт, или обратитесь к поэтам, или подождите, пока наука не даст вам более глубокие и лучше согласующиеся друг с другом сведения.

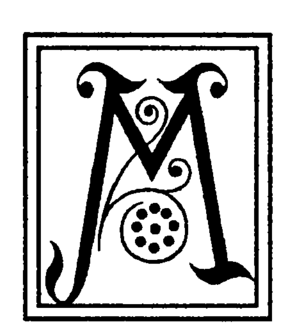






ДОСТОЕВСКИЙ И ОТЦЕУБИЙСТВО





ногогранную личность Достоевского можно рассматривать с четырех сторон: как писателя, как невротика, как мыслителя-этика и как грешника. Как же разобраться в этой невольно смущающей нас сложности?

Наименее спорен он как писатель, место его в одном ряду с Шекспиром. «Братья Карамазовы» — величайший роман из всех, когда-либо написанных, а «Легенда о Великом Инквизиторе» — одно из высочайших достижений мировой литературы, переоценить которое невозможно. К сожалению, перед проблемой писательского творчества психоанализ должен сложить оружие.

Достоевский скорее уязвим как моралист. Представляя его человеком высоконравственным на том основании, что только тот достигает высшего нравственного совершенства, кто прошел через глубочайшие бездны греховности, мы игнорируем одно соображение. Ведь нравственным является человек, реагирующий уже на внутренне испытываемое искушение, при этом ему не поддаваясь. Того, кто попеременно то грешит, то, раскаиваясь, ставит себе высокие нравственные цели,— легко упрекнуть в том, что он слишком удобно

строит свою жизнь. Он не исполняет основного принципа нравственности — необходимости отречения, в то время как нравственный образ жизни — в практических интересах всего человечества. Этим он напоминает варваров эпохи переселения народов, убивавших и затем каявшихся в этом, так что покаяние становилось техническим примером, расчищавшим путь к новым убийствам. Так же поступал Иван Грозный; эта сделка с совестью — характерная русская черта. Достаточно бесславен и конечный итог нравственной борьбы Достоевского. После исступленной борьбы во имя примирения притязаний первичных позывов индивида с требованиями человеческого общества — он вынужденно регрессирует к подчинению мирскому и духовному авторитету — к поклонению царю и христианскому Богу, к русскому мелкодушному национализму, к чему менее значительные умы пришли с гораздо меньшими усилиями, чем он. В этом слабое место большой личности. Достоевский упустил возможность стать учителем и освободителем человечества и присоединился к тюремщикам; культура будущего немногим будет ему обязана. В этом, по всей вероятности, проявился его невроз, из-за которого он и был осужден на такую неудачу. По мощи постижения и силе любви к людям ему был открыт другой — апостольский — путь служения.

Нам представляется отталкивающим рассматривание Достоевского в качестве грешника или преступника, но это отталкивание не должно основываться на обывательской



оценке преступника. Выявить подлинную мотивацию преступления недолго: для преступника существенны две черты — безграничное себялюбие и сильная деструктивная склонность; общим для обеих черт и предпосылкой для их проявлений является отсутствие любви, нехватка эмоционально-оценочного отношения к человеку. Тут сразу вспоминаешь противоположное этому у Достоевского — его большую потребность в любви и его огромную способность любить, проявившуюся в его сверхдоброте и позволявшую ему любить и помогать там, где он имел бы право ненавидеть и мстить — например, по отношению к его первой жене и ее любовнику. Но тогда возникает вопрос — откуда приходит соблазн причисления Достоевского к преступникам? Ответ: из-за выбора его персонажей — это преимущественно насильники, убийцы, эгоцентрические характеры, что свидетельствует о существовании таких склонностей в его внутреннем мире; а также из-за некоторых фактов его жизни: страсти его к азартным играм, может быть, сексуального растления незрелой девочки («Исповедь»)[1]. Это противоречие разрешается следующим образом: сильная деструктивная устремленность Достоевского, которая могла бы сделать его преступником, была в его жизни направлена, главным образом, на самого себя (внутрь — вместо того, чтобы изнутри) и таким образом выразилась в мазохизме и чувстве вины. Все-таки в его личности немало и садистических черт, выявляющихся в его раздражительности, мучительстве, нетерпимости — даже по отношению к любимым людям — а также

в его манере обращения с читателем; итак, в мелочах он — садист вовне, в важном — садист по отношению к самому себе, следовательно, мазохист, и это мягчайший, добродушнейший, всегда готовый помочь человек.

В сложной личности Достоевского мы выделили три фактора — один количественный и два качественных. Его чрезвычайно повышенную аффективность, его устремленность к перверзии, которая должна была привести его к садо-мазохизму или сделать преступником, и его неподдающееся анализу творческое дарование. Такое сочетание вполне могло бы существовать и без невроза: ведь бывают же стопроцентные мазохисты — без наличия неврозов. По соотношению сил — притязаний первичных позывов и противоборствующих им торможений (присоединяя сюда возможности сублимирования) — Достоевского все еще можно было бы отнести к разряду «импульсивных характеров». Но положение вещей затемняется наличием невроза, необязательного, как было сказано, при данных обстоятельствах, но все же возникающего тем скорее, чем насыщеннее осложнение, подлежащее со стороны человеческого *Я* преодолению. Невроз — это только знак того, что самому *Я* такой синтез не удался, что оно при этой попытке поплатилось своим единством.

В чем же, в строгом смысле, проявляется невроз? Достоевский называл себя сам — и другие также считали его — эпилептиком на том основании, что он был подвержен тяжелым припадкам, сопровождавшимся потерей сознания, судорогами

и последующим упадком настроения. Весьма вероятно, что эта так называемая эпилепсия была лишь симптомом его невроза, который в таком случае следует определить как истероэпилепсию, то есть как тяжелую истерию. Утверждать это с полной уверенностью нельзя по двум причинам: во-первых, потому, что даты анамнезических припадков так называемой эпилепсии Достоевского недостаточны и ненадежны, а во-вторых, потому, что понимание связанных с эпилептоидными припадками болезненных состояний остается неясным.

Перейдем ко второму пункту. Излишне повторять всю патологию эпилепсии — это не привело бы ни к чему окончательному, но одно можно сказать: снова и снова присутствует как кажущееся клиническое целое извечный morbus sacer[2], страшная болезнь со своими, не поддающимися учету, на первый взгляд неспровоцированными, судорожными припадками, изменением характера в сторону раздражительности и агрессивности и с прогрессирующим снижением всех видов духовной деятельности. Однако эта картина, с какой бы стороны мы ее ни рассматривали, расплывается в нечто неопределенное. Припадки, проявляющиеся резко, усиливающиеся до опасного для жизни status epilepticus[3], который приводит к тяжкому самокалечению, могут все же в некоторых случаях не достигать такой силы, ослабляясь до кратких состояний абсанса[4], до быстро проходящих головокружений, и могут также сменяться краткими периодами, когда больной совершает чуждые его природе поступки, как бы находясь во власти

бессознательного. Будучи обусловлены, в общем (каким бы странным это ни казалось) чисто телесными причинами, эти состояния могут первоначально возникать по причинам чисто душевным (испуг) или могут в дальнейшем находиться в зависимости от душевных волнений. Как ни характерна для огромного большинства случаев интеллектуальная деградация, но известен, по крайней мере, один случай, когда этот недуг не нарушил высшей интеллектуальной деятельности (Гельмгольц[5]). (Другие случаи, в отношении которых утверждалось то же самое, ненадежны или подлежат сомнению, как и случай самого Достоевского.) Лица, страдающие эпилепсией, могут производить впечатление тупости, недоразвитости, так как эта болезнь часто сопряжена с ярко выраженным идиотизмом и крупнейшими мозговыми дефектами, не являясь, конечно, обязательной составной частью картины болезни; но эти припадки со всеми своими видоизменениями бывают и у других лиц, у лиц с полным душевным развитием и скорее со сверхобычной, в большинстве случаев, недостаточно управляемой ими аффективностью. Неудивительно, что при таких обстоятельствах невозможно установить совокупность клинического аффекта «эпилепсии». То, что проявляется в однородности указанных симптомов, требует, по-видимому, функционального понимания, как если бы механизм анормального высвобождения первичных позывов был подготовлен органически,— механизм, который используется при наличии весьма разных условий — как при нарушении мозговой деятельности

при тяжком заболевании тканей или токсическом заболевании, так и при недостаточном контроле душевной экономии, кризисном функционировании душевной энергии. За этим разделением на два вида мы чувствуем идентичность механизма, лежащего в основе высвобождения первичных позывов. Этот механизм недалек и от сексуальных процессов, порождаемых в своей основе токсически; уже древнейшие врачи называли коитус малой эпилепсией и видели в половом акте смягчение и адаптацию высвобождения эпилептического отвода раздражения.

«Эпилептическая реакция», каковым именем можно назвать все это вместе взятое, несомненно также поступает и в распоряжение невроза, сущность которого в том, чтобы ликвидировать соматически массы раздражения, с которыми невроз не может справиться психически. Эпилептический припадок становится, таким образом, симптомом истерии и ею адаптируется и видоизменяется, подобно тому как это происходит при нормальном течении сексуального процесса. Таким образом, мы с полным правом различаем органическую и аффективную эпилепсию. Практическое значение этого следующее: страдающий первой — поражен болезнью мозга, страдающий второй — невротик. В первом случае душевная жизнь подвержена нарушению извне, во втором случае нарушение является выражением самой душевной жизни.

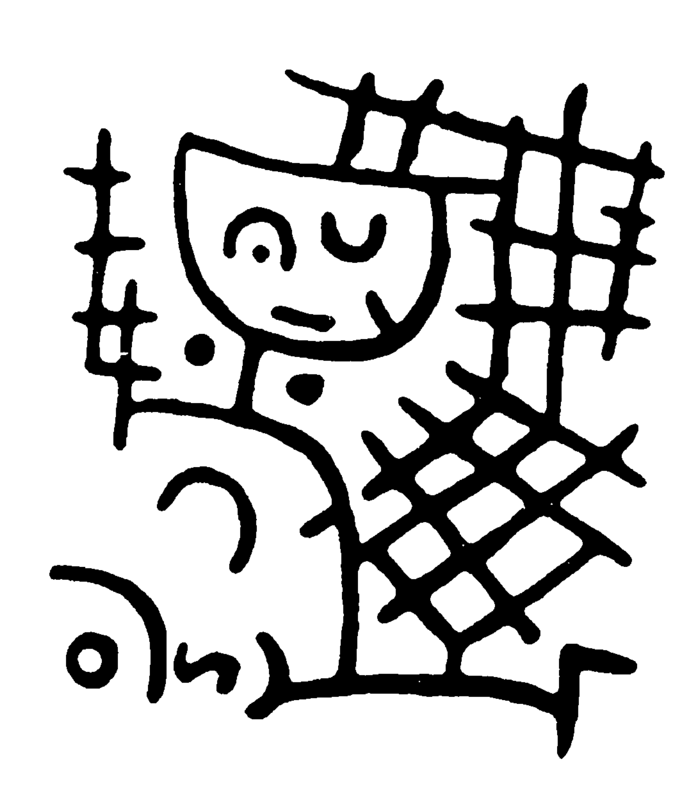
Весьма вероятно, что эпилепсия Достоевского относится ко второму виду. Точно доказать это нельзя, так как в таком

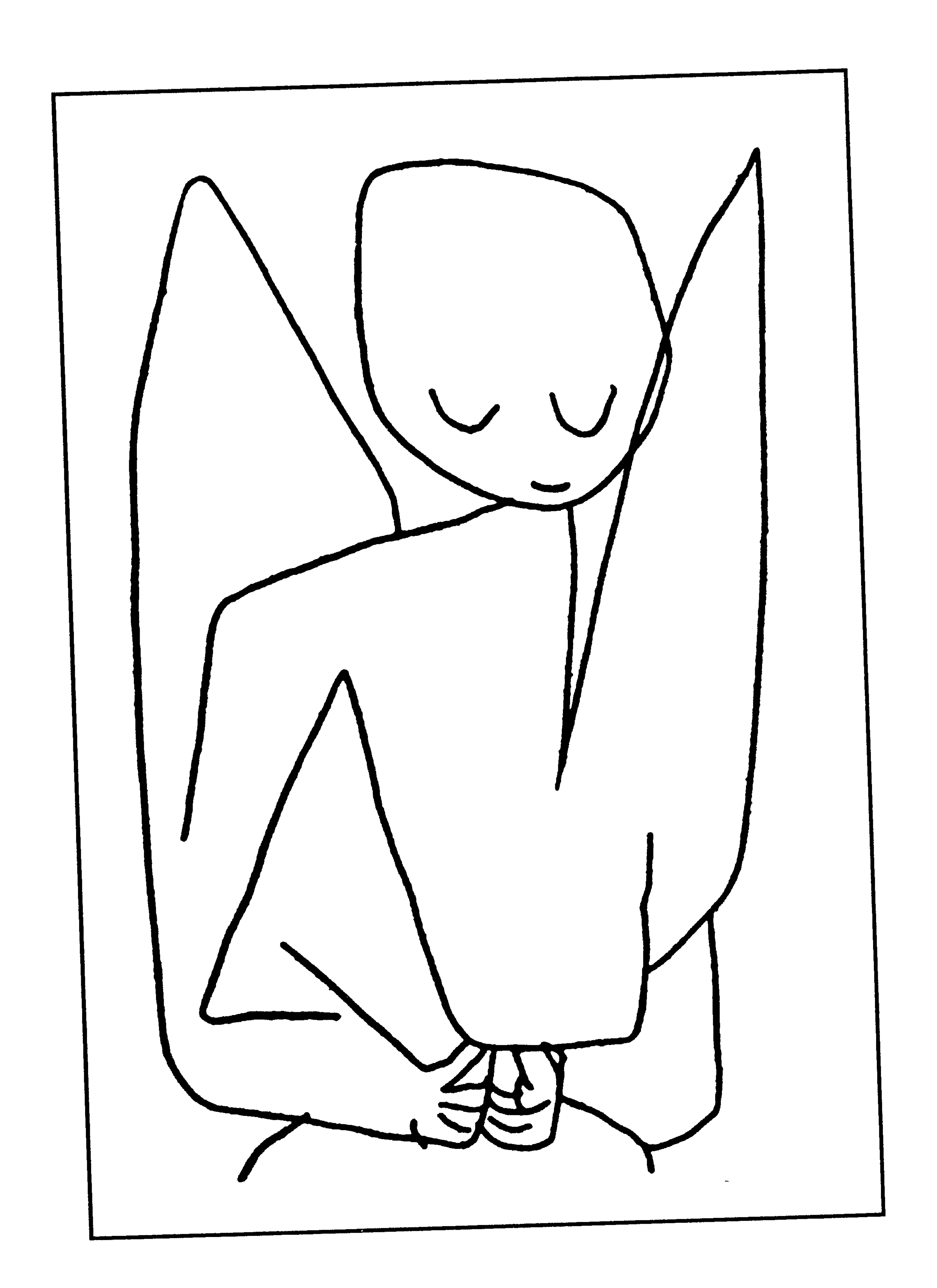
случае нужно было бы включить в целокупность его душевной жизни начало припадков и последующие видоизменения этих припадков, а для этого у нас недостаточно данных. Описания самих припадков ничего не дают, сведения о соотношении между припадками и переживаниями неполны и часто противоречивы. Всего вероятнее предположение, что припадки начались у Достоевского уже в детстве, что они вначале характеризовались более слабыми симптомами и только после потрясшего его переживания на восемнадцатом году жизни — убийства отца — приняли форму эпилепсии[6]. Было бы весьма уместно, если бы оправдалось то, что они полностью прекратились во время отбывания им каторги в Сибири, но этому противоречат другие указания[7]. Очевидная связь между отцеубийством в «Братьях Карамазовых» и судьбой отца Достоевского бросилась в глаза не одному биографу Достоевского и послужила им указанием на «известное современное психологическое направление». Психоанализ, так как подразумевается именно он, склонен видеть в этом событии тягчайшую травму — и в реакции Достоевского на это — ключевой пункт его невроза.

Если я начну обосновывать эту установку психоаналитически, опасаюсь, что окажусь непонятным для всех тех, кому незнакомы учение и выражения психоанализа.

У нас один надежный исходный пункт. Нам известен смысл первых припадков Достоевского в его юношеские годы — задолго до появления «эпилепсии». У этих припадков было подобие смерти, они назывались страхом смерти и вы-

ражались в состоянии летаргического сна. Эта болезнь находила на него вначале — когда он был еще мальчиком — как внезапная безотчетная подавленность; чувство, как он позже рассказывал своему другу Соловьеву, такое, как будто бы ему предстояло сейчас же умереть; и в самом деле наступало состояние совершенно подобное действительной смерти. Его брат Андрей рассказывал, что Федор уже в молодые годы, перед тем как заснуть, оставлял записки, что боится ночью заснуть смертоподобным сном и просит поэтому, чтобы его похоронили только через пять дней («Достоевский за рулеткой», Введение, с. LX).







Нам известны смысл и намерение таких припадков смерти. Они означают отождествление с умершим — человеком, который действительно умер, или с человеком живым еще, но которому мы желаем смерти. Второй случай более значителен. Припадок в указанном случае равноценен наказанию. Мы пожелали смерти другому,— теперь мы стали сами этим другим и сами умерли. Тут психоаналитическое учение утверждает, что этот другой для мальчика обычно — отец, и именуемый истерией припадок является, таким образом, самонаказанием за пожелание смерти ненавистному отцу.

Отцеубийство, как известно, основное и изначальное преступление человечества и отдельного человека. Во всяком случае оно — главный источник чувства вины, неизвестно, единственный ли; исследователям не удалось еще установить душевное происхождение вины и потребности искупления. Но отнюдь не существенно — единственный ли это источник. Психологическое положение сложно и нуждается в объяснениях. Отношение мальчика к отцу, как мы говорим, амбивалентно. Помимо ненависти, из-за которой хотелось бы отца устранить как соперника, существует обычно некоторая доля нежности к нему. Оба отношения сливаются в идентификацию с отцом, хотелось бы занять место отца, потому что он вызывает восхищение, хотелось бы быть как он и потому, что хочется его устранить. Все это наталкивается на крупное препятствие. В определенный момент ребенок начинает понимать, что попытка устранить отца как соперника встретила бы

со стороны отца наказание через кастрацию. Из страха кастрации, то есть в интересах сохранения своей мужественности, ребенок отказывается от желания обладать матерью и от устранения отца. Поскольку это желание остается в области бессознательного, оно является основой для образования чувства вины. Нам кажется, что мы описали нормальные процессы, обычную судьбу так называемого Эдипова комплекса; следует, однако, внести важное дополнение.

Возникают дальнейшие осложнения, если у ребенка сильнее развит конституционный фактор, называемый нами бисексуальностью. Тогда, под угрозой потери мужественности через кастрацию укрепляется тенденция уклониться в сторону женственности, более того, тенденция поставить себя на место матери и перенять ее роль как объекта любви отца. Одна лишь боязнь кастрации делает эту развязку невозможной. Ребенок понимает, что он должен взять на себя и кастрирование, если он хочет быть любимым отцом как женщина. Так обрекаются на вытеснение оба порыва — ненависть к отцу и влюбленность в отца. Известная психологическая разница усматривается в том, что от ненависти к отцу отказываются вследствие страха перед внешней опасностью (кастрацией). Влюбленность же в отца воспринимается как внутренняя опасность первичного позыва, которая, по сути своей, снова возвращается к той же внешней опасности.

Страх перед отцом делает ненависть к отцу неприемлемой; кастрация ужасна как в качестве кары, так и цены любви.



Из обоих факторов, вытесняющих ненависть к отцу, первый, непосредственный страх наказания и кастрации, следует назвать нормальным, патогенное усиление привносится, как кажется, лишь другим фактором — боязнью женственной установки. Ярко выраженная бисексуальная склонность становится, таким образом, одним из условий или подтверждений невроза. Эту склонность, очевидно, следует признать и у Достоевского,— и она (латентная гомосексуальность) проявляется в дозволенном виде в том значении, какое имела в его жизни дружба с мужчинами, в его до странности нежном отношении к соперникам в любви и в его прекрасном понимании положений, объяснимых лишь вытесненной гомосексуальностью, как на то указывают многочисленные примеры из его произведений.

Сожалею, но ничего не могу изменить, если подробности о ненависти и любви к отцу и об их видоизменениях под влиянием угрозы кастрации несведущему в психоанализе читателю покажутся безвкусными и маловероятными. Предполагаю, что именно комплекс кастрации будет отклонен сильнее всего. Но смею уверить, что психоаналитический опыт ставит именно эти явления вне всякого сомнения и находит в них ключ к любому неврозу. Испытаем же его в случае так называемой эпилепсии нашего писателя. Но нашему сознанию так чужды те явления, во власти которых находится наша бессознательная психическая жизнь! Указанным выше в Эдиповом комплексе не исчерпываются последствия вытеснения ненависти к отцу. Новым является то, что в конце концов отождествление с отцом

завоевывает в нашем *Я* постоянное место. Это отождествление воспринимается нашим *Я*, но представляет собой в нем особую инстанцию, противостоящую остальному содержанию нашего *Я*. Мы называем тогда эту инстанцию нашим *Сверх-Я* и приписываем ей, наследнице родительского влияния, наиважнейшие функции.

Если отец был суров, насильствен, жесток, наше *Сверх-Я* перенимает от него эти качества, и в его отношении к *Я* снова возникает пассивность, которой как раз надлежало бы быть вытесненной. *Сверх-Я* стало садистским, *Я* становится мазохистским, то есть в основе своей — женственно-пассивным. В нашем *Я* возникает большая потребность в наказании, и *Я* отчасти отдает себя как таковое в распоряжение судьбы, отчасти же находит удовлетворение в жестоком обращении с ним *Сверх-Я* (сознание вины). Ведь каждая кара является в основе своей кастрацией и как таковая — осуществлением изначального пассивного отношения к отцу. И судьба в конце концов — лишь дальнейшая проекция отца. Нормальные явления, происходящие при формировании совести, должны походить на описанные здесь анормальные. Нам еще не удалось установить разграничения между ними. Замечается, что наибольшая роль здесь в конечном итоге приписывается пассивным элементам вытесненной женственности. И еще как случайный фактор имеет значение, является ли внушающий страх отец и в действительности особенно насильственным. Это относится к Достоевскому — факт его исключительно-



го чувства вины, равно как и мазохистского образа жизни, мы сводим к его особенно ярко выраженному компоненту женственности. Достоевского можно определить следующим образом: ярко выраженная бисексуальная предрасположенность и способность с особой силой защищаться от зависимости от чрезвычайно сурового отца. Этот характер бисексуальности мы добавляем к ранее узнанным компонентам его существа. Ранний симптом «припадков смерти» можно рассматривать как отождествление своего *Я* с отцом, допущенное в качестве наказания со стороны *Сверх-Я*. Ты захотел убить отца, дабы стать отцом самому. Теперь ты — отец, но отец мертвый — обычный механизм истерических симптомов. И к тому же теперь тебя убивает отец. Для нашего *Я* симптом смерти является удовлетворением фантазии мужского желания и одновременно мазохистским средством наказания, то есть садистическим удовлетворением. Оба, *Я* и *Сверх-Я*, играют роль отца и дальше. В общем, отношение между личностью и объектом отца при сохранении его содержания перешло в отношение между *Я* и *Сверх-Я*; новая инсценировка на второй сцене. Такие инфантильные реакции Эдипова комплекса могут заглохнуть, если действительность не дает им в дальнейшем пищи. Но характер отца остается тем же самым, и даже ухудшается с годами — таким образом, продолжает оставаться и ненависть Достоевского к отцу, желание смерти этому злому отцу. Становится опасным, если такие вытесненные желания осуществляются на деле. Фантазия стала реальностью, все меры

защиты теперь укрепляются. Припадки Достоевского принимают теперь эпилептический характер — они все еще означают кару за отождествление с отцом. Но они стали теперь ужасны, как страшна сама смерть отца. Какое содержание, в особенности сексуальное, они в дополнение к этому приобрели, угадать невозможно.

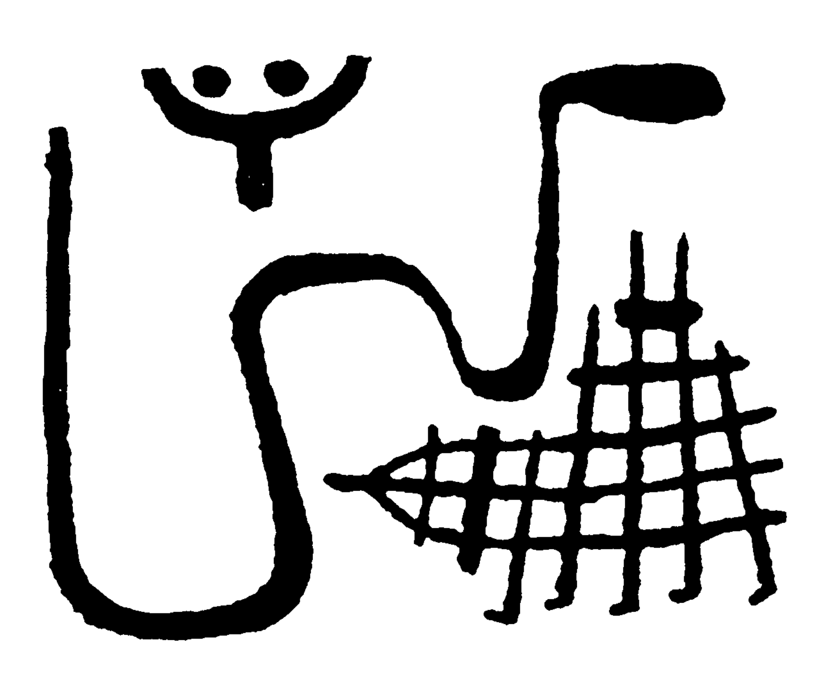
Одно примечательно: в ауре припадка переживается момент величайшего блаженства, который, весьма вероятно, мог быть фиксацией триумфа и освобождения при получении известия о смерти, после чего тотчас последовало тем более жестокое наказание. Такое чередование триумфа и скорби, пиршества и печали, мы видим и у братьев праорды, убивших отца, и находим его повторение в церемонии тотемической трапезы. Если правда то, что Достоевский в Сибири не был подвержен припадкам, это лишь подтверждает то, что его припадки были его карой. Он более в них не нуждался, когда был караем иным образом, но доказать это невозможно. Скорее этой необходимостью в наказании для психической экономии Достоевского объясняется то, что он прошел несломленным через эти годы бедствий и унижений. Осуждение Достоевского в качестве политического преступника было несправедливым, и он должен был это знать, но он принял это незаслуженное наказание от батюшки-царя как замену наказания, заслуженного им за свой грех по отношению к своему собственному отцу. Вместо самонаказания он дал себя наказать заместителю отца. Это дает нам некоторое представление о психоло-



гическом оправдании наказаний, присуждаемых обществом. Это на самом деле так: многие из преступников жаждут наказания. Его требует их *Сверх-Я*, избавляя себя таким образом от самонаказания.

Тот, кто знает сложное и изменчивое значение истерических симптомов, поймет, что мы здесь не пытаемся добиться смысла припадков Достоевского во всей полноте[8]. Достаточно предположения, что их первоначальная сущность осталась неизменной, несмотря на все последующие наслоения. Можно сказать, что Достоевский так никогда и не освободился от угрызений совести в связи с намерением убить отца. Это лежащее на совести бремя определило также его отношение к двум другим сферам, покоящимся на отношении к отцу — к государственному авторитету и к вере в Бога. В первой он пришел к полному подчинению батюшке-царю, однажды разыгравшему с ним комедию убийства в действительности, находившую столько раз отражение в его припадках. Здесь верх взяло покаяние. Больше свободы оставалось у него в области религиозной — по не допускающим сомнений сведениям, он до последней минуты своей жизни все колебался между верой и безбожием. Его высокий ум не позволял ему не замечать противоречий в понимании картины мира, к которым приводит вера. В индивидуальном повторении мирового исторического развития он надеялся в идеале Христа найти выход и освобождение от грехов — и использовать свои собственные страдания, чтобы притязать на роль Христа. Если он в ко-

нечном счете не пришел к свободе и стал реакционером, то это объясняется тем, что общечеловеческая сыновняя вина, на которой строится религиозное чувство, достигла у него сверхиндивидуальной силы и не могла быть преодолена даже его высокой интеллектуальностью. Здесь нас, казалось бы, можно упрекнуть в том, что мы отказываемся от беспристрастности психоанализа и подвергаем Достоевского оценке, имеющей право на существование лишь с пристрастной точки зрения определенного мировоззрения. Консерватор стал бы на точку зрения Великого Инквизитора и оценивал бы Достоевского иначе. Упрек справедлив, для его смягчения можно лишь сказать, что решение Достоевского вызвано, очевидно, затрудненностью его мышления вследствие невроза.





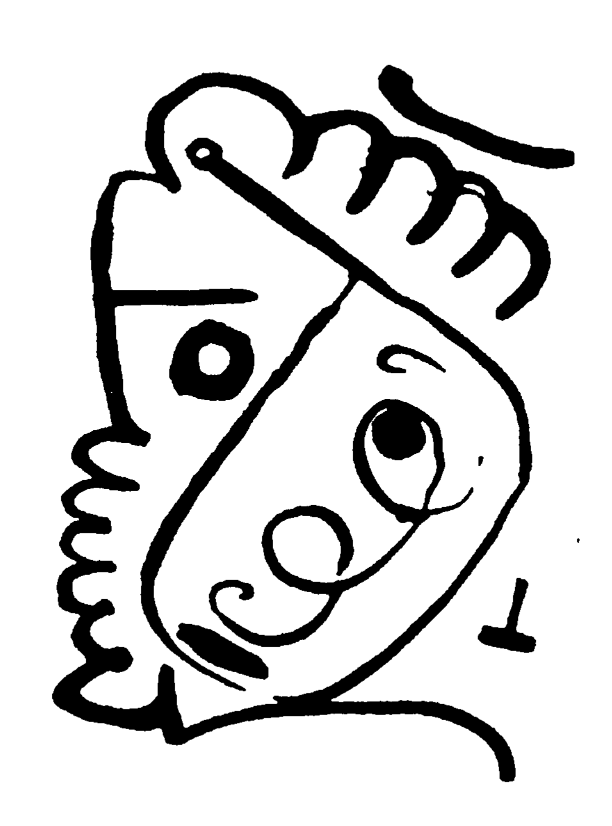
Едва ли простой случайностью можно объяснить, что три шедевра мировой литературы всех времен трактуют одну и ту же тему — тему отцеубийства: «Царь Эдип» Софокла, «Гамлет» Шекспира и «Братья Карамазовы» Достоевского. Во всех трех раскрывается и мотив деяния — сексуальное соперничество из-за женщины. Прямее всего, конечно, это представлено в драме, основанной на греческом сказании. Здесь деяние совершается еще самим героем. Но без смягчения и вуалирования поэтическая обработка невозможна. Откровенное признание в намерении убить отца, какого мы добиваемся при психоанализе, кажется непереносимым без аналитической подготовки. В греческой драме необходимое смягчение при сохранении сущности мастерски достигается тем, что бессознательный мотив героя проецируется в действительность как чуждое ему принуждение, навязанное судьбой. Герой совершает деяние непреднамеренно и по всей видимости без влияния женщины, и все же это стечение обстоятельств принимается в расчет, так как он может завоевать царицу-мать только после повторения того же действия в отношении чудовища, символизирующего отца. После того как обнаруживается и оглашается его вина, не делается никаких попыток снять ее с себя, взвалить ее на принуждение со стороны судьбы; наоборот, вина признается — и как всецелая вина наказывается, что рассудку может показаться несправедливым, но психологически абсолютно правильно. В английской драме это изображено более косвенно, поступок совершается не самим

героем, а другим, для которого этот поступок не является отцеубийством. Поэтому предосудительный мотив сексуального соперничества у женщины не нуждается в завуалировании. Равно и Эдипов комплекс героя мы видим как бы в отраженном свете, так как мы видим лишь то, какое действие производит на героя поступок другого. Он должен был бы за этот поступок отомстить, но странным образом не в силах это сделать. Мы знаем, что его расслабляет собственное чувство вины: в соответствии с характером невротических явлений происходит сдвиг, и чувство вины переходит в осознание своей неспособности выполнить это задание. Появляются признаки того, что герой воспринимает эту вину как сверхиндивидуальную. Он презирает других не менее, чем себя. «Если обходиться с каждым по заслугам, кто уйдет от порки?». В этом направлении роман русского писателя уходит на шаг дальше. И здесь убийство совершено другим человеком, однако человеком, связанным с убитым такими же сыновними отношениями, как и герой Дмитрий, у которого мотив сексуального соперничества откровенно признается,— совершено другим братом, которому, как интересно заметить, Достоевский передал свою собственную болезнь, якобы эпилепсию, тем самым как бы желая сделать признание, что, мол, эпилептик, невротик во мне — отцеубийца. И, вот, в речи защитника на суде — та же известная насмешка над психологией: она, мол, палка о двух концах. Завуалировано великолепно, так как стоит все это перевернуть — и находишь глубочайшую сущность восприятия



Достоевского. Заслуживает насмешки отнюдь не психология, а судебный процесс дознания. Совершенно безразлично, кто этот поступок совершил на самом деле, психология интересуется лишь тем, кто его в своем сердце желал и кто по его совершении его приветствовал, и поэтому — вплоть до контрастной фигуры Алеши — все братья равно виновны: движимый первичными позывами искатель наслаждений, полный скепсиса циник и эпилептический преступник. В «Братьях Карамазовых» есть сцена, в высшей степени характерная для Достоевского. Из разговора с Дмитрием старец постигает, что Дмитрий носит в себе готовность к отцеубийству, и бросается перед ним на колени. Это не может являться выражением восхищения, а должно означать, что святой отстраняет от себя искушение исполниться презрением к убийце или им погнушаться и поэтому перед ним смиряется. Симпатия Достоевского к преступнику действительно безгранична, она далеко выходит за пределы сострадания, на которое несчастный имеет право, она напоминает благоговение, с которым в древности относились к эпилептику и душевнобольному. Преступник для него — почти спаситель, взявший на себя вину, которую в другом случае несли бы другие. Убивать больше не надо, после того как он уже убил, но следует ему быть благодарным, иначе пришлось бы убивать самому. Это не одно лишь доброе сострадание, это отождествление на основании одинаковых импульсов к убийству, собственно говоря, лишь в минимальной степени смещенный нарциссизм. Этическая ценность этой

доброты этим не оспаривается. Может быть, это вообще механизм нашего доброго участия по отношению к другому человеку, особенно ясно проступающий в чрезвычайном случае обремененного сознания своей вины писателя. Нет сомнения, что эта симпатия по причине отождествления решительно определила выбор материала Достоевского. Но сначала он — из эгоистических побуждений — выводил обыкновенного преступника, политического и религиозного, прежде чем к концу своей жизни вернуться к первопреступнику, к отцеубийце, и сделать в его лице свое поэтическое признание.





Опубликование его посмертного наследия и дневников его жены ярко осветило один эпизод его жизни,— то время, когда Достоевский в Германии был обуреваем игорной страстью («Достоевский за рулеткой»). Явный припадок патологической страсти, который не поддается иной оценке ни с какой стороны. Не было недостатка в оправданиях этого странного и недостойного поведения. Чувство вины, как это нередко бывает у невротиков, нашло конкретную замену в обремененности долгами, и Достоевский мог отговариваться тем, что он при выигрыше получил бы возможность вернуться в Россию, избежав заключения в тюрьму кредиторами. Но это был только предлог, Достоевский был достаточно проницателен, чтобы это понять, и достаточно честен, чтобы в этом признаться. Он знал, что главным была игра сама по себе, le jeu pour le jeu[9]. Все подробности его обусловленного первичными позывами безрассудного поведения служат тому доказательством,— и еще кое-чему иному. Он не успокаивался, пока не терял всего. Игра была для него также средством самонаказания. Несчетное количество раз давал он молодой жене слово или честное слово больше не играть или не играть в этот день, и он нарушал это слово, как она рассказывает, почти всегда. Если он своими проигрышами доводил себя и ее до крайне бедственного положения, это служило для него еще одним патологическим удовлетворением. Он мог перед нею поносить и унижать себя, просить ее презирать его, раскаиваться в том, что она вышла замуж за него, старого грешника,—

и после всей этой разгрузки совести на следующий день игра начиналась снова. И молодая жена привыкла к этому циклу, так как заметила, что то, от чего в действительности только и можно было ожидать спасения — писательство,— никогда не продвигалось вперед лучше, чем после потери всего и закладывания последнего имущества. Связи всего этого она, конечно, не понимала. Когда его чувство вины было удовлетворено наказаниями, к которым он сам себя приговорил, тогда исчезала затрудненность в работе, тогда он позволял себе сделать несколько шагов на пути к успеху[10].

Рассматривая рассказ более молодого писателя, нетрудно угадать, какие давно позабытые детские переживания находят проявления в игорной страсти. У Стефана Цвейга, посвятившего, между прочим, Достоевскому один из своих очерков («Три мастера»), в сборнике «Смятение чувств» есть новелла «Двадцать четыре часа из жизни женщины». Этот маленький шедевр показывает как будто лишь то, каким безответственным существом является женщина и на какие удивительные для нее самой закононарушения ее толкает неожиданное жизненное впечатление. Но новелла эта, если подвергнуть ее психоаналитическому толкованию, говорит, однако, без такой оправдывающей тенденции гораздо больше, показывает совсем иное, общечеловеческое, или, скорее, общемужское толкование, и оно столь явно подсказано, что нет возможности его не допустить. Для сущности художественного творчества характерно, что писатель, с которым меня связывают дру-



жеские отношения, в ответ на мои расспросы утверждал, что упомянутое толкование ему чуждо и вовсе не входило в его намерения, несмотря на то что в рассказ вплетены некоторые детали, как бы рассчитанные на то, чтобы указывать на тайный след. В этой новелле великосветская пожилая дама поверяет писателю о том, что ей пришлось пережить более двадцати лет тому назад. Рано овдовевшая, мать двух сыновей, которые в ней более не нуждались, отказавшаяся от каких бы то ни было надежд, на сорок втором году жизни она попадает — во время одного из своих бесцельных путешествий — в игорный зал монакского казино, где среди всех диковин ее внимание приковывают две руки, которые с потрясающей непосредственностью и силой отражают все переживаемые несчастным игроком чувства. Руки эти — руки красивого юноши (писатель как бы безо всякого умысла делает его ровесником старшего сына наблюдающей за игрой женщины), потерявшего все и в глубочайшем отчаянии покидающего зал, чтобы в парке покончить со своею безнадежной жизнью. Неизъяснимая симпатия заставляет женщину следовать за юношей и предпринять все для его спасения. Он принимает ее за одну из многочисленных в том городе навязчивых женщин и хочет от нее отделаться, но она не покидает его и вынуждена в конце концов в силу сложившихся обстоятельств остаться в его номере отеля и разделить его постель. После этой импровизированной любовной ночи она велит казалось бы успокоившемуся юноше дать ей торжественное обещание, что он никогда больше не будет

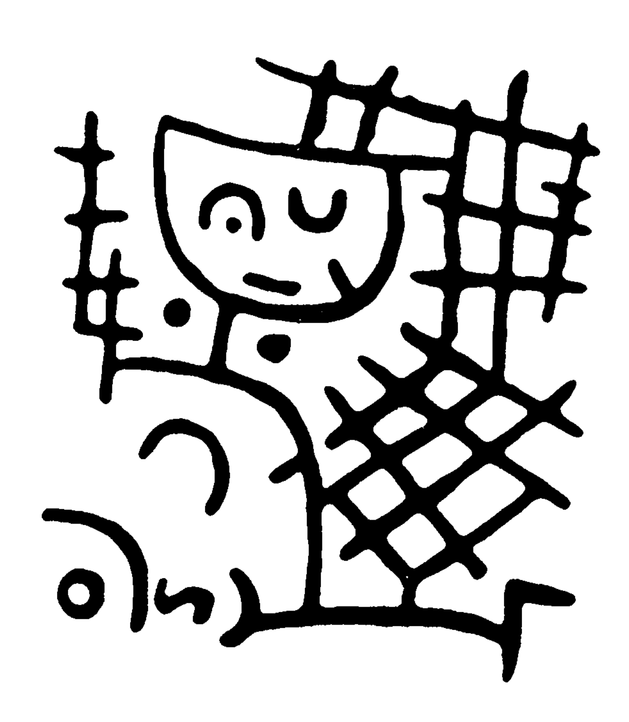
играть, снабжает его деньгами на обратный путь и со своей стороны дает обещание встретиться с ним перед уходом поезда на вокзале. Но затем в ней пробуждается большая нежность к юноше, она готова пожертвовать всем, чтобы только сохранить его для себя, и она решает отправиться с ним вместе в путешествие — вместо того, чтобы с ним проститься. Всяческие помехи задерживают ее, и она опаздывает на поезд; в тоске по исчезнувшему юноше она снова приходит в игорный дом — и с возмущением обнаруживает там те же руки, накануне возбудившие в ней такую горячую симпатию; нарушитель долга вернулся к игре. Она напоминает ему об его обещании, но, одержимый страстью, он бранит сорвавшую его игру, велит ей убираться вон и швыряет деньги, которыми она хотела его выкупить. Опозоренная, она покидает город, а впоследствии узнает, что ей не удалось спасти его от самоубийства.

Эта блестяще и без пробелов в мотивировке написанная новелла имеет, конечно, право на существование как таковая и не может не произвести на читателя большого впечатления. Однако психоанализ учит, что она возникла на основе умозрительного вожделения периода полового созревания, о каковом вожделении некоторые вспоминают совершенно сознательно. Согласно умозрительному вожделению, мать должна сама ввести юношу в половую жизнь для спасения его от заслуживающего опасения вреда онанизма. Столь частые сублимирующие художественные произведения вытекают из того же первоисточника. «Порок» онанизма замещается по-



роком игорной страсти, ударение, поставленное на страстную деятельность рук, предательски свидетельствует об этом отводе энергии. Действительно, игорная одержимость является эквивалентом старой потребности в онанизме, ни одним словом, кроме слова «игра», нельзя назвать производимые в детской манипуляции с половыми органами. Необоримость соблазна, священные и все-таки никогда не сдерживаемые клятвы никогда более этого не делать, дурманящее наслаждение и нечистая совесть, говорящая нам, что мы будто бы сами себя губим (самоубийство),— все это при замене осталось неизменным. Правда, новелла Цвейга ведется от имени матери, а не сына. Сыну должно быть лестно думать: если мать знала бы, к каким опасностям приводит онанизм, она бы, конечно, уберегла меня от них тем, что отдала бы моим ласкам свое собственное тело. Отождествление матери с девкой, производимое юношей в новелле Цвейга, является составной частью той же фантазии. Оно делает недосягаемое легко достижимым; нечистая совесть, сопровождающая эту фантазию, приводит к дурному исходу новеллы. Интересно отметить, что внешнее оформление, данное писателем новелле, как бы прикрывает ее психоаналитический смысл. Ведь весьма спорно, что любовная жизнь женщины находится во власти внезапных и загадочных импульсов. Анализ же вскрывает достаточную мотивацию удивительного поведения женщины, до тех пор отворачивавшейся от любви. Верная памяти утраченного супруга, она была вооружена против

любых притязаний, напоминающих любовные притязания мужа, однако — и в этом фантазия сына оказывается правомерной — она не может избежать совершенно неосознаваемого ею перенесения любви на сына, и в этом-то незащищенном месте ее и подстерегает судьба. Если игорная страсть и безрезультатные стремления освободиться от нее и связанные с нею поводы к самонаказанию являются повторением потребности в онанизме, нас не удивит, что она завоевала в жизни Достоевского столь большое место. Нам не встречалось ни одного случая тяжкого невроза, где бы аутоэротическое удовлетворение раннего периода и периода созревания не играло бы определенной роли, и связь между попытками его подавить и страхом перед отцом слишком известна, чтобы заслужить что-нибудь большее, чем упоминание.






СТЕФАН ЦВЕЙГ
ЗИГМУНД ФРЕЙД

Если тайная игра силы чувственного влечения кроется в тусклом свете обычных аффектов, то тем нагляднее, явственнее и огромнее проявляет она себя в состоянии бурной страсти; тонкий наблюдатель человеческой души, знающий, в какой мере можно, собственно, рассчитывать на механику обычной свободы воли и до какой степени дозволено мыслить аналогиями, извлечет из этой области немало опыта для своей науки и переработает его применительно к запросам нравственной жизни... Если бы явился, как в других областях природы, новый Линней, который бы стал классифицировать по влечениям и склонностям, как бы мы изумились...

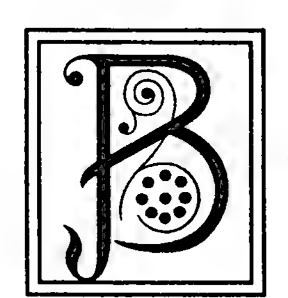
Шиллер



Положение на рубеже веков

Сколько истины может вынести дух, на какую степень истины он отваживается? Это становилось для меня все больше и больше мерилом ценности. Заблуждение (вера в идеал) — не слепота, заблуждение — трусость. Всякое достижение, всякий шаг вперед в познании вытекают из мужества, из жесткости по отношению к себе, из чистоплотности по отношению к себе.

Ницше



ернейшим мерилом всякой силы является сопротивление, которое она преодолевает. И труд Зигмунда Фрейда, труд разрушения и созидания наново, становится понятным лишь в его сопоставлении с предвоенной ситуацией в области психологии, с тогдашними взглядами — или, правильнее, с отсутствием всякого взгляда — на мир человеческих инстинктов. В наши дни фрейдовские мысли — двадцать лет назад еще богохульные и еретические — свободно обращаются в крови эпохи и языка; отчеканенные им формулы кажутся сами собой понятными; требуется, собственно говоря, большее напряжение для того, чтобы мыслить вне их, чем для того, чтобы мыслить ими. Таким

образом, именно потому, что нашему двадцатому столетию непонятно, почему это девятнадцатое так яростно противилось давно уже назревшему открытию движущих сил души, необходимо осветить установку тогдашнего поколения в вопросах психологии и потревожить в гробу смехотворную мумию предвоенной нравственности.

Презирать тогдашнюю мораль — а наша молодежь слишком жестоко за нее поплатилась, чтобы можно было не питать к ней искренней ненависти,— не значит еще отрицать самое понятие морали и ее необходимость. Всякое сообщество людей, связанное религиозными или гражданскими узами, считает себя вынужденным, ради самоутверждения, ограничивать агрессивные, сексуальные, анархические тенденции отдельных личностей, ставить им преграды и отводить их течение при помощи той плотины, которая именуется нравственным правилом или гражданским узаконением. Само собой разумеется, что каждая из этих групп создает для себя особые нормы и формы нравственности; начиная от первобытной орды и кончая веком электричества, каждое сообщество стремилось подавлять первобытные инстинкты при помощи своих, особых приемов. Жестокие цивилизации прибегали к жесткой силе: эпохи лакедемонская, древнеиудейская, кальвиновская и пуританская пытались выжечь извечный инстинкт сладострастия раскаленным железом. Но, жестокие в своих предписаниях и запрещениях, эти драконовские законы служили все какой-то логической идее. А всякая идея, всякая вера освящают до некоторой степени допущенное ради них насилие. Если Спарта требует нечеловеческой дисциплины, то лишь в интересах воспитания расы, мужественного, воинственного поколения; с точки зрения ее идеального «города», идеального общества, всякая свободно изливающаяся чувственность представляется хищением государственной мощи.

Христианство в свою очередь борется с плотскими устремлениями человека ради одухотворения, ради спасения вечно заблуждающегося человеческого рода. Именно потому, что церковь, обладающая высшею психологической мудростью, знает плотскую, адамову страстность в человеке, она насильственно противопоставляет ей как идеал страстность духовную; при помощи костров и темниц рушит она высокомерие своевольной человеческой природы, чтобы способствовать душе в обретении ее высшей, изначальной родины; жесткая логика, но все же — логика. Здесь и повсюду практика морального законодательства вытекает еще из твердого миросозерцания. Нравственность является осязаемой формой неосязаемой идеи.

Но во имя чего, ради какой идеи требует девятнадцатое столетие, с давних пор только внешне благочестивое, вообще какой-либо узаконенной нравственности? Чувственное, грубо-материалистическое и падкое до наживы, без тени религиозной воодушевленности, характерной для прежних благочестивых веков, провозглашающее начала демократии и права человеческие, оно не может даже сколько-нибудь серьезным образом оспаривать у своих граждан право на свободу чувственности. Кто начертал единожды на знамени культуры слово «терпимость», тот уже не имеет права вмешиваться в моральные воззрения индивидуума. В действительности и новейшее государство ничуть не беспокоится, как некогда церковь, о подлинном моральном усовершенствовании своих подданных; единственно закон общественности настаивает на соблюдениях внешних приличий. И не требуется, таким образом, действительной морали, подлинно нравственного поведения, требуется только видимость морали, порядок, когда каждый на глазах у каждого поступает «словно бы». А в какой мере отдельный человек ведет себя в дальнейшем действительно нравственно, остается его частным делом; он не должен

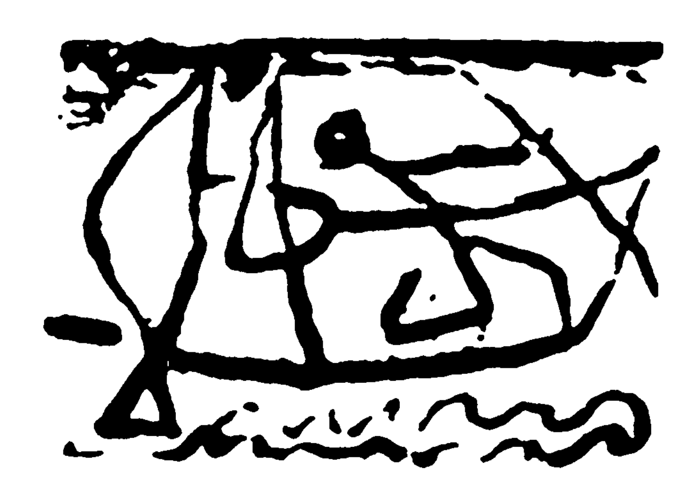
только дать себя застигнуть врасплох при нарушении благопристойности. Может случиться всякое, и даже многое может случиться, но все это не должно вызывать никаких толков. Можно, следовательно, в строгом смысле выразиться так: нравственность девятнадцатого столетия вовсе не касается существа проблемы. Она от этой проблемы уклоняется и все свои усилия сосредоточивает на ее обходе. Единственно благодаря безрассудной посылке: «если что-либо прикрыть как следует, то оно не существует» — мораль нашей цивилизации в трех или четырех поколениях противостала всем нравственным и сексуальным проблемам или, вернее, уклонилась от них. И жестокая шутка нагляднее всего уясняет действительное положение: не Кант дал направление нравственности девятнадцатого века, а «cant»[1].

Но как могла такая трезвая, такая рассудочная эпоха запутаться в дебрях столь нежизненной и несостоятельной психологии? Как случилось, что век великих открытий, век технических достижений снизошел в своей морали до столь откровенного фокусничества? Ответ простой: именно в силу того, что он возгордился своим разумом, в силу высокомерия своей культуры, в силу избыточно оптимистического отношения к цивилизации. Благодаря неожиданным успехам науки девятнадцатое столетие подпало какому-то рассудочному головокружению. Все, казалось, рабски покоряется власти интеллекта. Каждый день, каждый час мировой истории приносили известия о новых завоеваниях научного духа; укрощались все новые и новые, непокорные дотоле стихии земного пространства и времени; высоты и бездны раскрывали свои тайны планомерно испытующему любопытству вооруженного взора человеческого; повсюду анархия уступала место организации, хаос — воле расчетливого рассудка. Почему бы при этих условиях не взять было верх земному разуму над анархическими инстинктами в крови человека, не поставить на место

разнузданные первобытные влечения? Ведь вся главнейшая работа в этой области давно уже проделана, и если время от времени и вспыхивает еще что-то в крови современного, «образованного» человека, то это всего только бледные, немощные зарницы оттремевшей грозы, последние содрогания старого умирающего зверя. Еще два-три года, еще два-три десятка лет, и то человечество, которое столь величаво возвысилось от каннибализма к гуманности, к социальному чувству, очистится пламенем своей этики и освободится и от этих остаточных, тусклых шлаков; поэтому нет никакой надобности даже вспоминать вообще об их существовании. Только не привлекать внимания людей на область пола, и они забудут. Только не дразнить разговорами, не пичкать вопросами древнего, посаженного за железную решетку нравственности зверя, и уж он станет ручным. Только проходить побыстрее, отвратив взоры, мимо всего щекотливого, поступать так, как будто ничего нет,— вот и весь кодекс нравственности девятнадцатого столетия.

В этот планомерный поход против искренности государство мобилизует согласованным порядком все зависящие от него силы. Все — искусство и наука, мораль, семья, церковь, низшая школа и университет — все получают одинаковую инструкцию относительно ведения войны: уклоняться от всякой схватки, не приближаться к противнику, но обходить его на далеком расстоянии, ни в каком случае не вступать в настоящую дискуссию. Бороться отнюдь не при помощи аргументов, но молчанием, только бойкотировать и игнорировать. И, чудесным образом послушные этой тактике, все духовные силы культуры, рабски ей преданные, отважно проделали лицемерный церемониал обхода проблемы. В продолжение целого столетия половой вопрос находился в Европе под карантином. Он не отрицается и не утверждается, не ставится и не разрешается, он потихоньку

отставляется за ширмы. Организуется громадная армия надсмотрщиков, одетых в форму учителей, воспитателей, пасторов, цензоров и гувернанток, чтобы оградить юношество от всякой непосредственности и плотской радости. Ни одно дуновение свежего воздуха не должно коснуться их тела, никакой разговор, никакое разъяснение не должны потревожить их душевного целомудрия. И, в то время как раньше и повсюду, у всякого здорового народа, во всякую нормальную эпоху достигший зрелости отрок вступает в возраст возмужалости как на праздник, в то время как в греческой, римской, иудейской цивилизациях и даже у всех нецивилизованных народов тринадцатилетний или четырнадцатилетний отрок открыто принимается в сообщество познавших жизнь — мужчина в ряду мужчин, воин в ряду воинов,— убогая педагогика девятнадцатого века, искусственным и противоестественным образом, преграждает ему доступы ко всякой искренности. Никто не говорит свободно в его присутствии и таким путем не освобождает его. То, что ему известно, он может знать только по уличным разговорам или из пересказа товарища постарше, шепотом, на ухо. И так как каждый в свою очередь решается передавать дальше эту натуральнейшую из наук опять-таки только шепотом, то всякий подрастающий, сам того не сознавая, служит в качестве пособника этому культурному лицемерию.



Следствием такого, целое столетие упорно длящегося заговора — прятать свое *Я* и его замалчивать — является беспримерно низкий уровень психологической науки наряду с чрезвычайно высокой культурой интеллекта. Ибо как могло бы развиться глубокое понимание душевных явлений без искренности и честности, как могла бы распространиться ясность, когда как раз те, кто призваны сообщать знание — учителя, пасторы, художники и ученые,— сами являются лицемерами от культуры или неучами? А невежественность всегда влечет за собою жестокость. И вот насылается на юношество безжалостное в силу своего непонимания поколение педагогов, причиняющее непоправимый вред детским душам вечными своими приказами быть «моральными» и «владеть собою». Мальчики-подростки, прибегающие под гнетом полового созревания и в силу незнакомства с женщиной к единственно возможному для них способу облегчения своего физического состояния, получают от этих «просвещенных» менторов мудрые, но опасно ранящие душу указания, что они предаются ужасному, разрушительно действующему на здоровье «пороку»; таким образом, их насильственно отягощают чувством неполноценности, мистическим сознанием вины. Студенты в университете (я сам еще пережил это) получают от того сорта профессоров, которых любили в те времена обозначать эффектным словом «прирожденные педагоги», памятные записки, из которых они узнают, что всякое половое заболевание, без исключения, «неизлечимо». Из таких орудий тогдашняя неистовая мораль ничуть не задумываясь палит по человеческим нервам. Таким мужицким, железом подкованным сапогом топчет педагогическая этика душевный мир подростка. Неудивительно, что благодаря этому планомерному насаждению чувства страха в нестойких еще душах что ни миг грохочет револьвер, неудивительно, что в результате этих насильственных оттеснений

колеблется внутреннее равновесие несчетного числа людей и создается целыми сериями тип неврастеника, всю жизнь влачащего в себе свои отроческие страхи в форме неизжитых задержек. Беспомощно блуждают тысячи таких пришибленных моралью лицемерия от одного врача к другому. Но так как в то время медики не умеют еще прощупать болезнь в ее корне, а именно в области пола, и психологическая наука дофрейдовской эпохи, в силу этической благовоспитанности, не решается проникать в эти таинственные, обреченные на замалчивание зоны, то и неврологи оказываются в полной мере беспомощными перед лицом таких пограничных состояний. С чувством неловкости направляют они этих душевно расстроенных в водолечебницы как еще не созревших для клиники или сумасшедшего дома. Пичкают их бромом, обрабатывают им кожу электровибрацией, но никто не решается доискиваться подлинных причин.

Еще больнее ранит это непонимание людей, ненормально предрасположенных. Заклейменные наукой как этически неполноценные, как отягченные наследственностью, трактуемые государством как преступники, влачат они за собою свою тайну, как незримое иго, всю жизнь под постоянной угрозою вымогательства и тюрьмы. Ни у кого не находят они ни помощи, ни совета. Ибо если бы в дофрейдовские времена предрасположенный к гомосексуализму обратился к врачу, то господин медицинский советник возмущенно насупил бы брови по поводу того, что пациент дерзает лезть к нему с таким «свинством». Такого рода интимности не подходят для приемного кабинета. Куда же они подходят? Куда подходит человек с расстроенным жизнеощущением, человек, идущий неверным путем? Какая дверь раскроется перед миллионами этих людей, ждущих помощи и облегчения? Университеты уклоняются, судьи цепляются за статьи законов, философы (за исключением одного лишь отваж-

ного Шопенгауэра) предпочитают вовсе не замечать наличия в их благоустроенном мире этой формы эротического отклонения, которую, однако, безусловно понимали прежние культуры, общественность судорожно прикрывает глаза и объявляет все щекотливое не подлежащим обсуждению. Только ни слова об этом в газетах, в литературе, никаких научных дискуссий: полиция осведомлена, и этого достаточно. А то обстоятельство, что в непроницаемой оболочке этого тайнодействия задыхаются сотни тысяч замурованных, столь же известно, сколь и безразлично высоконравственному и высокотерпимому веку, важно только, чтобы ни один звук не вырвался наружу, чтобы сохранился нерушимым ореол святости, созданный для себя этой культурой, самой нравственной из культур. Ибо видимость моральности важнее для этой эпохи, чем суть человеческого существования.

Целое столетие, ужасающе длинное столетие владеет Европой этот малодушный заговор «нравственного» молчания. И вдруг это молчание нарушает один, единичный голос. Не помышляя о каком-либо перевороте, поднимается однажды с места молодой врач в кругу своих коллег и, исходя из своих исследований относительно сущности истерии, заводит речь о расстройствах и задержках наших инстинктов и о возможностях их высвобождения. Он обходится без всяких патетических жестов, он не заявляет возбужденно, что настала пора утвердить мораль на новых основаниях и подвергнуть свободному обсуждению вопросы пола, нет, этот молодой, строго деловитый врач отнюдь не изображает проповедника новой культуры в академической среде. Он в своем докладе интересуется исключительно диагностикой психозов и их обусловленностью. Но та непринужденная уверенность, с которой он устанавливает, что многие неврозы и, собственно говоря, даже все имеют источником подавленные сексуальные влечения, вызывает смертный ужас в кругу коллег. Не то чтобы



они признавали такую этиологию ложной, наоборот, большинство из них давно уже чует это или это наблюдало; все они, частным образом, сознают важное значение половой сферы для общей конституции человека. Но все же, связанные чувством эпохи, покорные той морали, которая принята цивилизацией, они чувствуют себя до такой степени задетыми этим откровенным указанием на ясный как день факт, словно бы этот диагностический выпад сам по себе явился неприличным жестом. Они переглядываются смущенно: разве этому юному доценту неведомо неписаное соглашение, в силу которого о таких щекотливых вещах не говорят, по крайней мере в открытом заседании высокопочтенного «Общества врачей»? По части сексуальности — это бы должен знать и соблюдать новичок — устанавливается взаимное понимание между коллегами при помощи дружеского подмигивания, на эту тему шутят за карточным столом, но ведь не преподносят же таких тезисов в девятнадцатом столетии, в столь культурный век, академической коллегии. Уже первое официальное выступление Зигмунда Фрейда — а сцена эта действительно имела место — производит в кругу его товарищей по факультету впечатление выстрела в церкви. И наиболее благожелательные из его коллег тотчас же дают ему понять, что он, уж ради своей академической карьеры, поступил бы правильнее, если бы в будущем отказался от столь щекотливых и нечистоплотных исследований. Это ни к чему не ведет, по крайней мере ни к чему такому, что могло бы быть предметом открытого обсуждения.



Но Фрейда интересуют не приличия, а истина. Он напал на след и идет по нему. И как раз раздражение, им вызванное, служит ему указанием, что он бессознательно дотронулся до больного места, что первое же прикосновение привело его вплотную к нервному узлу всей проблемы. Он держится цепко. Он не дает себя запугать ни старшим, великодушно-благожелательным коллегам, его предостерегающим, ни оскорбленной морали, сетующей на него и не привыкшей к столь резким прикосновениям.

С тем упорным бесстрашием, с тем чисто человеческим мужеством и с той интуитивной мощью, которые в своей совокупности образуют его гений, он не перестает нажимать как раз на самое чувствительное место, все крепче и крепче, пока наконец нарыв молчания не лопается и не вскрывается рана, которую можно теперь начать лечить. В этом первом своем продвижении в область неведомого молодой врач не подозревает, как много обретет он в окружающей его тьме. Он только чувствует глубину, а глубина всегда магнетически влечет всякий творческий дух.

То обстоятельство, что первая же встреча Фрейда с современным ему поколением превратилась, при всей незначительности повода, в столкновение, является символом, а отнюдь не случайностью. Ибо здесь оказываются задетыми единичной теорией не просто оскорбленная стыдливость и вошедшая в привычку горделивая мораль; нет, здесь отживший метод замалчивания сразу же чует с нервной проницательностью, неизменно сопутствующей опасности, действительного противника. Не как касается Фрейд этой сферы, а то, что он вообще ее касается и смеет касаться, является поводом к войне не на жизнь, а на смерть. Ибо здесь с первого же мгновения речь идет не об улучшениях, а о совершенно обратной установке. Не о частных, а об основных положениях. Не о единичных явлениях, а обо всем



в целом. Лицом к лицу сталкиваются друг с другом две формы мышления, два метода, столь диаметрально противоположные, что между ними нет и не может быть взаимного понимания. Старая, дофрейдовская психология, всецело покоившаяся на идее о первенстве мозга над кровью, требует от отдельного, от образованного и цивилизованного человека, чтобы он разумом подавлял свои инстинкты. Фрейд отвечает грубо и ясно: инстинкты вообще не дают подавлять себя, и крайне поверхностным является взгляд, что, будучи подавлены, они куда-то исчезают. В лучшем случае можно оттеснить их из сознательного в бессознательное. Но тогда они скопляются, утесненные, в этой области души и своим непрестанным брожением порождают нервное беспокойство, расстройства, болезнь. Полностью чуждый иллюзий и веры в прогресс, решительный и радикальный в своих суждениях, Фрейд устанавливает незыблемо, что игнорируемые моралью силы либидо составляют неотъемлемую часть человека, наново рождающуюся с каждым новым эмбрионом, что они являются стихией, которую ни в каком случае нельзя устранить и, самое большее, можно переключить на безопасную для человека работу путем перенесения их в сознание. Таким образом, Фрейд рассматривает как нечто благотворное как раз то, что этика старого общества объявила коренной опасностью, а именно процесс осознания; и то, что это общество признавало благотворным — подавление инстинктов,— он именует опасным. Там, где старый метод практиковал прикрытие, он требует раскрытия. Вместо игнорирования — идентификации. Вместо обхода — прямого пути. Вместо отвода глаз — проникновения вглубь. Вместо вуалирования — обнаженности. Инстинкты может укротить лишь тот, кто познал их; взять верх над демонами — лишь тот, кто извлечет их из глубинного их обиталища и смело посмотрит им в глаза. Медицине столь же мало

дела до морали и стыдливости, как до эстетики и филологии; ее важнейшая задача — заставить заговорить то таинственное, что есть в человеке, а не обрекать на молчание. Ничуть не считаясь с тенденциями девятнадцатого века к набрасыванию покровов, Фрейд в резкой форме ставит перед своими современниками проблему самопознания и осознания всего вытесненного и неосознанного. И тем самым он приступает к целению не только несчетного числа отдельных лиц, но и всей морально нездоровой эпохи путем выявления ее основного, подавленного конфликта и перенесения его из области лицемерия в область науки.

Этот новый, навстречу жизни идущий метод Фрейда не только изменил взгляд на психику индивидуума, но дал другое направление всем основным вопросам культуры и ее генеалогии. И поэтому грубо недооценивает и крайне поверхностно судит тот, кто рассматривает, все еще с точки зрения 1890 года, заслугу Фрейда как чисто терапевтическое достижение, ибо в данном случае он сознательно или бессознательно смешивает исходную точку с конечной целью. То обстоятельство, что Фрейд случайным образом пробил брешь в китайской стене старой психологии именно с ее медицинской стороны, исторически, правда, важно, но не важно для его подвига. Ибо решающим для творческого ума является не то, откуда он исходит, но единственно — в каком направлении и как далеко он продвинулся. Фрейд исходит из медицины не в большей степени, чем Паскаль из математики и Ницше из древнеклассической филологии. Несомненно, этот источник сообщает его работам известную окраску, но не определяет и не ограничивает их ценности. И как раз сейчас, на семьдесят пятом году его жизни, уместно подчеркнуть, что его труды и их ценность давно уже не зависят от второстепенного вопроса о том, большее или меньшее число невротиков вылечится

ежегодно посредством психоанализа, а также от правильности отдельных пунктов и положений его вероучения. «Замещено» ли либидо сексуально или нет, заслуживают или не заслуживают канонизации комплекс кастрации, нарциссическая установка и не знаю еще какие из формулированных им тезисов — все это давно стало предметом богословских споров приват-доцентов и не имеет никакого касательства к непреходящему культурно-историческому факту открытия им душевной динамики и новой технической постановке вопроса. В данном случае одаренный творческим прозрением человек преобразовал всю внутреннюю нашу сферу, и то обстоятельство, что здесь действительно речь шла о перевороте, что его «садизм правдивости» вызвал революцию в воззрении мира на вопросы психики,— эту опасную сторону его учения (опасную именно для них) постигли первыми как раз представители отмирающего поколения; тотчас же все они, иллюзионисты, оптимисты, идеалисты, поборники стыдливости и доброй старой морали, со страхом отметили: тут взялся за дело человек, который проходит сквозь все запреты, которого не запугаешь никакими «табу», не смутишь никаким противоречием,— человек, у которого поистине нет ничего «святого». Они почувствовали инстинктивно, что непосредственно вслед за Ницше, за антихристом, явился в лице Фрейда второй великий разрушитель древних скрижалей, антииллюзионист, человек, который своим беспощадным рентгеновским взором проникает сквозь все прикрытия, который в либидо прозревает sexus, в невинном ребенке — первобытного человека, в кругу мирной семьи — грозовую напряженность взаимоотношений отца и сына и в самых невинных снах — бурную игру крови. С первого же мгновения их мучит жуткое предчувствие: не проникнет ли, со своим жестоким зондом, еще дальше этот человек, ничего, кроме смутных вожделений, не видящий в их величайших

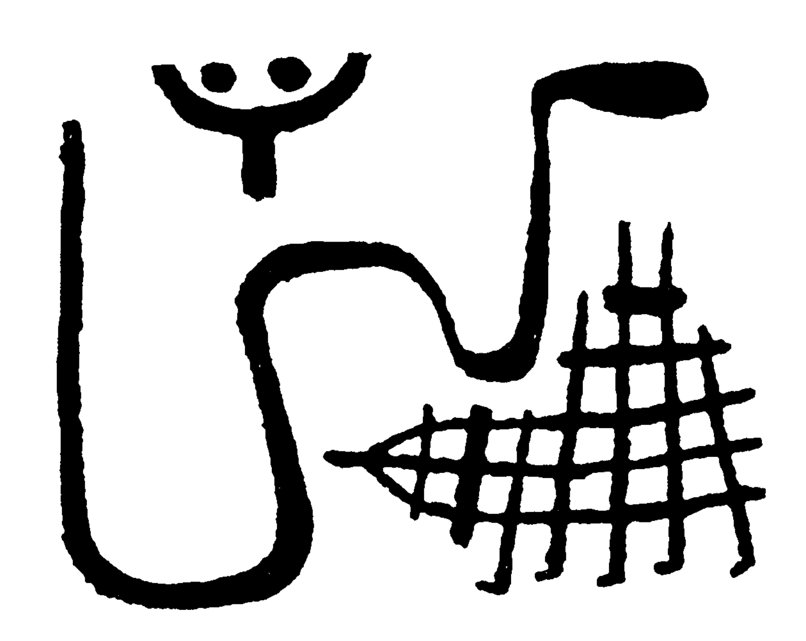
святынях — в культуре, цивилизации, гуманности, морали и прогрессе. Не обратится ли этот иконоборец со своей бесстыдной аналитической техникой от отдельной души в конце концов и к душе массовой? Не дойдет ли он до того, что станет постукивать своим молотком по фундаменту государственной морали и по налаженным с таким трудом комплексам семейственности? Не разложит ли он своими ужасающе-едкими кислотами патриотическое чувство и, может быть, даже религиозное? И действительно, инстинкт отмирающего довоенного мира не обманулся: безотчетное мужество, духовная неустрашимость Фрейда нигде и ни перед чем не остановились. Равнодушный к возражениям и к зависти, к шуму и замалчиванию, он с рассчитанным и непоколебимым терпением ремесленника работал над усовершенствованием своего Архимедова рычага, пока не оказался в состоянии пустить его в ход против вселенной. На семидесятом году своей жизни Фрейд проделал и это — попытался применить свой испытанный на индивидууме метод по отношению ко всему человечеству и даже к Богу. У него достало мужества идти вперед и вперед, вплоть до последнего nihil, по ту сторону всяческих иллюзий, в величавую беспредельность, где нет уж ни веры, ни надежд, ни сновидений — даже сновидений о небе или о смысле и цели человеческого существования.

Зигмунд Фрейд — великий подвиг одного, отдельного человека! — сделал человечество более сознательным; я говорю более сознательным, а не более счастливым. Он углубил картину мира для целого поколения; я говорю углубил, а не украсил. Ибо радикальное никогда не дает счастья, оно несет с собой только определенность. Но в задачу науки не входит убаюкивать вечно младенческое человеческое сердце все новыми и новыми грезами; ее назначение в том, чтобы научать людей ходить по жесткой нашей земле прямо

и с поднятой головой. В неустанной работе своей жизни Фрейд явил прообраз этой идеи; в его научных трудах его твердость превратилась в силу, строгость — в непреклонный закон. Ни разу не указал Фрейд человечеству, утешения ради, выхода в уют, в эдемы земные или небесные, а всегда только путь к самим себе, опасный путь в собственные свои глубины. Его прозрение было чуждо снисхождения; его мышление ни на йоту не сделало жизнь человека легче. Ворвавшись подобно резкому и режущему северному ветру в душную атмосферу человеческой психики, он разогнал немало золотых туманов и розовых облаков чувствительности, но горизонт очистился, и область духа прояснилась. Иными глазами, свободнее, сознательнее и пристальнее, глядится новое поколение благодаря Фрейду в свою эпоху. Тем, что опасный психоз лицемерия, целое столетие терроризировавший европейскую мораль, рассеялся без остатка, что мы научились без ложного стыда вглядываться в свою жизнь, что такие слова, как «порок» и «вина», вызывают в нас трепет негодования, что судьи, знакомые с мощью человеческих инстинктов, иной раз задумываются над приговорами, что учителя в наши дни принимают естественное как естественное, а семья отвечает на искренность искренностью, что в системе нравственности все большее и большее место начинает занимать откровенность, а в среде юношества — товарищеские отношения, что женщины более непринужденно считаются со своей волей и с правами своего пола, что мы научились уважать индивидуальную ценность каждого существования и творчески воспринимать тайну нашего собственного существа,— всеми этими элементами более совершенного и более нравственного развития мы и новый наш мир обязаны в первую очередь этому человеку, имевшему мужество знать то, что он знал, и притом еще троекратное мужество навязывать это свое знание

негодующей и трусливо отвергающей его морали. Некоторые отдельные элементы его системы могут казаться спорными, но что значит «отдельное»! Идеи живы столь же их приятием, сколь и встречаемым ими противодействием, творческий труд — столь же любовью, сколь и ненавистью, им возбуждаемой. Претворение в жизнь — вот что единственно означает решающую победу идеи, единственную победу, которую мы готовы еще чтить. Ибо в наше время пошатнувшегося права ничто не поднимает так веру в мощь духовного начала, как пережитый живой пример — пример того, как один-единственный человек проявляет, в своей правдивости, мужество, достаточное для того, чтобы повысить меру правдивости во всей вселенной.



Зарисовка

Откровенность — источник всяческой гениальности.

Бернс

Строгая дверь одного из венских больших домов вот уже полвека скрывает частную жизнь Зигмунда Фрейда; хочется даже сказать, что у него никакой частной жизни и не было, в столь скромной отдаленности проходит его личное существование. Семьдесят лет в том же городе, более сорока лет в том же доме. А дома прием больных в том же самом кабинете, чтение в том же кресле, литературная работа за тем же письменным столом. Pater familias из шести человек детей, лично без всяких потребностей, не знающий иных увлечений, кроме увлечения своим призванием и своей призванностью. Ни секунды размеренного и вместе с тем щедро расточаемого времени на тщеславный показ своей личности, на титулы и отличия; ни малейшего, по-агитаторски, выпячивания себя самого, как творца, на первый план, помимо своего творчества; у этого человека жизненный ритм подчиняется, полностью и единственно, безостановочному, терпеливо и равномерно протекающему ритму работы. Каждая неделя из нескольких тысяч недель его семидесятипятилетней жизни замыкает тот же одинаковый круг его деятельности; каждый день — как двойник другого дня: в его академическом распорядке времени раз в неделю лекция в университете, раз в неделю, по средам, духовное пиршество в кругу учеников, по примеру Сократа, раз, по субботам, после обеда, карты,— а в остальное время, с утра до вечера, вернее далеко за полночь, всякая минута целиком уходит на анализ, лечение, разработку тех или иных вопросов, чтение и научное оформление. Этот неумолимый календарь не знает пустой странички; на протяжении полустолетия напряженный день Фрейда заполнен

час за часом исключительно умственным трудом. Непрестанная деятельность столь же естественно присуща этому работающему с точностью мотора мозгу, как регулирующее кровь биение — сердцу; работа является для Фрейда не вытекающим из веления воли действием, а естественной, постоянной и безостановочной функцией. Но именно эта безостановочность его бодрствующего ума и является самым поразительным в его духовном облике, норма воплощается в данном случае в жизнь. Сорок лет подряд Фрейд проделывает восемь, девять, десять, даже одиннадцать анализов в день; иначе говоря, девять, десять, одиннадцать раз сосредоточивается он по целому часу, с крайним напряжением, можно сказать, с трепетом, на чужой личности, подстерегает и взвешивает каждое слово; и в то же время его память, никогда ему не изменяющая, сопоставляет данные этого анализа с результатами всех предыдущих. Он, таким образом, полностью сживается с этой чужой личностью, в то же время наблюдая ее извне как психодиагност. И в один миг он должен по истечении часа переселиться из этого своего пациента в другого, следующего, восемь, девять раз в день и, таким образом, хранить в себе обособленно, без всяких записей и мнемонических приемов, сотни судеб, наблюдая каждую в тончайших ее ответвлениях. Такая рабочая установка с постоянным переключением внимания требует духовной настороженности, готовности душевной и нервного напряжения, которых не хватило бы у другого и на два-три часа. Но поразительная жизненность Фрейда, его духовная мощь не знают усталости и упадка. Как только кончена аналитическая работа, девяти-десятичасовое служение человеку, начинается творческое оформление результатов, та работа, которую мир считает его единственной. И весь этот гигантский, безостановочный труд, практически касающийся тысяч людей и передающийся затем миллионам, осуществляется

полстолетия без помощников, без секретаря, без ассистентов; каждое письмо написано собственноручно, каждое исследование единолично доведено до конца, каждая работа единолично оформлена. Единственно эта грандиозная равномерность творческой мощи свидетельствует о наличии где-то за будничной гладью существования истинно демонического начала. Это нормальная на первый взгляд жизнь проявляет свою единственность и ни с чем не сравнимое своеобразие лишь в области творчества.

Столь точный рабочий аппарат, никогда не изменяющий, десятилетиями не портящийся и не отказывающийся служить, мыслим только при безукоризненном материале. Как у Генделя, у Рубенса и у Бальзака, столь же непрестанно творящих, духовный преизбыток имеет у Фрейда источником в корне здоровую натуру. Этот великий врач никогда не болел сколько-нибудь серьезно до семидесяти лет, этот тончайший наблюдатель игры человеческих нервов никогда не страдал нервами, этот проникновенный знаток ненормальной психики, этот прошумевший сексуалист был на протяжении всей своей жизни до жути прямолинеен и здоров во всем, что касалось его личных переживаний. По собственному опыту этот человек не знаком даже с самыми обыкновенными, самыми будничными помехами в умственной работе; он почти не знает головной боли и усталости. В течение нескольких десятков лет Фрейду ни разу не пришлось обратиться за помощью к товарищу по врачебной профессии, не пришлось ни разу отказать больному по нездоровью; лишь в патриархальном возрасте коварная болезнь пытается сломить это прямотаки поликратовское[2] здоровье. Но тщетно! Не успела еще зажить рана, а уж прежняя дееспособность возвращается, ни в какой степени не умаленная. Здоровье для Фрейда равносильно дыханию, бодрствование духа — работе, творчество — жизни. И подобно тому,

как напряженна и полна его дневная работа, совершенен и ночной отдых этого из стали откованного тела. Короткий, но крепкий, отрешенный от всего постороннего сон восстанавливает что ни утро творческие силы его духа, столь величественно нормального и вместе с тем столь величаво необычного. Когда Фрейд спит, он спит очень крепко, а когда бодрствует, то его дух бодр неслыханно.

Этой уравновешенности внутренних сил не противоречит и внешний образ. И здесь полнейшая пропорциональность всех черт, до конца гармоническое сочетание. Не слишком высокий и не слишком низкий рост, не слишком плотное, но и не слабое сложение. Годами отчаиваются карикатуристы по поводу его лица, ибо в этом безукоризненно правильном овале не найти никакого указания для игры художественного преувеличения. Тщетно стали бы мы рассматривать один за другим его портреты поры молодости, чтобы подглядеть какую-нибудь преобладающую линию, что-либо по существу характеризующее. Черты лица тридцатилетнего, сорока- и пятидесятилетнего Фрейда говорят только одно: красивый мужчина, мужественный человек с правильными, пожалуй, чересчур уж правильными чертами лица. Правда, сосредоточенный взор темных глаз вызывает представление о духовности, но при всём желании в этих поблекших фотографиях не откроешь больше того, что наблюдаем мы в излюбленных Ленбахом[3] и Макартом[4] портретах — обрамленное выхоленной бородой лицо врача, идеально мужественного склада, смуглое, мягкое, серьезное, но в конечном счете мало изъясняющее. Уже думаешь, что придется отказаться от какой бы то ни было попытки выявить характерное в этом замкнувшемся в своей гармонии лице. И тогда вдруг начинают говорить последние портреты. Лишь старость, обычно смывающая у большинства людей основные черты индивидуальности и размельчающая их в тусклую глину, лишь па-

триархальный возраст приступают к Фрейду с резцом художника; лишь болезнь и преклонные годы непреложно изваивают физиономию из лица как такового. С тех пор как волосы поседели и борода, когда-то темная, не оттеняет так округло жесткого подбородка и резко сомкнутого рта, с тех пор как выступает наружу костисто-пластическое строение нижней части лица, обнаруживается нечто жесткое, агрессивное, обнаруживается неумолимость, чуть ли не неприязненность его волевого начала. Его взор, прежде взор простого наблюдателя, впивается теперь глубже, сумрачнее, упорнее, неотступнее, горькая складка недоверия прорезает, словно шрам от раны, его открытый, в морщинах лоб. И напряженно, как бы отклоняя: «Нет!»— или: «Неправда!»— смыкаются узкие губы. Впервые ощущаешь в этом лице упорство и строгость фрейдовской натуры; ощущаешь: нет, это не good grey old man[5], ставший к старости кротким и обходительным, но твердый, неумолимый исследователь, который не дается в обман и никогда не согласен обманываться. Человек, которому побоишься солгать, потому что он своим насторожившимся, как бы из темноты нацелившимся взором стрелка следит за каждой попыткой уклониться и заранее видит каждый потайной уголок; лицо, может быть, скорее гнетущее, чем сулящее облегчение, но великолепным образом оживленное напряжением проникновенности, лицо не простого наблюдателя, а беспощадного провидца.

Следует отказаться от всяких льстивых попыток отрицать этот налет ветхозаветной суровости, эту жесткую непримиримость, которые светятся почти угрожающе во взгляде старого борца. Ибо если бы не было у Фрейда этой остроотточенной, открыто и беспощадно выступающей решимости, то вместе с нею не стало бы и лучшего, самого решающего, что есть в его подвиге. Если Ницше философствовал ударами молота, то Фрейд всю жизнь оперировал скальпелем;

такие инструменты не созданы для руки мягкой и податливой. Условности, церемонии, жалость и снисходительность были бы ни в какой мере несовместимы с радикальными формами мышления, свойственными его творческой природе; ее смысл и назначение были исключительно в выявлении крайностей, а не в их смягчении. Воинственная решимость Фрейда признает только «за» или «против», только «да» или «нет», никаких «с одной стороны» и «с другой стороны», «между тем» и «может быть». Там, где речь идет об истине, Фрейд ни с чем не считается, ни перед чем не останавливается, не мирится и не прощает; как Иегова, он отпустит вину скорее отступнику, чем наполовину усомнившемуся. Полувероятности не имеют для него цены, его влечет только чистая, стопроцентная истина. Всякая расплывчатость, как в личных отношениях одного человека к другому, так и в форме высокопарных туманностей человеческой мысли, именуемых иллюзиями, вызывает в нем неистовое и почти ожесточенное желание отделиться, отмежеваться, распоряжаться самостоятельно до конца: взор его во что бы то ни стало должен созерцать всякое явление во всей остроте непреломленного света. Но эта ясность видения, мышления и созидания не означает для Фрейда какой-либо напряженности, какого-либо волевого акта; анализировать — это неизменно ему присущее, это врожденное и неистребимое влечение его натуры. Там, где Фрейд сразу же и до конца не понимает, он уже не договорится о понимании; там, где он не видит ясно сам по себе, никто ничего ему не разъяснит. Его взор, как и ум его, самовластен и непримирим; и как раз в военных действиях, в одинокой борьбе с подавляющими силами противника выявляется полностью агрессивность его мышления, природой выкованного наподобие остро режущей стали.

Но жесткий, строгий и неумолимый к другим, Фрейд проявляет те же жесткость и недоверие к самому себе. Привыкший к тому, чтобы угадывать самую замаскированную неоткровенность другого человека в тайных дебрях его бессознательного, открывать за одним пластом другой, более глубокий, за каждой истиной — другую, еще более достоверную, за каждым признанием — другое, еще более искреннее, проявляет он и по отношению к себе ту же бдительность контроля. Поэтому столь часто употребляемое выражение «отважный мыслитель» кажется мне, в отношении Фрейда, не слишком удачным. Идеи Фрейда не имеют ничего общего с импровизацией и едва ли обязаны многим интуиции. Чуждый в своих формулировках легкомыслия и поспешности, он часто целые годы колеблется, прежде чем открыто высказать как утверждение какое-либо свое предположение; его конструктивному гению совершенно не свойственны игра мысли и скороспелые построения. Опускаясь в глубины не иначе как ступенька за ступенькой, осторожный и отнюдь не восторженный, Фрейд первым замечает всякое шаткое положение; несчетное число раз встречаются в его сочинениях такие указания, как: «Возможно, это только гипотеза» или «Я знаю, что в этом отношении мало могу сказать нового». Истинное мужество Фрейда начинается позже, когда появляется уверенность. Только после того как этот беспощадный разрушитель всяческих иллюзий убедит до конца самого себя и поборет свои собственные сомнения, излагает он свою систему, уверенный в том, что не прибавит к мировым иллюзиям еще одну грезу. Но как только он постиг и открыто признал какую-либо идею, она входит ему в плоть и кровь, становится органической частью его жизненного существования, и никакой Шейлок[6] не в состоянии вырезать из его живого тела хоть частицу ее.

Это твердое отстаивание своих взглядов противники Фрейда с раздражением именуют догматизмом; порой даже его сторонники жалуются на это, громко или тихомолком. Но эта категоричность Фрейда неотделима характерологически от его природы; она вытекает не из волевой установки, а из своеобразного, особого устройства его глаза. Когда Фрейд рассматривает что-либо творчески, он глядит так, как будто этого предмета никто до него не наблюдал. Когда он думает, он забывает все, что думали об этом до него другие. Он видит свою проблему так, как должен ее видеть по необходимости, по природе; и в каком бы месте он ни раскрыл Сивиллину книгу души человеческой[7], ему раскрывается новая страница; и прежде чем его мышление критически к ней отнесется, глаз его почерпнул все, что нужно. Можно поучать людей относительно ошибочности их мнения, но нельзя внушить того же глазу в отношении творческого его взора: видение находится по ту сторону всякой внушаемости, так же, как творчество — по ту сторону воли. А что же именуем мы истинным творчеством, как не способность взглянуть на издревле установившееся так, как будто никогда не озаряло его сияние земного ока, высказать наново и в девственной форме то, что высказывалось уже тысячекратно, и притом так, словно бы никогда уста человеческие этого не произносили. Эта магия интуитивного прозрения, не поддаваясь выучке, не терпит и никаких наущений; упорство гения в отстаивании однажды и навсегда им увиденного — это не упрямство, а глубокая необходимость.

Поэтому и Фрейд никогда не пытается уговорить своего читателя, своего слушателя относительно правильности своих взглядов, не пытается заговорить его, его убедить. Он только излагает свои взгляды. Его безусловная честность не позволяет ему «подавать» даже самые важные для него мысли в поэтически-внушающей форме и таким

образом делать, при помощи примиряющих оборотов, некоторые жесткие и горькие блюда более приемлемыми для чувствительных умов. По сравнению с головокружительной прозой Ницше, рассыпающеюся самыми отчаянными фейерверками искусства и художества, его проза кажется на первый взгляд трезвой, холодной и бесцветной. Фрейдовская проза не агитирует, не вербует приверженцев; она полностью отказывается от всякой поэтической подмалевки, от всякого музыкального ритма (к музыке, как он сам признается, у него нет никакой внутренней склонности — очевидно, в понимании Платона, обвиняющего музыку в том, что она вносит расстройство в чистое мышление). А Фрейд только и стремится к чистому мышлению, он поступает по Стендалю: «Pour être bon philosophe, il faut être sec, clair, sans illusion»[8]. Ясность для него — как во всех человеческих отношениях, так и в области словесного выражения — первое и последнее; этой максимальной озаренности и отчетливости он подчиняет как нечто второстепенное все художественные достоинства; единственно в результате достигаемой таким путем алмазной твердости очертаний его проза обретает свою несравненную vis plastica[9]. Полностью безыскусственная, строго деловитая, подобная римской, латинской, эта проза не затуманивает поэтически изображенного предмета, но высказывает его резко и по существу. Она не приукрашивает, не нагромождает, не примешивает и не теснит изобилием; она до крайности скупа на образы и сравнения. Но если уж встречается в ней сравнение, то оно действует силой своей убедительной мощи, как выстрел. Некоторые образные формулировки Фрейда имеют в себе нечто от прозрачной четкости резных камней, и в составе его безупречно ясной прозы они действуют как оправленные в тяжелый хрусталь камеи, незабываемые каждая в отдельности. Но ни на минуту

не покидает Фрейд в своих философских построениях прямого пути; отступления в области языка столь же ненавистны ему, как обходы в области мышления, и в составе его пространных трудов едва ли найдется положение, которое не было бы понятно в его прямом и единственном смысле даже и человеку необразованному. Его выражения, так же, как и его мысли, неизменно рассчитаны на прямо-таки геометрическую точность определения; и поэтому его требованиям ясности мог служить лишь язык на взгляд неприглядный, но в действительности в высшей степени светоозаренный.

Всякий гений носит маску, говорит Ницше. Фрейд избрал для себя самую непроницаемую — маску неприметности. Его внешняя жизнь за трезвой, почти филистерской будничностью скрывает демонический подвиг труда; его лицо за чертами равновесия и спокойствия таит творческий гений. Его труд, более революционный и смелый, чем какой-либо другой, скромно стушевывается вовне в качестве натуралистически точной разработки академического метода. И язык его холодом и бесцветностью прикрывает художественную мощь четкого образотворчества. Гений трезвости, он любит выявлять лишь то трезвое, что в нем заключено, а не гениальное. Только размеренность его доступна на первых порах взору, и лишь потом, на глубине — его чрезмерность. Во всех случаях Фрейд — больше, чем он дает о себе понять, и все же в каждый миг своего существования один и тот же. Ибо всякий раз, когда человеком творчески владеет закон высшего единства, он, этот закон, явственно и победно проявляет себя во всем его существе — в языке, в творчестве, во внешнем облике и в жизни.



Исход

«Особого влечения к карьере и деятельности врача я не чувствовал в молодости, а впрочем — не чувствовал и в дальнейшем»,— откровенно признается в своем жизнеописании Фрейд со столь характерной для него беспощадностью к себе самому. Но это признание сопровождается следующим многозначительным пояснением: «Скорее мною двигала своего рода любознательность, направленная, однако, больше на область человеческих отношений, чем на объекты природы». Этой его глубочайшей склонности не соответствовала никакая, собственно, научная дисциплина, ибо в учебном плане медицинского факультета Венского университета такого научного курса, как «Человеческие отношения», не имеется. И так как юный студент должен подумать о куске хлеба в будущем, то ему не приходится долго предаваться личной своей склонности, а нужно вместе с другими медиками терпеливо пройти путь предуказанных двенадцати семестров. Уже в качестве студента Фрейд серьезно работает над самостоятельными исследованиями; но, согласно своему собственному откровенному признанию, он «довольно небрежно» проделывает круг своих академических трудов и лишь в 1881 году, в возрасте двадцати пяти лет, «с некоторым опозданием» удостаивается звания доктора медицины.

Судьба многих и многих: этому неуверенному в правильности избранного пути человеку предчувствие приуготовило уже призвание в его духе, а ему приходится променять его для начала на отнюдь не желанную для него практическую специальность. Ибо с первого же мгновения ремесленный, школьный, врачебно-технический элемент медицинской науки мало привлекает этот склонный к универсальности ум. В глубине души прирожденный психолог, сам того пока еще не знающий, он инстинктивно пытается наметить себе

теоретическое поле действия по крайней мере в соседстве с областью психики. Он таким образом избирает себе специальностью психиатрию и занимается анатомией мозга, ибо психология с установкой на индивидуальность, эта давно уже ставшая для нас необходимостью психическая дисциплина, в то время не преподается и не практикуется в медицинских аудиториях; Фрейду придется изобрести ее для нас. Всякая душевная неуравновешенность понимается механистически мыслящей эпохой исключительно как перерождение нервов, как болезненное изменение; непоколебимо царит ложное представление о том, что путем все более и более точного познания соответственных органов и на основе опытов с животными удастся когда-нибудь в точности рассчитать автоматику «душевной области» и регулировать всякое отклонение. Поэтому наука о душевных явлениях имеет своим поприщем психологическую лабораторию: люди думают, что исчерпывающим образом знакомятся с этой наукой, если при помощи скальпеля и ланцета, микроскопа и чувствительного электрического аппарата отмечают содрогания и сокращения нервов. И Фрейду, таким образом, приходится на первых порах присесть к анатомическому столу и при помощи всевозможной технической аппаратуры доискиваться причинности, которая в действительности никогда не проявляет себя в грубой форме чувственного восприятия. Несколько лет работает он в лаборатории у знаменитых анатомов Брюкке[10] и Мейнерта[11], и оба мастера своей специальности убеждаются вскоре во врожденном даре творческой изобретательности, присущем молодому ассистенту. Оба пытаются привлечь его как постоянного сотрудника в своей области; Мейнерт даже предлагает молодому врачу быть его заместителем по читаемому им курсу анатомии мозга. Но какая-то внутренняя настроенность полностью бессознательно этому противится. Может быть, уже в то время

его инстинкт предчувствовал, как решится дело; во всяком случае, он отклоняет лестное предложение. Однако проделанные им гистологические и клинические работы, выполненные с академической тщательностью, оказываются вполне достаточными для того, чтобы предоставить ему доцентуру по кафедре нервных болезней при Венском университете.

Доцент по неврологии — для двадцатидевятилетнего, молодого, не имеющего состояния врача — это завидное в Вене по тем временам и притом доходное звание. Фрейду следовало теперь из года в год пользовать без устали своих пациентов по толково изученному, академически предуказанному методу, и он мог стать экстраординарным профессором и в конце концов даже гофратом. Но уже в то время проявляет себя характерный для него инстинкт самосохранения, который на протяжении всей жизни ведет его все дальше и все глубже. Ибо этот молодой доцент честно признает то, что боязливо замалчивают все другие неврологи друг перед другом и даже перед самим собой, а именно что вся техника трактовки нервно-психических явлений в той форме, в какой она преподается в то время, около 1885 года, беспомощнейшим образом и без всякой пользы для других застряла в тупике. Но как практиковать другую, когда никакая другая в Вене не преподается? Все, что можно было заимствовать там, около 1885 года (и долгое время спустя), у профессоров, молодой доцент постиг до последних деталей — тщательную клиническую работу, безукоризненно точное знание анатомии, а к тому же еще и главнейшие добродетели венской школы: строгую основательность и непреклонное усердие. Чему же учиться помимо этого у людей, знающих не больше, чем он сам? Поэтому известие, что в течение нескольких лет психиатрия в Париже рассматривается с совершенно иной точки зрения, является для него могучим и не-

преодолимым искушением. Он узнает с изумлением и с недоверием, но в то же время испытывая соблазн, что Шарко, поначалу и сам специалист по анатомии мозга, производит там своеобразные опыты при помощи того прошумевшего и преданного проклятию гипноза, который подвергся в Вене со времени благополучного изгнания из города Франца Антона Месмера семикратной опале. Издали, пользуясь только сообщениями медицинских журналов, нельзя получить отчетливого представления об опытах Шарко, это сразу понимает Фрейд; нужно самому их увидеть, чтобы судить о них. И тотчас же молодой ученый, с тем таинственным внутренним предчувствием, которое всегда указывает умам правильное направление, устремляется в Париж. Его патрон Брюкке поддерживает ходатайство молодого, не имеющего средств врача о командировочной стипендии. Стипендия ему присуждается. И молодой доцент уезжает в 1886 году в Париж, чтобы еще раз начать снова, чтобы поучиться, прежде чем учить.

Тут он сразу же попадает в другую атмосферу. Правда, и Шарко, как и Брюкке, исходит из патологической анатомии, но он ее преодолел. В своей знаменитой книге «La foi qui guérit»[12] великий француз исследует в отношении душевной их обусловленности те чудеса религиозного исцеления, которые отрицались дотоле как недостоверные столь много о себе мнящей медицинской наукой, и устанавливает в этих явлениях определенную закономерность. Вместо того чтобы отвергать факты, он начал толковать их и столь же непосредственно подошел и ко всем другим чудесным методам врачевания, в том числе и к пользующемуся столь дурной славой месмеризму. Впервые встречается Фрейд с учением, которое не отмахивается презрительно, подобно венской школе, от истерии как от симуляции, но доказывает, пользуясь этой интереснейшей в силу ее вырази-

тельности болезнью, что вызываемые ею припадки являются следствием внутренних потрясений и должны быть поэтому истолковываемы в их психической обусловленности. На примере загипнотизированных пациентов Шарко показывает в переполненных публикой аудиториях, что всем знакомые, типические состояния парализованности могут посредством внушения быть вызваны в гипнотическом сне и потом устранены и что, следовательно, это рефлексы не грубо-физиологические, но подчиненные воле. Если отдельные элементы учения Шарко не всегда являются убедительными для молодого венского врача, то все же на него неотразимо действует тот факт, что в области неврологии в Париже признается и получает оценку не только чисто физическая, но и психическая и даже метафизическая причинность; он чувствует с удовлетворением, что психология снова приблизилась здесь к старой науке о душе, и этот психический метод влечет его больше, чем все до сих пор изученные. И в новом кругу Фрейду выпадает счастье — впрочем, можно ли назвать счастьем то, что по существу является инстинктивным взаимопониманием высокоодаренных умов? — счастье вызвать особый интерес к себе со стороны своего наставника. Так же, как Брюкке, Мейнерт и Нотнагель[13] в Вене, узнает сразу же и Шарко в Фрейде творчески мыслящую натуру и вступает с ним в личное общение. Он поручает ему перевод своих сочинений на немецкий язык и нередко отличает его своим доверием. Когда потом, через несколько месяцев, Фрейд возвращается в Вену, его мировосприятие изменилось. Правда, он чувствует смутно, что и путь Шарко не вполне его путь, что и этого исследователя занимает слишком много физический эксперимент и слишком мало — то, что этот эксперимент доказывает в области психики. Но уже в течение этих немногих месяцев созрели в молодом ученом новое мужество и стремление

к независимости. Теперь может начаться его самостоятельная творческая работа.

Перед тем, правда, нужно выполнить еще одну небольшую формальность. Всякий университетский стипендиат обязан, вернувшись, сделать сообщение о научных результатах своей заграничной командировки. Это проделывает и Фрейд в «Обществе врачей». Он рассказывает о новых путях, которыми идет Шарко, и описывает гипнотические опыты в «Salpêtriere». Но со времен Франца Антона Месмера сохранилось еще в медицинском цехе города Вены яростное недоверие ко всяким методам, связанным с внушением. Утверждение Фрейда, что можно вызывать искусственно симптомы истерии, встречается с снисходительной улыбкой, а его сообщение о том, что бывают даже случаи мужской истерии, вызывает явную веселость в кругу коллег. Сперва его благожелательно похлопывают по плечу — что за чушь навязали ему там, в Париже; но так как Фрейд не уступает, ему, как недостойному, преграждают за его отступничество вход в святилище лаборатории мозга, где, слава богу, занимаются еще психологией «строго научно». С того времени Фрейд остался bête noire[14] Венского университета, он не переступал уже порога «Общества врачей», и только благодаря личной протекции одной влиятельной пациентки (как сам он, весело настроенный, признается) получает он через много лет звание экстраординарного профессора. Но величественный факультет в высшей степени неохотно вспоминает о его принадлежности к академическому составу. В день его семидесятилетия он даже предпочитает определенно не вспоминать об этом и обходится без всякого приветствия и пожеланий счастья. Ординарным профессором Фрейд никогда не сделался, равно как гофратом и тайным советником; он остался тем, кем был там с самого начала: экстраординарным профессором среди ординарных. Своим мятежом

против механистического подхода к невропатологии, выражавшегося в применении к психически обусловленным заболеваниям исключительно таких средств, как раздражение кожи или назначение лекарств, Фрейд испортил себе не только академическую карьеру, но и врачебную практику. Отныне ему приходится идти своим, одиноким путем. И в начале этого пути он знает, пожалуй, только одно, чисто отрицательное,— а именно, что на решающие психологические открытия нельзя рассчитывать ни в лаборатории мозга, ни путем измерения нервной реакции особыми аппаратами. Только при помощи совершенно иного и с иной стороны подходящего метода можно приблизиться к таинственной области душевных сплетений; найти этот метод или, вернее, изобрести его — становится отныне страстной мечтой и страстным трудом его последующих пятидесяти лет. Некоторые указания относительно правильного пути дали ему Париж и Нанси. Но так же, как в искусстве, и в области науки одной мысли никогда не бывает достаточно для окончательного оформления; в деле исследования оплодотворение совершается путем скрещения идеи с опытом. Еще один самый ничтожный толчок — и творческая мощь разрешится от бремени.



Этот толчок получается — столь интенсивно уже напряжение! — в результате личного дружеского общения с более старшим товарищем, доктором Иозефом Брейером[15], с которым Фрейд встречался и раньше, в лаборатории Брюкке. Брейер, чрезвычайно занятый работой домашний врач, весьма деятельный и в научной области, без определенной, однако, творческой установки, еще раньше, до парижской поездки Фрейда, сообщал ему об одном случае истерии у молодой девушки, при котором он достиг удачного результата совершенно особенным образом. У этой молодой девушки были налицо все обычные, зарегистрированные наукой явления истерии, этой наиболее выразительной из всех нервных болезней, то есть паралличные состояния, извращения психики, задержки и помрачение сознания. И вот Брейер подметил, что молодая девушка чувствовала облегчение всякий раз, когда имела возможность порассказать о себе то или другое. Врач, человек неглупый, терпеливо слушал все, что говорит больная, так как убедился, что всякий раз, когда она изливала свою фантазию, наступало временное улучшение. Но среди всех этих отрывочных, лишенных внутренней связи признаний Брейер чувствовал, что больная искусно обходит молчанием наиболее существенное, решающее в деле возникновения ее истерии. Он заметил, что пациентка знает о себе кое-что такое, чего она отнюдь не желает знать и что она по этой причине в себе подавляет. Для того чтобы очистить путь к предшествующему ее переживанию, Брейер решает подвергнуть девушку систематическому гипнозу. Он надеется, что вне контроля воли будут устранены все задержки, препятствующие конечному установлению имевшего место факта (спрашивается, какое слово вместо слова «задержки» применили бы мы, если бы психоанализ его не изобрел). И в самом деле, попытка его увенчивается успехом: в гипнотическом состоянии, когда чувство

стыдливости как бы парализуется, девушка свободно признается в том, что она столь упорно замалчивала до сих пор перед лицом врача и что скрывала прежде всего от самой себя, а именно, что у постели больного отца она испытала известного рода ощущения и потом их подавила. Эти оттесненные по соображениям благопристойности чувства нашли себе или, вернее, изобрели для себя, в качестве отвлечения, определенные болезненные симптомы. Ибо всякий раз, когда в состоянии гипноза девушка признается в этих своих чувствах, сразу же исчезает их суррогат — симптомы истерии. И вот Брейер систематически продолжает лечение в намеченном направлении. И поскольку он вносит ясность в самосознание больной, истерические явления ослабевают — они становятся ненужными. Спустя несколько месяцев пациентку можно отпустить домой как излечившуюся до конца и совершенно здоровую.

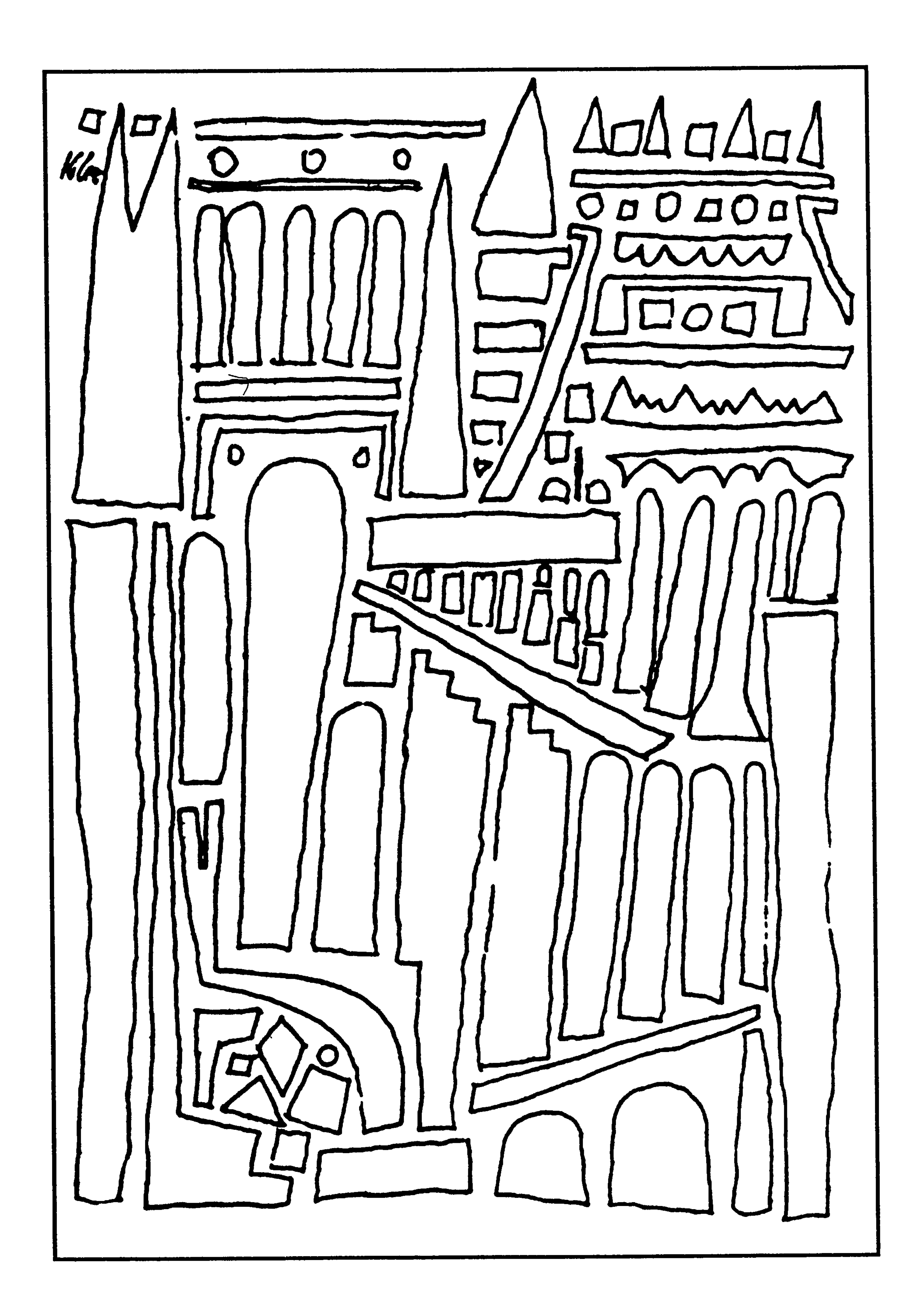
Об этом своеобразном случае Брейер рассказывал как-то своему младшему коллеге как о заслуживающем особого внимания. Его удовлетворил здесь прежде всего благополучный возврат нервнобольной к состоянию здоровья. Но Фрейд, со свойственным ему инстинктом глубины, сразу же чувствует, за открытым Брейером терапевтическим средством, закон значительно более общий, а именно, что «психическая энергия допускает перераспределение», что «подсознательное» (и этого слова тогда еще не существовало) подчиняется какой-то определенной динамике переключения, которая преобразует подавленные и не нашедшие себе естественного исхода чувства («неотреагированные», как мы теперь говорим) и претворяет их в другие, особые душевные или физические переживания. Констатированный Брейером случай освещает данные парижского опыта как бы с другой стороны, и друзья сообща берутся за работу, чтобы проследить открывшееся им явление на большей глубине. Их совмест-

ные труды «О психическом механизме явлений истерии» 1893 г. и «Очерки истерии» 1895 г. представляют собой первый опыт изложения этих новых идей; в них встречаемся мы с первыми проблесками новой психологии. Этими совместными исследованиями устанавливается впервые, что истерия обусловлена не органическим заболеванием, как предполагалось до сих пор, но известного рода расстройством в результате внутреннего, не осознанного самим больным конфликта, гнет которого вызывает в конце концов эти «симптомы», болезненные изменения. Подобно тому как лихорадка возникает благодаря внутреннему воспалению, возникают в силу скопления чувств душевные расстройства. И, подобно тому как спадает в теле жар, чуть только гной найдет себе выход, прекращаются и судорожные явления истерии, если удается создать выход подавленному и оттесненному чувству, «отвести энергию симптомообразующего аффекта, уклонившегося на ложные пути и там как бы защемленного, в правильном направлении, с тем чтобы он нашел себе исход».

В качестве инструмента для такого рода душевной разгрузки Брейер и Фрейд применяли сначала гипноз. Но в ту эпоху, доисторическую эпоху психоанализа, гипноз отнюдь не представляет собой целебного средства; он является лишь вспомогательным приспособлением. Его назначение исключительно в том, чтобы помочь разрядить судорогу чувства; он является как бы наркозом для предстоящей операции. Лишь после того как отпали задержки контролирующего сознания, больной свободно высказывает все затаенное; и уж благодаря одной только его исповеди гнет, обусловливающий расстройство психики, ослабевает. Создается выход стесненному чувству, наступает то состояние душевной облегченности, которое превозносилось еще в греческой трагедии как несущее свободу

и блаженство; потому-то Брейер и Фрейд назвали поначалу свой метод «катарсическим», в смысле аристотелевского катарсиса. Благодаря сознанию и самосознанию становится излишним искусственный, болезненно ложный акт, исчезает симптом, имевший только символический смысл. Выговориться означает, таким образом, до некоторой степени и прочувствовать; осознанность несет с собой освобождение.

Вплоть до этих существенно важных, можно сказать решающих, предпосылок Брейер и Фрейд продвигались вперед сообща. В дальнейшем пути их расходятся. Брейер, врач по призванию, обеспокоенный опасными моментами этого спуска в низины, снова обращается к области медицины; его, по существу, занимают возможности излечения истерии, устранение симптомов. Но Фрейда, который только теперь открыл в себе психолога, влекут как раз таинственность этого акта трансформации, происходящий в душе процесс. Впервые установленный факт, что чувства поддаются оттеснению и замене их симптомами, подвигает его на все новые и новые вопросы; он угадывает, что в этой одной проблеме заключена вся проблематика душевного механизма. Ибо если чувства поддаются оттеснению, то кто их оттесняет? И прежде всего, куда они оттесняются? По каким законам происходит переключение сил психических на физические и где именно совершаются эти непрестанные переустановки, о которых человек ничего не знает и которые он, с другой стороны, сразу же осознает, если его принудить к такому осознанию? Перед ним начинает смутно обрисовываться незнакомая область, куда не отваживалась вторгаться до сих пор наука; новый мир открывается ему издали, в неясных очертаниях — мир бессознательного. И отныне страстное устремление всей его жизни — «познать долю бессознательного в индивидуальной жизни души». Спуск в низины начался.


Klee

Мир бессознательного

Требуется всегда особое напряжение, чтобы забыть что-нибудь такое, что ты знаешь, чтобы с высшей ступени созерцания искусственно заставить себя спуститься до другой, более примитивной; так же трудно нам вернуть себя назад к тем представлениям, которые существовали в научном мире около 1900 года относительно понятия «бессознательное». То обстоятельство, что наша психическая деятельность отнюдь не исчерпывается сознательной работой разума, что за последней проявляет себя какая-то другая сила, как бы в теневой области нашего существования и мышления, было, само собой разумеется, известно и дофрейдовской психологии. Но суть в том, что она не знала, что ей делать с этим представлением; ей чужды были какие бы то ни было попытки претворить это понятие в науку и опыт. Философия той поры охватывает явления психики, лишь поскольку они проявляют себя в пределах сознания. Но ей кажется бессмысленным — contradictio in adjecto[16] — пытаться сделать бессознательное объектом сознания. Чувство только тогда становится для нее чувством, когда оно отчетливо ощутимо, воля — только тогда, когда она проявляет себя в действии, а до тех пор, пока психические явления не проступают на поверхность сознательной жизни, психология исключает их из области науки как невесомые.

Фрейд в своем психоанализе пользуется техническим термином «бессознательное», но он придает ему значение совершенно иное, чем школьная философия. В представлении Фрейда сознательное не является исключительной категорией душевной деятельности, и в соответствии с этим бессознательное не кажется ему категорией совершенно особой или даже подчиненной; наоборот, он решительно подчеркивает, что все душевные процессы представляют собой поначалу бессознательные акты; те из них, которые осознаются,

не являются какой-либо особой или подчиненной разновидностью, но их переход в сознание есть свойство, привходящее извне, как свет по отношению к какому-либо предмету. Стол остается таким же столом независимо от того, стоит ли он невидимым, в темном помещении, или его делает доступным зрению включенная электрическая лампочка. Свет всего только делает его существование чувственно-постигаемым, но не обусловливает его существования. Несомненно, в этом состоянии повышенной доступности восприятию он может быть измерен точнее, чем впотьмах, хотя и в последнем случае возможно создать некоторые ограничивающие представления о нем при помощи другого метода, путем ощупывания и осязания. Но, логически, невидимый впотьмах стол столь же принадлежит к физическому миру, как и видимый, и по аналогии с этим бессознательное в той же мере входит в область душевных явлений, как и сознательное. В соответствии с этим «бессознательное», по Фрейду, впервые не равнозначаще непостижимому, и в этом новом понимании вводится им в терминологию науки. Новое в науке требование Фрейда — вооружиться новым вниманием, прибегнуть к другой методологической аппаратуре, к водолазному колоколу глубинной психологии, опуститься ниже глади сознания и осветить психические процессы не только поверхностно, но и в последних глубинах — сделало наконец из школьной психологии подлинную науку о душе человеческой, применимую практически и даже несущую исцеление.

В этом открытии новой области для исследований, в этой полной перестановке душевных сил и расширении арены их деятельности до невероятных размеров и заключается, собственно, гений Фрейда. Одним приемом область доступного восприятию в сфере психики во много раз увеличилась, и к двум поверхностным измерениям прибавилось и третье — по глубине. Благодаря этому одному, не-

значительному на первый взгляд переключению — ведь самые решающие мысли всегда представляются в дальнейшем простыми и сами собой понятными,— меняются, в пределах душевной динамики, все нормы. И в истории культуры в будущем этот творческий миг психологии будет, вероятно, сопричислен к тем великим мировым мгновениям, которые, установкой на другой угол зрения, изменили все мыслеощущения эпохи, как то было с Кантом и Коперником. Ибо уже сейчас академические представления начала нашего века о человеческой психике кажутся нам столь же неуклюжими, ложными и ограниченными, как птолемеева карта, именующая миром жалкую долю географической вселенной. В точности так же, как и наивные картографы той поры, дофрейдовские психологи обозначают все эти необследованные материки попросту словом «terra incognita», бессознательное для них — замена понятий «недоступное познанию», «непостижимое». Они чувствуют смутно: где-то должен находиться таинственный резервуар, куда стекают, чтобы застаиваться там, не использованные нами воспоминания, помещение, где без всякого толку скопляется все забытое и ненужное, складочное место, откуда память время от времени переводит тот или иной предмет в сознание. Но основоположением дофрейдовской науки было и остается: этот мир бессознательного сам по себе до конца пассивен, полностью недеятелен; это — отжитая, отмершая уже жизнь, прошлое, с которым покончено; все это не имеет никакой силы, никакого влияния на наше психическое настоящее.

Такому толкованию Фрейд противопоставляет свое: бессознательное — это отнюдь не отходы душевной жизни, но изначальная душевная субстанция, и только крохотная ее доля всплывает на поверхность сознания. Однако главнейшая, не выступающая на свет часть, так называемое бессознательное, ни в коем случае от этого не мертва

и не лишена динамичности. На самом деле она влияет на наше мышление и наше чувство столь же живо и активно; она, пожалуй, является даже наиболее жизнедеятельной частью душевной нашей субстанции. Поэтому тот, кто не учитывает участия во всех наших решениях бессознательной воли, смотрит ошибочно, ибо упускает из вида самый существенный фактор внутренней нашей напряженности; сила удара ледяной горы не угадывается по той ее части, которая выдается над поверхностью воды (главнейший упор скрыт под поверхностью); так и тот грубо обманывается, кто полагает, что только наши ясные нам порывы энергии определяют наши ощущения и поступки. Наша жизнь во всей ее полноте не развивается свободно на началах разумности, но испытывает непрестанное давление со стороны бессознательного; каждый миг новая волна из бездны позабытого якобы прошлого вторгается в живую нашу жизнь. Вовсе не в той величественной мере, как полагаем мы ошибочно, подчиняется внешнее наше поведение бодрствующей воле и расчетам рассудка; молниеносные наши решения, внезапные подземные толчки, потрясающие нашу судьбу, исходят из темных туч бессознательного, из глубин инстинктивной нашей жизни. Там, внизу, теснится слепо и беспорядочно то, что в сфере сознания разграничено ясными категориями пространства и времени; там бродят яростно желания давно заглохшего детства, которые мы считаем давно похороненными, и время от времени прорываются, жаждущие и алчущие, в нашу жизнь; страх и ужас, давно забытые сознанием, вздымают свои вопли ввысь, по проводам наших нервов; страсти и вожделения не только нашего личного прошлого, но и истлевших поколений, страсти и вожделения наших варваров-предков сплетаются корнями там, в глубине нашего существа. Оттуда, из глубины, возникают наиболее личные наши поступки, из области таинственного

исходят внезапные озарения; сила наша определяется иной, высшей силой. Там, в глубине, неведомо от нас, живет изначальное наше *Я*, которого наше цивилизованное *Я* не знает больше или не желает знать; но внезапно оно выпрямляется во весь рост и прорывает тонкую оболочку культуры; и тогда его инстинкты, первобытные и неукротимые, грозно проникают в нашу кровь, ибо извечная воля бессознательного — воспрянуть к свету, претвориться в сознание и найти выход в действие: «Поскольку я существую, мне надлежит быть деятельным». Всякий миг, какое бы слово мы ни произносили, какой бы ни совершали поступок, должны мы подавлять или, вернее, оттеснять наши бессознательные влечения; нашему этическому или культурному чувству приходится неустанно противиться варварским вожделениям инстинктов. И — величественная картина, впервые вызванная к жизни Фрейдом,— вся наша душевная жизнь представляется как непрестанная и страстная, никогда не приходящая к концу борьба между сознательной и бессознательной волей, между ответственностью за наши поступки и безответственностью наших инстинктов. Но и с виду бессознательное имеет во всех своих проявлениях, даже когда они нам непонятны, определенный смысл; сделать этот смысл, смысл бессознательных наших побуждений, постижимым для индивидуума,— в этом видит Фрейд задачу новой и насущно необходимой психологии. Только после того, как мы осветили глубинный мир человека, можем мы судить о его чувствах; только спустившись к глубинам психики, можем мы понять по существу причину ее расстройств и потрясений. Психологу и психиатру незачем учить человека тому, что он постигает сознанием. Лишь там, где человеку неведомо бессознательное, может оказать ему действительную помощь врач по душевным болезням.

Но как проникнуть туда, в эти сумеречные области? Современная наука не знает пути. Она категорически отрицает возможность постигнуть явления бессознательного при помощи аппаратуры, рассчитанной на точность механического порядка. И только в свете дня, только в области сознательного могла производить свои наблюдения старая психология. А мимо всего безмолвного или говорящего смутно она проходила равнодушно, не глядя. И вот Фрейд ломает это воззрение, как прогнивший кусок дерева, и швыряет его от себя прочь. По его убеждению, бессознательное не безмолвно. Оно говорит, но, правда, при помощи иных знаков и символов, чем язык сознания. Поэтому тот, кто с поверхности своего *Я* хочет спуститься в глубины, должен изучить сначала язык этого нового мира. Подобно тому как египтологи использовали таблицу Розетты[17], начинает и Фрейд наносить значок за значком, начинает разрабатывать для себя словарь и грамматику языка бессознательного, чтобы уразуметь те голоса, которые звучат за нашими словами и за нашим сознанием предостерегающе или зовуще и власти которых мы в большинстве случаев подпадаем более роковым образом, чем велениям сознательной нашей воли. А кто уразумел новый язык, уразумел и новый смысл. Таким образом, новый подход Фрейда к глубинной психологии открывает неведомый до того мир; только благодаря ему научная психология из системы простых, теоретически умозрительных наблюдений над актами сознания становится тем, чем она всегда должна была быть,— наукой о душевных явлениях. Одно из полушарий внутреннего нашего мира не пребывает уже более затененным и недоступным для науки. И по мере того как обозначаются первые контуры бессознательного, все более непреложным становится новое понимание чудесно осмысленной структуры духовного нашего мира.

Толкование снов

Comment les hommes ont-ils si peu refléchi jusqu'alor aux accidents du sommeil, qui accusent en l'homme une double vie! N'y aurait-il pas une nouvelle science dans ce phénomène?.. il annonce au moins la déunion fréquente de nos deux natures. J'ai donc enfin un temoignage de la supériorité qui distingue nos sens latents de nos sens apparents.

Balzac, Louis Lambert, 1833.[18]

Бессознательное — глубочайшая тайна всякого человека; психоанализ ставит себе задачей помочь ему в раскрытии этой тайны. Но как раскрывается тайна? Трояким образом. Можно силой исторгнуть у человека то, что он утаивает; столетия пыток показали наглядно, каким способом можно разжать и упрямо стиснутые губы. Далее, можно путем различных сопоставлений угадать скрытое, пользуясь короткими мгновениями, когда смутный абрис тайны — подобно спине дельфина над непроницаемой гладью моря — на секунду всплывает из мглы. И можно, наконец, дожидаться с величайшим терпением случая, когда в состоянии ослабленной настороженности высказано будет то, что скрывалось.

Всеми этими тремя техническими приемами пользуется попеременно психоанализ. На первых порах он пытался насильственно заставить заговорить бессознательное, подавляя волю гипнотическим внушением. Психологам давно уже было известно, что человек знает о себе больше, чем он сознательно признает перед самим собой и другими, но они не умели подойти к этому подсознательному. Только месмеризм показал впервые, что в состоянии искусственного сна из человека нередко можно извлечь больше, чем в состоянии

бодрствования. Тот, чья воля парализована, кто пребывает в трансе, не знает, что он говорит в присутствии других; он полагает, что находится в мировом пространстве наедине с самим собой, и выбалтывает, не смущаясь, сокровеннейшие свои желания и тайны. Поэтому гипноз казался поначалу самым многообещающим методом; но вскоре (по соображениям, которые завели бы нас слишком далеко в детали дела) Фрейд отказывается от насильственного вторжения в бессознательное как от способа неэтичного и малопродуктивного; подобно тому, как судопроизводство, на более гуманной ступени, добровольно отказывается от пытки, заменяя ее более сложным искусством допроса и косвенных улик, так и психоанализ вступает в эпоху комбинирования и догадок из эпохи насильственно добытых признаний. Всякая дичь, как бы ни была она проворна и легка на ходу, оставляет следы. И в точности так же, как охотник по самым слабым отпечаткам ног угадывает поступь и породу зверя, как археолог по осколку вазы устанавливает принадлежность к той или иной эпохе целого города, погребенного под землей, практикует в этой последующей стадии развития и психоанализ свое искусство тайного розыска, пользуясь малейшими указаниями, при посредстве которых бессознательное проявляет себя в данный момент в пределах сознательной жизни. Уже при первых своих наблюдениях в направлении этих указаний Фрейд обнаружил поразительные следы, а именно так называемые ошибочные действия. Под ошибочными действиями (для каждого нового понятия Фрейд неизменно находит особо меткое слово) глубинная психология понимает совокупность всех тех своеобразных явлений, которые человеческая речь, величайшая и старейшая представительница психологического опыта, давно уже объединила в одну целостную группу и обозначила одинаковым начальным слогом «о», как-то: о-говориться, о-писаться, о-ступиться,

о-слышаться. Пустяк, без сомнения: человек оговаривается, произносит одно слово вместо другого, принимает один предмет за другой, описывается, пишет вместо одного другое слово — с каждым случается такая ошибка десять раз на дню. Но откуда берутся эти опечатки в книге жизни? В чем причина того, что материя противится нашей воле? Ни в чем — случай или усталость, отвечала старая психология, поскольку она вообще не удостаивала своим вниманием столь незначительные изъяны повседневной жизни. Отсутствие всякой мысли, рассеянность, невнимательность. Но Фрейд берется за дело вплотную: что значит отсутствие мысли, как не то, что наши мысли не там, где надлежало бы им, в согласии с нашей волей, быть? И если в результате не осуществляется диктуемое волей намерение, то откуда выскакивает другое, волей не продиктованное? Почему вместо того слова, которое мы хотим произнести, мы произносим другое? Так как при ошибочных действиях вместо действия преднамеренного совершается другое, то кто-то должен был вмешаться и это действие воспроизвести. Кто-то такой должен быть, кто добывает это неправильное слово вместо правильного, кто прячет предмет, который мы ищем, кто коварно подсовывает вместо сознательно разыскиваемого другой предмет. И вот Фрейд приходит к убеждению (и эта идея становится первенствующей в его методике), что на всем пространстве психики нет ничего бессмысленного, случайного. Для него всякий душевный процесс имеет определенный смысл, всякий поступок — своего вдохновителя; и так как в этих ошибочных действиях сознательная сфера человека не участвует, но оттесняется, то что же такое эта оттесняющая сила, как не бессознательное, столь долго и безуспешно разыскиваемое? Таким образом, ошибочное действие означает для Фрейда не отсутствие мысли, но проникновение вовне некоей оттесненной мысли. Что-то

такое высказывает себя в о-говорке, в о-писке, чему не давала выхода в речь наша сознательная воля. И это что-то говорит неведомым и подлежащим еще изучению языком бессознательного.

Этим самым объяснено нечто основное: во-первых, в каждом ошибочном действии, во всем якобы неправильно проделанном выражается какое-то тайное намерение. И во-вторых, в области сознательной воли должно было быть налицо сопротивление этому проявлению бессознательного. Когда, например (я беру примеры самого Фрейда), профессор говорит на конгрессе о работе своего товарища: «Мы не в состоянии дать достаточно низкой оценки этому открытию», то сознательным его намерением было, правда, сказать «высокой», но в глубине своей души он думал «низкой». Это ошибочное действие выдает его истинную установку, оно, к его собственному ужасу, выбалтывает его тайну, состоящую в том, что он охотнее недооценил бы работу своего товарища, чем переоценил ее. Или если некая искушенная в туризме дама жалуется во время экскурсии, что у ней намокли от жары блуза и рубашка, и потом продолжает: «Если бы только скорее добраться до панталон и сбросить все!» — то кто же не поймет того, что поначалу она хотела высказаться полнее и сообщить наивно, что у нее намокли блуза, рубашка и панталоны[19]. Понятие «панталоны» было близко к тому, чтобы соскочить с языка, но в последний момент является сознание непристойности положения; это сознание преграждает путь слову и оттесняет его; но подавленное намерение не до конца вытеснено, и вот роковое слово выскакивает, пользуясь мигом растерянности, в следующей фразе в качестве «ошибочного действия». При обмолвке высказывают то, чего, собственно, не хотели сказать, но что думали в действительности. Забывают то, что в глубине души хотели забыть.

теряют то, что хотели потерять. Ошибочное действие почти всегда означает признание и улику против самого себя.

Это психологическое открытие Фрейда, незначительное по сравнению с основными его творческими мыслями, встретило в ряду его наблюдений наиболее единодушное признание со стороны, как самое забавное и безобидное; в пределах же его системы ему принадлежит только промежуточная роль. Ибо такие ошибочные действия имеют место сравнительно редко, они являются лишь мельчайшими осколками бессознательного, слишком малочисленными и слишком рассеянными во времени, чтобы можно было составить из них мозаику целого. Но Фрейд с присущей ему жаждой наблюдательности нащупывает, конечно, исходя отсюда, всю нашу душевную жизнь по ее поверхности: нет ли налицо и других столь же «бессмысленных» явлений и нельзя ли их растолковать в том же смысле. Ему не приходится долго искать, чтобы столкнуться с наиболее постоянным явлением душевной нашей жизни, которое точно так же слывет бессмысленным и считается даже типичной бессмыслицей. Даже в разговорном языке сон, этот повседневный наш гость, характеризуется как назойливый пришелец и фантастический бродяга по логически безупречным путям нашей мозговой системы: «сновидения — пена». В глазах людей это — ничто, расцвеченная, как мыльный пузырь, пустота без цели и без смысла, мираж в крови; их содержание ничего не «означает». Человеку нечего делать со своими снами, он не повинен в этой своенравной, колдовской игре своей фантазии — так аргументирует старая психология и отказывается от всякого осмысленного их толкования; пускаться в серьезные разговоры с этими лживыми и бестолковыми созданиями не представляет для науки никакого смысла, никакой ценности.

Но кто же говорит, показывает, живописует, действует и создает образы в наших сновидениях? Уже прежняя эпоха подозревала, что здесь говорит, действует и проявляет свою волю не наше бодрствующее *Я*, а кто-то другой. Уже древность поясняла относительно сновидений, что они нам «даны», вложены в нас какой-то высшей силой. Здесь проявляет себя какая-то сверхземная или — если отважиться на это слово — какая-то сверхличная воля. А для всякой внечеловеческой воли древний мир мифов знал только одно толкование: боги! — ибо кто же, кроме них, обладал даром превращения и высшей силой? Это были они, обычно незримые; в символических сновидениях приближались они к людям, нашептывали им вести, наполняли их ужасом или надеждой и рисовали на черной завесе сна красочные свои картины, предостерегая и заклиная. Уверенные, что внемлют в этих ночных откровениях священным, более того, божеским голосам, все первобытные народы с величайшим жаром пытались уразуметь человеческим своим умом божественный язык «сновидения», чтобы постигнуть в нем волю божества.



Так на заре человечества в качестве одной из самых ранних наук возникло толкование снов; перед каждой битвой, перед каждым решающим событием, по прошествии ночи, исполненной сновидений, жрецы и прорицатели вникают в сны и толкуют их содержание как символ грядущего блага или угрожающего зла. Ибо древнее искусство толкования снов, в противоположность психоанализу, раскрывающему с их помощью человеческое прошлое, полагает, что в этих фантасмагориях бессмертные возвещают смертным их будущее. И вот тысячелетиями царит в храмах фараонов, в акрополях Греции, в святилищах Рима и под палящим небом Палестины эта мистическая наука. Для сотен и тысяч поколений сновидение было наиболее достоверным толкованием судьбы.

Новая эмпирическая наука, само собой разумеется, резко порывает с этим воззрением, как с суеверным и до крайности наивным. Так как она не признает никаких богов и едва ли признает божество, то не видит в снах ни указания свыше, ни какого-либо смысла вообще. Для нее сны — это хаос, по неимению смысла не имеющий никакой цены, голый физиологический акт, лишенное тональности дисгармоническое последействие нервных возбуждений, красочный мираж переполненного кровью мозга, последний, не имеющий значения отголосок не переваренных за день впечатлений, который уносится мутной волной сна. В таком беспорядочном нагромождении образов нет, разумеется, никакого логического или психического смысла. Поэтому наука не усматривает в чередовании сновидений ни достоверности, ни цели, отрицая какое бы то ни было их значение или закономерность; психология того времени не делает даже попыток осмыслить бессмысленное, истолковать не поддающееся толкованию.

Только с появлением Фрейда — по прошествии двух-трех тысячелетий — сновидение получает опять объективную ценность

как некий указующий на судьбу человека акт. Там, где другие видели только хаос, беспорядочное движение, глубинная психология вновь постигает закономерное действие сил; то, что казалось ее предшественникам запутанным лабиринтом без выхода и без смысла, представляется ей via regia[20], большой дорогой, связывающей подсознательную жизнь с сознательной. Сновидение является посредником между миром наших потайных чувств и миром чувств, подчиненных нашему сознанию; благодаря ему мы можем знать многое такое, что в состоянии бодрствования соглашаемся знать неохотно. Ни один сон, утверждает Фрейд, не является до конца бессмысленным, каждому из них как полноценному душевному акту присущ определенный смысл. В каждом проявляет себя не высшая правда, не божественная, не внечеловеческая воля, но зачастую самая затаенная, самая глубокая воля человека. Правда, этот вестник не говорит языком обыкновенной нашей речи, языком поверхностным, он говорит языком глубины, языком бессознательного. Поэтому мы не сразу постигаем его смысл и его назначение; мы должны сперва научиться истолковывать этот язык. Новая, подлежащая еще разработке наука должна научить нас закреплять, постигать, переводить на понятный нам язык то, что с кинематографической быстротой мелькает на черной завесе сна. Ибо подобно всем первобытным языкам человечества, подобно языку египтян, халдеян и мексиканцев, язык сновидений пользуется исключительно образами, и всякий раз мы стоим перед задачей претворить его символы в понятия. Эту задачу — преобразовать язык сновидений в язык мысли — берет на себя Фрейд, имея в виду нечто новое и характерное для его метода. Если старая, пророческая система толкования снов пыталась познать будущее человека, то вновь возникшая психологическая система прежде всего хочет вскрыть его психобиологическое прошлое, а с ним вместе

и подлинное его настоящее. Ибо только по видимости наше выступающее в сновидениях *Я* идентично нашему *Я* бодрствующему. Так как времени во сне не существует (не случайно мы говорим «с быстротой сновидения»), то во сне мы представляем совокупность всего, чем были когда-либо и что мы теперь; наше *Я* одновременно и младенец, и отрок, человек вчерашнего дня и человек сегодняшний, суммарное *Я*, итог не только текущей, но и прожитой жизни, между тем как наяву мы воспринимаем единственно наше мгновенное *Я*. Всякая жизнь двойственна. В глубине, в бессознательном, мы являем собой совокупность нашей личности, былое и настоящее, первобытного человека и человека культурного в их нагромождении чувств, архаические остатки некоего пространного, с природой связанного *Я*, а вверху, в ясном, режущем свете дня — только сознательное, преходящее *Я*. И эта универсальная, но смутная жизнь сообщается с нашим преходящим существованием почти исключительно ночью, при посредстве таинственного гонца во тьме — сновидения; самое существенное, что мы в себе постигаем, узнаем мы от него. Потому-то подслушать его, понять его назначение и значит ознакомиться с самым существом своей сущности. Только тот, кто знает свою волю не только в пределах сознания, но и в глуби своих сновидений, догадывается поистине о том итоге пережитой и преходящей жизни, который мы именуем нашей личностью.

Но как опустить грузило в столь непроницаемые и безмерные глубины? Как познать отчетливо то, что никогда ясно не сказывается, что мелькает только смутными личинами в затененных переходах нашего сна, что вещает только, вместо того чтобы говорить? Найти для этого ключ, найти расколдовывающий шифр, который бы выразил непонятный язык сновидений языком яви,— это требует своего рода магии, какой-то провидческой интуиции. Но Фрейд в своей

психологической мастерской обладает отмычкой, которая раскрывает все двери, он пользуется почти безошибочной механикой; во всех случаях, когда он хочет достигнуть самых сложных результатов, он исходит из самого примитивного. Неизменно ставит он изначальную форму в один уровень с конечной; всегда и повсюду нащупывает он корни, чтобы ознакомиться с цветком. Поэтому Фрейд в своей психологии сна начинает не с высококультурного, сознательного человека, а с ребенка. Ибо в детском сознании, в пределах наличных представлений, мало имеется смежных, соприкасающихся понятий, круг мышления ограничен, ассоциации слабы, и потому материал сновидений доступен обозрению. В отношении детских снов достаточно минимальной дозы искусства толкования, чтобы сквозь тонкую оболочку мышления проникнуть в область затаенных чувственных восприятий. Ребенок прошел мимо кондитерской, родители не согласились купить ему что-либо, и вот ребенок видит во сне шоколад. Полностью неотстоявшимися, полностью неокрашенными претворяются в детском мозгу вожделение в образ, желание — в сновидение. Нет еще налицо каких бы то ни было душевных, моральных, сексуальных, интеллектуальных задержек, какой-либо предусмотрительности или оглядки. С той же непосредственностью, с какой ребенок демонстрирует себя, свое голое и чуждое стыдливости тело всякому постороннему, раскрывает он и во сне свои подлинные желания.



Этим самым проделана уже некоторая подготовительная работа в целях будущего толкования. Оказывается, что за символическими образами сна скрываются по большей части неисполнившиеся, подавленные желания, которые не могли осуществиться днем и вот устремляются теперь обратно в жизнь путями сновидения. То, что по каким-либо причинам не могло воплотиться днем в слово или в действие, выявляет себя там в красочных фантазиях при посредстве образов и очертаний; в ускользающем от контроля потоке сна все вожделения и устремления нашего внутреннего *Я* могут свободно и во всей наготе вести беспорядочную свою игру. С виду как будто без всяких задержек — вскоре Фрейд исправит эту ошибку — изживается там все то, что не могло воплотиться в реальной жизни, самые темные желания, опаснейшие и запретнейшие помыслы; в этой свободной от постороннего контроля области душа, изо дня в день стесняемая преградами, может наконец освободиться от бремени всех своих сексуальных и агрессивных вожделений; во сне мужчина может обнять и силой овладеть женщиной, которая наяву ему противится, нищий может разбогатеть, урод — обзавестись красивой внешностью, старик — помолодеть, отчаявшийся в жизни — стать счастливым, всеми забытый — снискать славу, слабый — обрести силу. Только здесь человек может убить своего врага, поработить своего начальника, экстатически изжить, наконец, в обладании божественной свободой свои затаеннейшие чувственные вожделения. Всякое сновидение означает, таким образом, не что иное, как изо дня в день подавляемое человеком и даже от самого себя скрываемое желание; так, по-видимому, гласит первичная формула.

Это первое в ряду других положение Фрейда не произвело сколько-нибудь определенного впечатления на широкую общественность, так как формула «сновидение — это как бы неизжитое

желание» столь доступна в обращении и удобна, что ею можно играть как стеклянным шариком. И действительно, в некоторых кругах полагают, что серьезно занимаются анализом сновидений, развлекаясь забавной салонной игрой, выражающеюся в толковании того или иного сна с точки зрения символики желаний или даже сексуальной символики. В действительности никто более благоговейно, чем именно Фрейд, не взирал на многосложность той ткани, из которой сотканы сновидения, и на высокохудожественную мистику ее хитросплетений; никто не подчеркивал этого вновь и вновь так, как Фрейд. При его недоверчивом отношении к слишком быстрым выводам не потребовалось много времени, чтобы заметить, что вся эта доступность и быстрота восприятия относятся только к детским снам, ибо у взрослых фантазия образотворчества пользуется уже необъятным символическим материалом ассоциаций и воспоминаний. И тот образный словарь, который в детском мозгу насчитывает каких-нибудь двести — триста обособленных представлений, сплетает здесь с непостижимым проворством и быстротой миллионы и, может быть, миллиарды пережитых мгновений в непомерно запутанную ткань. Миновали в сновидениях взрослого бессознательное бесстыдство и неприкрытость детской души, свободно выявлявшей свои желания, миновала болтливая непринужденность прежней поры ночных видений; сон взрослого не только дифференцированнее, но и тоньше, затаеннее, неискреннее, лицемернее, чем сон ребенка; он стал уже наполовину моральным. Даже в этом призрачном, личном своем мире изначально-сущий в человеке Адам утратил рай непосредственности, он различает добро и зло даже в глубоком сне. Доступ к социальному, к этическому сознанию даже во сне не до конца прегражден, и, в то время как глаза сомкнуты и затуманены все чувства, душа человеческая испытывает страх: как

бы не застигла ее, с ее непристойными желаниями, с преступными ее намерениями, ее укротительница, совесть, «сверх-я», как именует ее Фрейд. Не свободными путями, открыто и без утайки, шлет сновидение свою весть ввысь, из области бессознательного, но проводит ее контрабандным путем, потайными дорогами, в самой затейливой маскировке. Поэтому Фрейд настоятельно предостерегает против того, чтобы рассматривать структуру сна как его истинное содержание. В сновидении взрослого чувство *хочет* высказаться, но не *решается* высказаться *свободно*. Оно высказывается, из страха перед «цензором», намеренно извращенно и чрезвычайно тонко, оно неизменно выдвигает на первый план бессмыслицу, чтобы не дать возможности разгадать подлинный смысл; как и всякий сочинитель, сновидение создает вымышленную правду, иначе говоря, оно признается «sub rosa», оно раскрывает тайное переживание только в символах. Следует поэтому тщательно разграничивать две категории: то, что «вымышлено» во сне ради утайки, так называемую «продукцию сна», и те подлинные элементы переживаний, которые скрываются за этой красочной завесой,— «содержание сна». Задачей психоанализа является, таким образом, разобраться в запутанной сети искажений и высвободить из загадочного романа — всякое сновидение ведь «вымысел и правда» — правду, действительное признание и вместе с ним ключ к разгадке. Не то, что говорит сон, а то, что он, собственно, *хотел* сказать, вводит нас в область бессознательных душевных переживаний. Только здесь обретаем мы глубину, к которой стремится глубинная психология.

Если Фрейд придает анализу сновидений особое значение в деле распознания личности, то этим он ни в коем случае не толкает нас на смутные, произвольные толкования. Фрейд требует научно-кропотливого метода исследования, подобного тому, которое применя-

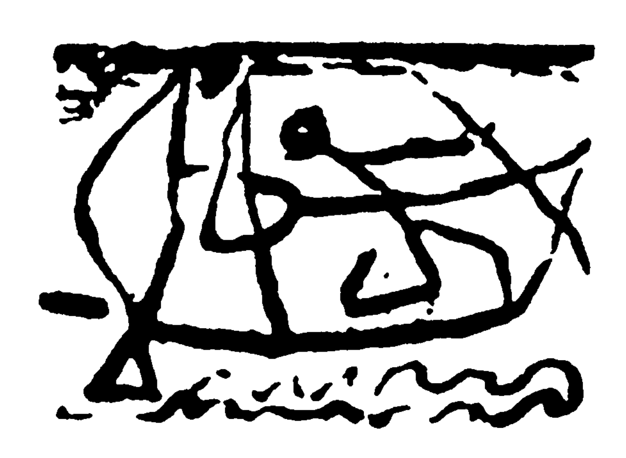
ется литературоведами при подходе к поэтическому произведению. Так же, как германист пытается отграничить подлинный мотив переживания от фантастических прикрас и спрашивает себя, что, собственно, побудило автора к этому именно образу — как, например, в эпизоде с Гретхен[21] усматривает он в качестве импульса подмену переживания с Фредерикой, так и психоаналитик ищет в измышленных своим пациентом сновидениях побудительный аффект. Образ данного лица обрисовывается перед ним всего явственнее в создаваемых этой личностью образах; здесь, как и всегда, Фрейд глубже всего познает человека в состоянии продуктивности. Но так как познание личности является, собственно, основной целью психоаналитики, то ему приходится крайне осмотрительно пользоваться творческими тенденциями человека, материалом его сновидений; если он остерегается увлечений, противится соблазну измыслить и вложить в чужое сновидение свой собственный смысл, то во многих случаях он способен отвоевать позиции, весьма важные для ориентировки во внутреннем мире личности. Несомненно, антропология обязана Фрейду, столь плодотворно установившему психическую осмысленность ряда сновидений, ценными моментами в своем развитии; но, помимо этого, в процессе его работы ему удалось достигнуть и большего, а именно впервые истолковать биологический смысл сновидения как некоей душевной необходимости. Наука уже давно постигла, что значит сон в хозяйственном обиходе мироздания; он восстанавливает истощившиеся за день силы, возобновляет израсходованную нервную энергию, устанавливает перерыв и отдых в сознательной работе мозга. В соответствии с этим, казалось бы, что совершеннейшей с гигиенической точки зрения формой сна должна быть, собственно, абсолютная, черная пустота, родственное смерти погружение в небытие, приостановка работы мозга, утрата зрения,

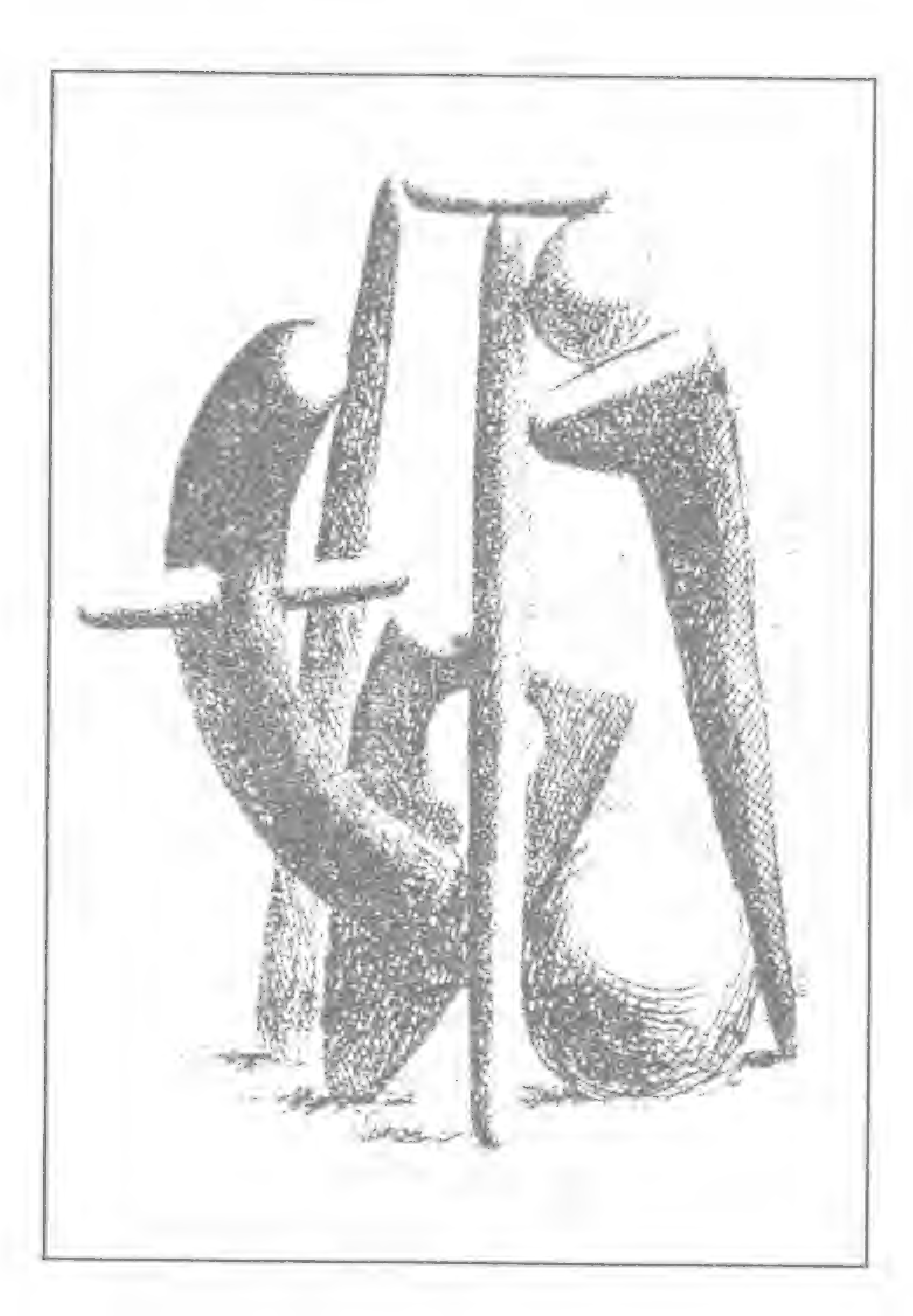
понимания, мыслительной способности. Почему же природа не наделила человека такой с виду наиболее целесообразной формой отдохновения? Почему при неизменной осмысленности всех ее явлений она оживила черную завесу сна колдовской игрой видений? Почему каждонощно тревожит она эту пустоту, этот путь в нирвану столь соблазнительным для души мельканием мнимой яви? К чему сновидения? Разве они не связывают, не смущают, не расстраивают, не противодействуют столь мудро задуманному отдохновению? С виду бессмысленные, разве они не опорочивают идею целесообразности и планомерности природных явлений? На этот вполне естественный вопрос биология ничего до сих пор не могла ответить. И лишь Фрейд устанавливает впервые, что сновидения необходимы для утверждения душевного нашего равновесия. Сновидение — это клапан для нашего чувства. Ибо в слабое и бренное наше тело вложено слишком много могучих страстей, непомерное жизнелюбие и непомерная жажда утех, и как мало желаний из миллиарда имеющихся налицо может удовлетворить рядовой человек в пределах мещански размеренного дня! Едва ли тысячная часть наших вожделений воплощается в жизнь; и вот неутоленная и неутомимая, в бесконечность простирающаяся жажда томит каждого, вплоть до мелкого рантье, поденщика и призреваемого в богадельне. Каждого из нас обуревают темные влечения, бессильное властолюбие, подавленные и трусливо притаившиеся анархические помыслы, извращенное тщеславие, позывы к жизни, зависть. Из несчетного числа проходящих мимо нас женщин каждая в отдельности вызывает в нас мгновенную страсть, и все эти неизжитые порывы, позывы к обладанию змеиным ядовитым клубком скопляются в подсознании с раннего утра и до поздней ночи. Если бы ночные видения не давали исхода всем этим подавленным желаниям, могла ли бы душа

не разлететься под таким атмосферным давлением или не прорвать себе выхода в преступление и убийство? Выпуская наши вожделения, непрестанно утесняемые в пределах дня, на свободу, в безобидные области сновидений, мы снимаем тяжкое бремя с нашего чувства, мы освобождаем путем такого самоотвлечения нашу душу от яда угнетенности, подобно тому, как наше тело освобождается во сне от яда усталости. В этом нам одним доступном воображаемом мире мы изживаем все наши социально преступные помыслы в форме безответственных, мнимых действий, вместо того чтобы изживать их как действия, влекущие кару. Сновидение означает суррогат, замену действия; оно избавляет нас нередко от необходимости действовать, и в высшей степени поучительно изречение Платона: «Хорошие люди — это такие, которые довольствуются снами, в то время как другие действуют». Не в качестве помехи жизни, помехи сна, а в качестве стража сна посещает нас сновидение; в спасительной его фантастике душа освобождается, галлюцинируя, от избытка своей напряженности («Что скопилось в сердце, расчихал во сне»,— гласит выразительная китайская поговорка), так что по утрам наше посвежевшее тело обретает в себе, вместо переполненной души, душу очистившуюся и легко дышащую.

Это облегчающее, катарсическое действие сновидения является, по Фрейду, тем самым его смыслом, которого так долго искали и который так упорно отрицался; и этим спасительным свойством обладает не только ночной пришелец, сон, но и высшая форма фантастики и грез наяву, а стало быть, и художественное творчество и мифотворчество. Ибо какую же цель преследует творчество, как не избавить, символически, человека от томительных внутренних перенапряжений, перенести гнетущую его силу в другую, безопасную для его духа область! В каждом истинно художественном произведе-

нии образотворчество является творчеством самовысвобождения, и если Гёте говорит, что Вертер покончил самоубийством вместо него, то этим он с необычайной выразительностью поясняет, что спас свою собственную жизнь, осуществив задуманное им самоубийство на другом, вымышленном образе, двойнике; выражаясь психоаналитически, он «отреагировал» свое самоубийство в самоубийстве Вертера. И подобно тому как отдельные личности освобождаются от гнета и от вожделения во сне, так и народы в целом высвобождают томящий их страх и присущие им страсти в мифах и религиях; на жертвенных алтарях освящается их инстинкт кровопролития, маскирующийся в символ, душевный гнет претворяется молитвой и покаянием в целительное слово утешения. Душа человечества выявляла себя от начала веков лишь в художественной фантастике,— иначе что бы мы о ней знали! Ее творческая мощь постигается нами только в ее сновидениях, воплощенных в религии, мифы и произведения искусства. Никакая психология поэтому не в состоянии — это прочно внушил нашей эпохе Фрейд — доискаться до подлинно личного в человеке, если она рассматривает только его сознательные и ответственные действия; ей приходится спуститься вглубь, туда, где существо человека становится мифом и создает наиподлиннейшую картину его жизни, в творчески стремительном потоке стихийно-бессознательного.





Техника психоанализа

Странно, что так мало занимались внутренним миром человека и что подходили к нему так бездушно. Как мало использованы средства физики для духа и дух — для внешнего мира.

Новалис

В некоторых отдельных местах многообразной нашей земной коры начинает бить внезапно, нежданным фонтаном драгоценная нефть, в некоторых разбросано в речном песке золото, в некоторых скопляется на поверхности уголь. Но техника человеческая не ждет, пока там и сям милостиво соизволят объявиться эти недостаточные по количеству сокровища. Она не надеется на случай, но сама разрывает землю, чтобы превратить источники в потоки, она пробивает ходы в глубине, и тысячи из них — без всякой пользы, с тем чтобы хоть один только раз добраться до драгоценной руды. Так и сколько-нибудь активная психология не должна довольствоваться случайными, всегда недостаточными показаниями сновидений и ошибочных действий; и ей приходится, чтобы добраться до основного пласта бессознательного, пользоваться психотехникой, сложными подземными сооружениями, открывающими доступ в глубину в результате систематической, преследующей определенную цель работы. Такой метод изобретен Фрейдом и назван им психоанализом.

Этот метод ни в чем не напоминает какого-нибудь из прежних, применявшихся в медицине или психологии. Он совершенно своеобразен и нов — способ, полностью независимый от других, психологическая система в ряду других систем и вместе с тем глубже их проникающая, почему Фрейд и назвал ее глубинной психологией. Врач, желающий пользоваться этим методом, нуждается в своих,

в высшей школе добытых познаниях в столь ограниченной степени, что вскоре, естественно, возник вопрос, требуется ли вообще для психоаналитика специальное медицинское образование; и на самом деле, после длительных колебаний, Фрейд признал допустимым и «анализ непрофессионалов», иначе говоря, лечение у людей, не обладающих дипломом врача. Ибо врачеватель души, во фрейдовском смысле этого слова, предоставляет анатомическое исследование физиологам, он стремится только к тому, чтобы сделать видимым невидимое. Так как в этих случаях не ищут ничего доступного механическому восприятию или осязанию, то всякая аппаратура становится для него излишней; кресло, в котором сидит врач, составляет так же, как в Christian Science, все врачебное оборудование этой терапии. Но Christian Science применяла все же духовные наркотики и анестезирующие средства; для облегчения страдания пациента она укрепляла тревожный дух его такими словами, как «Бог» и «вера». В противоположность этому психоанализ избегает всякого вмешательства, как психического, так и физического. Ибо в его намерения входит не ввести что-либо новое в человека, будь то лекарство или вера, но извлечь из него нечто в нем пребывающее. Только познание, активное самопознание дает исцеление в психоаналитическом смысле; лишь после того как человек возвращен самому себе, своей подлинной личности (а не к вере в свое выздоровление, всегда сомнительной и многообразной), становится он господином над своей болезнью. Таким образом, работа совершается, собственно говоря, не извне, над личностью пациента, но всецело внутри его, в пределах его душевной стихии.

Врач ничего от себя не привносит в это лечение, кроме своего контролирующего опыта, незаметным образом влияющего на направление работы. Он не имеет при себе наготове, подобно практику-

ющему врачу, каких-либо целебных снадобий или механической формулы; подобно последователю Christian Science, его умение является не заранее предписанным и готовым, но накопляется капля за каплей только по мере ознакомления с переживаниями больного. Пациент со своей стороны не вносит в процесс лечения ничего, кроме своего конфликта. Но он преподносит его не в раскрытом виде, не с разумением его свойств, а в самых своеобразных и обманчивых проявлениях, искаженно и замаскированно, так что на первых порах существо расстройства недоступно ни его пониманию, ни пониманию врача. То, что являет собой невротик и в чем он признается, только симптом. А симптомы в области психики никогда не указывают ясно на болезнь, наоборот, они укрывают ее, ибо, по мысли Фрейда (крайне своеобразной и новой), неврозы не имеют никакого содержания; каждый из них имеет только свою причину. Невротик не знает, чем вызвано его расстройство, или не хочет этого знать, или не постигает этого сознанием. Много лет подряд он претворяет свой внутренний конфликт в столь разнообразные навязчивые действия и симптомы, что в конце концов сам перестает понимать, что с ним происходит. И вот тут-то вступает в дело психоаналитик. Его назначением является помочь невротику разгадать загадку, ключ к которой он сам. В «деятельной работе вдвоем» он сообща с больным доискивается в зеркальном экране симптомов истинных, первичных образов расстройства; шаг за шагом проникают они путями психической жизни больного в обратном направлении вплоть до того момента, когда окончательно прояснится и станет понятным внутренний разлад.

Этот технический прием психоанализа ближе на первых порах к области криминальной, чем к сфере врачебной деятельности. Всякий невротик, всякий неврастеник должен был, по мысли

Фрейда, испытать когда-либо в прошлом взлом и покушение на целостность своей личности, и первой же мерой является возможно точное ознакомление с обстоятельствами дела; в памяти сознания должны быть с максимальной точностью восстановлены место, время и все подробности позабытого или вытесненного происшествия. Но уже при первом же этом шаге психоаналитический метод наталкивается на трудность, которая неизвестна судопроизводству. Ибо в психоанализе пациент до известной степени совмещает в себе все. Он лицо, пострадавшее от преступления, и в то же время сам преступник. Он при посредстве своих симптомов является обвинителем и свидетелем обвинения, и вместе с тем он самый яростный укрыватель и самая большая помеха процессу. Где-то в глубине души он догадывается о происшествии и вместе с тем ничего о нем не знает; все, что он показывает о причинах, не причины; он не хочет знать того, что знает, и все-таки знает каким-то образом то, чего будто бы не знает. И — еще фантастичнее!— этот процесс начинается вовсе не с момента вступления в дело врача, он, собственно говоря, много лет уже длится без перерыва в душе невротика, не приходя ни к какому концу. И психоаналитическое вмешательство имеет своей задачей в качестве последней инстанции положить конец процессу; к такому завершению, к такому разрешению больной бессознательно толкает врача.





Но психоанализ не пытается сразу же, посредством какой-либо поспешной формулировки, вывести невротика, человека, заблудившегося в душевном своем лабиринте, из его конфликта. Наоборот, на первых порах он оттесняет пациента, заманивает его ходами и обходами его собственных переживаний назад, в обратном направлении, до того рокового пункта, где имело место первоначальное, чреватое опасностью отклонение от прямого пути. Ибо для того чтобы выправить изъян в ткани и наново присучить нить, ткач всякий раз должен устанавливать машину на то именно место, где нить порвалась. Точно так же и врач неизбежным образом (тут не может быть никаких поспешных интуиций, никакого ясновидения) должен, для того чтобы полностью восстановить непрерывность жизненной ткани, вновь и вновь возвращаться к тому месту, где произошел в результате таинственного насилия надлом или перелом. Уже Шопенгауэр в смежной области науки высказал предположение, что можно было бы рассчитывать на полное выздоровление при душевных расстройствах, если бы мы были в состоянии проникнуть до того пункта, в котором имело место решающее потрясение психики; чтобы понять причину увядания цветка, нужно проследить ее вплоть до корней, до бессознательного. А это путь дальний, обходный и запутанный, грозящий ответственностью и опасностями; подобно тому как хирург становится во время операции все осторожнее и осмотрительнее, по мере того как приближается к тонкой нервной ткани, так и психоанализ мучительно медленно нащупывает себе сквозь эту тончайшую из материй пути от одного пласта переживаний к другому. Процесс психоанализа длится в каждом отдельном случае не дни и не недели, а месяцы, иногда и годы и требует от врача длительной душевной сосредоточенности, доселе даже приблизительно незнакомой медицине, устойчивого самообладания,

с которым могут, пожалуй, сравниться только упражнения иезуитов в волевой закалке. Все происходит при этих сеансах психоанализа без всякой записи, без каких бы то ни было вспомогательных средств, единственно путем напряженного внимания, рассчитанного, однако, на длительный период времени. Пациент ложится на кушетку, и притом так, что не может видеть сидящего позади него врача (с тем чтобы парализовать задержки стыдливости или сознания), и рассказывает. Но, в отличие от ошибочных представлений большинства, он не ведет рассказа в связной форме, не исповедуется; если подглядывать в замочную скважину, то зрелище психоанализа может показаться высококомичным, ибо в течение нескольких месяцев внешне как будто только то и происходит, что из двух человек один говорит, а другой прислушивается. Психоаналитик настоятельно внушает своему пациенту, чтобы он в этих своих высказываниях отрекся от какого бы то ни было обдумывания и не вмешивался в происходящий процесс в качестве поверенного, обвинителя или судьи, чтобы он вообще ничего не желал, но поддавался, только без всякой мысли всему, что придет ему непреднамеренно в голову (ибо приходит это не откуда-то свыше, а проступает из глубины, из бессознательного). Он не должен доискиваться того, что, по его мнению, относится к делу, ибо что означает, по существу, его душевное расстройство, как не то, что этот человек не знает, в чем его «дело», его болезнь? Если бы он знал это, он был бы психически нормален, не стал бы создавать для себя каких бы то ни было симптомов и ему незачем было бы обращаться к врачу. Психоанализ отвергает поэтому все заранее подготовленные сообщения, все писанное от руки и уговаривает только пациента излагать по памяти, в свободной форме как можно больше своих душевных переживаний. Невротик должен наговориться, выговорить себя самого, изъясняться

монологами, вкривь и вкось, рассказывать всякую всячину, что бы ни пришло ему в голову, самое с виду незначительное, ибо как раз неожиданные, непреднамеренные, случайные его высказывания важнее всего для врача. Только через посредство таких «мало относящихся к делу» подробностей врач может приблизиться к сути дела. Поэтому главнейшей обязанностью пациента является побольше рассказывать — правду или неправду, важное или неважное, театрально или искренне, но главное — раздобыть и преподнести как можно больше материала переживаний, то есть субстанцию биографическую и обрисовывающую душевный склад.

Теперь начинается, собственно, задача аналитика. Из груды постепенно подвезенного и сваленного в кучи износившегося жизненного материала, из многих и многих тысяч воспоминаний, замечаний и пересказанных сновидений врач должен при помощи жесткого решета психологии отделить пустой шлак и в процессе утомительной переплавки добыть чистый металл психологических выводов — психоаналитическую субстанцию из первичного сырья. Ни в коем случае не вправе он признавать полноценным сырой материал рассказа; он неизменно должен помнить, «что сообщения и высказывания больного являются лишь извращенной картиной искомого конфликта, как бы намеками, по которым приходится разгадывать, что за ними скрывается». Ибо для познания болезни важно не пережитое пациентом (это бремя давно уже свалилось с его души), но еще не изжитое, элементы чувства, пребывающие в нем непретворенными, подобно непереваренному куску в желудке, и, так же, как этот кусок, пробивающиеся и проталкивающиеся к выходу вовне, но всякий раз останавливаемые в своем продвижении судорогой какого-то противодействия. Этого противодействия и создаваемых им задержек должен доискиваться врач «с равномерным вниманием», в пределах

отдельных проявлений психики пациента, с тем чтобы постепенно напасть на подозрение и от подозрения перейти к уверенности. Такое наблюдение, спокойное, деловитое, как бы извне осуществляемое, одновременно и облегчается и затрудняется для врача поведением пациента, особенно в начале лечения, благодаря той едва ли не неизбежной установке чувств со стороны больного, которую Фрейд именует «перенесением». Невротик, прежде чем прийти к врачу, долгое время носит с собой избыток своего неиспользованного, неизжитого чувства, не будучи в состоянии от него отделаться. Он при помощи десятка симптомов перекатывает его из стороны в сторону, он разыгрывает свой бессознательный конфликт в самой причудливой игре перед самим собой; но сразу же, как только он видит перед собой в лице психоаналитика внимательного, профессионального слушателя и соучастника в игре, швыряет он свое бремя, как мяч, в него; он пытается перенести свои не поддающиеся воплощению аффекты на врача. Будь то чувство любви или ненависти, он, во всяком случае, вступает в определенное «отношение» с ним, устанавливая какое-то напряженное взаимодействие чувств. Впервые то, что до сих пор бессмысленно обрывалось в мире пустоты и никогда не могло до конца высвободиться, проявляется здесь, как на фотографической пластинке. Только с момента такого «перенесения» создается должная психоаналитическая интуиция; всякого больного, который на такое перенесение не способен, следует рассматривать как неподходящего для психоанализа. Ибо для того чтобы распознать конфликт, врач должен созерцать его развитие в эмоциональной, жизненной форме; пациент и врач должны сообща пережить его.

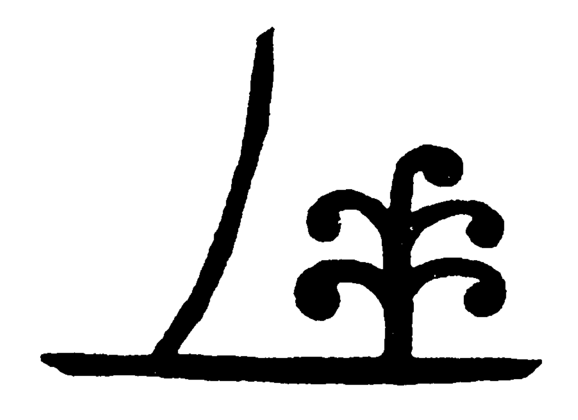
Эта общность психоаналитической работы состоит в том, что больной создает или, вернее, воспроизводит свой конфликт, а врач

толкует его смысл. Но при таком толковании смысла он ни в коем случае не должен (как можно было бы с излишней поспешностью предположить) рассчитывать на помощь больного; в области психики всегда имеют место разлад, двойственность чувств. Тот же самый пациент, который идет к психоаналитику, чтобы освободиться от своей болезни, зная только всего ее симптомы, вместе с тем бессознательно цепляется за нее, ибо эта его болезнь не постороннее для него тело, но нечто им самим созданное, его продукция, деятельная и характерная частица его *Я*, которую он вовсе не желает отдать. И вот он крепко держится за болезнь, потому что помирится охотнее с ее тяжелыми симптомами, чем с истиной, которой он боится и которую врач хочет ему (собственно, против его воли) объяснить. Так как он чувствует и аргументирует двойственно — в одном случае исходя из сознания, а в другом из подсознания,— то он сразу и охотник и преследуемая им дичь; лишь одна часть его существа помогает врачу, другая является его яростным противником, и в то время как одной рукой пациент протягивает врачу будто бы добровольное признание, другая его рука запутывает дело и накидывает покров на истинное его положение. Таким образом, сознательный невротик ничем не может помочь своему целителю; он не в состоянии сказать ему «правду» потому, что незнание правды или нежелание ее знать и есть то самое, что вывело его из равновесия и привело к расстройству. И даже в моменты искренней готовности к прямодушию он лжет относительно себя. За каждой правдой скрывается другая, более глубокая правда, и если человек признается, то часто только с тем, чтобы за этим признанием утаить другое, еще более сокровенное. Порывы к откровенности и чувство стыда ведут здесь друг с другом и друг против друга таинственную игру, рассказчик временами выдает себя своими словами, а временами за этими словами прячется;

в разгаре добровольной откровенности воля к признанию неожиданно подавляется. В каждом человеке, чуть только кто-либо захочет приблизиться к его сокровеннейшей тайне, что-то судорожно напрягается; всякий психоанализ в действительности борьба!

Но гений Фрейда всякий раз умеет обратить даже самого заклятого врага в незаменимого союзника. Как раз это сопротивление и выдает нередко человека, вырывая у него признание. Ибо для всякого обладающего тонким слухом наблюдателя человек выдает себя в беседе двояким образом: с одной стороны, тем, что он говорит, и, с другой стороны, тем, о чем он умалчивает; и фрейдовское искусство тайного розыска чует близость решающей тайны там, где хочет и не может заговорить сила противодействия; задержка предательски становится союзником, она дает указания относительно правильного пути. Там, где больной говорит слишком громко или слишком тихо, где он ускоряет темп речи или вдруг останавливается, там хочет заговорить само бессознательное. И эти многочисленные мелкие сопротивления, эти еле заметные колебания, паузы, слишком громкая или слишком тихая речь, которые наступают всякий раз при приближении определенного комплекса, указывают наконец явственно наряду с задержкой на задерживающий фактор и объект задержки, короче говоря, на предмет розыска — затаенный и замаскированный конфликт.





Ибо в процессе психоанализа дело неизменно идет о бесконечно малых догадках, об осколках переживаний, из которых мозаически составляется затем картина внутренней жизни. Нет ничего наивнее столь укоренившихся в гостиных и в кафе представлений, будто бы человек опускает в мозги психоаналитика, как в автомат, свои сны и свои признания, повертывает рукоятку механизма при помощи двух-трех вопросов — и сразу же выпадает оттуда диагноз. На самом деле всякий психоаналитический курс представляет собой неимоверно сложный, отнюдь не механический и даже высокохудожественный процесс, более всего сходный, пожалуй, с реставрированием, в прежнем ее стиле, старой, загрязненной картины, наново размалеванной поверх оригинала чьей-нибудь неуклюжей рукой; с изумительным терпением, слой за слоем, по миллиметрам, приходится обновлять ее и облекать новой жизнью, оперируя над тонким и драгоценным материалом, пока наконец не проступит, после снятия размалевки первоначальный образ в естественной своей расцветке. Внешне поглощаемый исключительно единичными подробностями, труд психоаналитического созидания неизменно имеет в виду целое, восстановление личности во всей ее полноте; поэтому в настоящем анализе отнюдь не следует выхватывать какой-либо один комплекс; всякий раз приходится восстанавливать, начиная с фундамента, всю душевную жизнь человека. Таким образом, терпение — это качество, которого требует психоанализ, деятельное терпение при непрестанной и все же не бросающейся в глаза наблюдательности, ибо врач, не давая того заметить, должен бесстрастно распределять свое непредвзятое внимание между тем, что пациент рассказывает и что он не рассказывает, и, сверх того, не упускать из виду оттенков рассказа. Он должен сопоставлять данные каждого сеанса со всеми предшествующими, чтобы подметить, какие эпизоды

больной повторяет в силу внутреннего противодействия подозрительно часто, в каких пунктах его рассказ вступает в противоречие с самим собой, и при этом он не вправе обнаружить нарочитое свое любопытство. Ибо, как только пациент замечает, что за ним следят, он теряет свою непосредственность — ту самую непосредственность, которая одна ведет к мгновенным озарениям бессознательного и дает возможность врачу созерцать контуры незнакомого пейзажа чужой психики. Но и это свое собственное толкование он не должен навязывать затем пациенту, ибо смысл психоанализа как раз в том, чтобы самосознание пришло к больному изнутри, чтобы переживание было изжито. Излечение в идеальной форме наступает лишь тогда, когда пациент признает наконец свои невротические симптомы излишними и станет претворять энергию своего чувства не в ложные представления и образы, а в жизнь и в жизненный труд. Только тогда анализ отпускает больного.

Но часто ли— опасный вопрос!— удается психоанализу добиться столь совершенного результата? Боюсь, что не слишком часто. Ибо искусство выспрашивать и выслушивать требует исключительной тонкости душевого слуха, высокой проникновенности чувства, одновременного наличия стольких драгоценных духовных качеств, что только человек, судьбой к этому предназначенный, истинный психолог по призванию может действовать здесь в качестве посредника. Christian Science и метод Куэ могут себе позволить подготавливать простых механиков по этим специальностям. Там достаточно заучить наизусть несколько универсальных формул: «Никаких болезней нет», «Я чувствую себя с каждым днем лучше»; такими грубо сработанными понятиями даже и неловкие руки могут без особого риска молотить по слабым человеческим душам, до тех пор, пока пессимистическая мысль о болезни не будет выколочена начисто. Но психо-

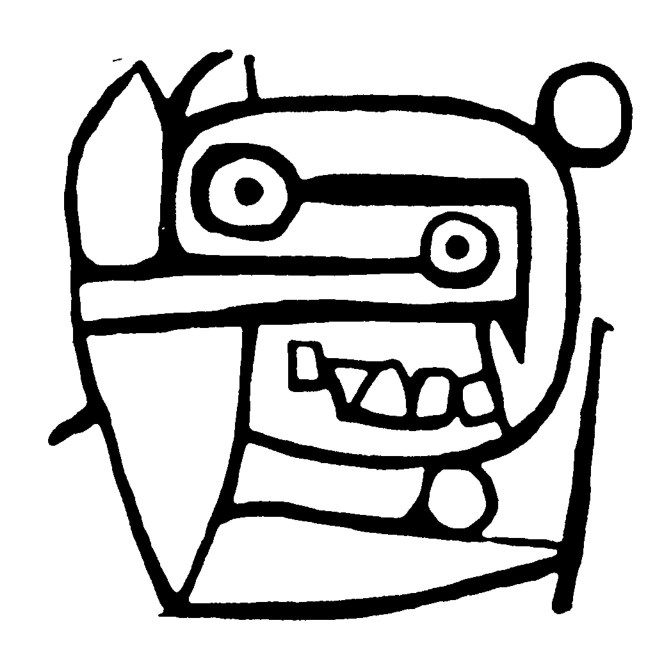


аналитический метод возлагает на сознающего свою ответственность врача долг разрабатывать для себя в каждом индивидуальном случае особую систему, а такого рода творческая способность к приспособлению не дается одним усердием и здравым смыслом. Она требует прирожденного и искушенного знатока душ человеческих, способного вдумываться в чужие судьбы и чувствовать их в соединении с человеческим тактом и терпеливой, незаметной наблюдательностью; но сверх этого, от творчески одаренного психоаналитика должна бы исходить и еще некая магическая сила, поток симпатии и уверенности, которому могла бы доверчиво и со страстной готовностью подчиниться чужая душа,— качество, не поддающееся выучке и сочетающееся в лице одного человека лишь по особой милости неба. В крайней малочисленности таких истинных знатоков души человеческой склонен я видеть причину того, что возможности применения психоанализа ограничены и что в будущем он может стать призванием единиц, но не рядовой профессией и карьерой, что слишком часто встречается, к сожалению, в наши дни. Но в данном случае Фрейд смотрит странно-снисходительно, и когда он заявляет, что успешная работа при помощи его метода хотя и требует такта и опыта, но «легко поддается изучению», то позволительно поставить здесь жирный и почти яростный вопросительный знак. Ибо уже выражение «работа» кажется мне неудачным для процесса, требующего напряжения высших духовных сил в человеке, а указание на всеобщую доступность явно, по-моему, опасно. Ибо самое усердное занятие психотехникой столь же мало способно создать истинного психолога, как знание стихосложения — поэта; а между тем только истинному психологу, ему одному, прирожденному, владеющему даром прочувствования провидцу душ человеческих, может быть разрешен доступ к самому тонкому, самому хрупкому

и чувствительному из всех наших органов. Нельзя без ужаса подумать о том, какую опасность может представить в неуклюжих руках своего рода инквизиторский метод, задуманный в высшей степени тонко и с сознанием ответственности таким творческим умом, как Фрейд. Ничто, вероятно, так не повредило репутации психоанализа, как то обстоятельство, что он не ограничился узким, избранным кругом лиц, а ввел в состав школьной науки то, что не поддается изучению. Ибо в процессе поспешного и непродуманного перехода из рук в руки многие его понятия огрубели и отнюдь не стали чистоплотнее; то, что слывет в наши дни в Старом и тем более в Новом Свете психоаналитическим методом, в профессиональном или дилетантском его применении, часто имеет с первоначальной практикой Зигмунда Фрейда, взявшего установку на гений и выдержку, лишь печальное сходство пародии. Как раз те, кто хотят судить независимо, должны признать, что только в результате упомянутых школьных анализов нет в настоящее время никакой возможности проверить, что, собственно, дает психоанализ в смысле терапии и будет ли он когда-либо в состоянии, в силу захвата его сомнительными дилетантами, удержать за собой абсолютное значение клинически точного метода; решение принадлежит здесь не нам, а будущему.

Одно только ясно: психоаналитическая техника Фрейда далеко еще не является последним и решающим словом в науке психотерапии. Но заслуга ее на вечные времена в том, что она составила первую страницу этой слишком долго пребывавшей за семью печатями книги, явилась первой методологической попыткой постигнуть индивидуум и излечить его на основе материала его личности. С гениальным инстинктом один отдельный человек осознал пустоту в средоточии современной врачебной науки; непостижимый факт: в то время как установлен тщательный уход за такими деталями

человеческого организма, как зубы, кожа, волосы, душевные страдания не нашли отзвука у науки. Педагоги помогали человеку до наступления зрелости, а потом равнодушно оставляли его одного. И в полном пренебрежении пребывали те, кто еще в школе не справились с собой, не выполнили урока и беспомощно влачили за собой свои неизбытые конфликты. Для этих ушедших в себя и отставших, для невротиков, психастеников, для узников своего внутреннего мира целое поколение не нашло пристанища, не нашло участия; больная душа беспомощно блуждала по улицам в тщетных поисках помощи. Такую инстанцию создал Фрейд. Он указал новой, современной нам науке место, где в античные времена стояли психолог, врачеватель душ и наставник в премудрости, а во времена благочестия — жрец. Науке предстоит еще отвоевать себе границы, но задача поставлена во всем ее величии, дверь раскрыта. А там, где дух человеческий чует новые миры и неизведанные еще глубины, он не успокаивается, но в мощном порыве расправляет свои не знающие устали крылья.



Область пола

И неестественное — тоже природа. Кто не видит ее во всем, тот нигде не видит ее как должно.

Гёте

То, что Зигмунд Фрейд стал основателем сексуальной науки, без которой отныне уж не обойтись, произошло, собственно, без всякого с его стороны умысла. Но таинственная закономерность его жизненного пути в том, по-видимому, что путь этот всякий раз ведет его дальше, за пределы искомого, и открывает ему области, куда он по собственной воле никогда бы не отважился вступить. В тридцать лет он, вероятно, улыбнулся бы недоверчиво, если бы кто-нибудь предсказал, что ему, неврологу, предстоит поднять толкование снов и биологическую трактовку половой жизни до высоты науки, ибо ничто не предуказывает ни в личных его, ни в научных склонностях ни малейшего интереса к столь отдаленным и обходным дисциплинам. То, что Фрейд занялся проблемой пола, произошло не потому, что он к этому стремился; эта проблема сама собой стала на пути его научного мышления.

Она стала на его пути, к собственному его изумлению, совершенно неожиданно, возникнув из тех глубин, в которые заглянул он с Брейером. Они, исходя из истерии, сообща установили новое положение, что неврозы и большая часть всякого рода душевных расстройств возникают тогда, когда какое-либо влечение встречает препятствие на пути к естественному своему исходу и, не получив удовлетворения, оттесняется вглубь, в подсознание. Какого же рода те влечения, которые главным образом подавляет культурный человек, которые он скрывает от мира и даже от самого себя в качестве наиболее интимных и для самого себя тягостных? Проходит немного

времени, и Фрейд дает сам себе ответ, от которого не уйти. Первый случай психоаналитического лечения невроза указывает на подавление эротического аффекта. Второй и третий точно так же. И вскоре Фрейд убеждается: всегда или почти всегда невроз обусловливается сексуальным влечением, которое, не будучи в состоянии овладеть своим объектом, претворяется в задержки и давит на психику. Первым ощущением Фрейда при этом непреднамеренном открытии было, вероятно, изумление по поводу того, что столь очевидный факт ускользнул от внимания всех его предшественников. Неужели действительно никому не бросилась в глаза эта прямая обусловленность? Нет, об этом нет ни слова в учебниках. Но потом Фрейд вспоминает вдруг о некоторых намеках и разговорах своих знаменитых учителей. Когда Хробак[22] передал ему для лечения одну истеричку, он тут же сообщил ему под секретом, что эта женщина, несмотря на восемнадцатилетнее супружество, осталась девственницей, потому что муж ее был импотентен; при этом он пошутил довольно грубо, пояснив лично от себя, какое, по его мнению, в высшей степени физиологическое и угодное Богу вмешательство могло бы лучше всего ее исцелить. Точно так же и его учитель Шарко в Париже в подобных же обстоятельствах высказался в разговоре относительно причины одного нервного расстройства: «Mais c'est toujours la chose sexuelle, toujours!»[23] Фрейд поражен. Значит, они это знали, его учителя, и, вероятно, бесчисленное количество выдающихся врачей и до них! Но,— возмущается в нем его наивная добросовестность,— если они знали, почему держали они это в секрете и высказывались только в разговоре, никогда не заявляя об этом публично?

Вскоре молодой врач на себе узнает, почему эти искушенные мужи утаивали от мира свои знания. Ибо, едва только сообщает Фрейд спокойно и деловито результаты своих наблюдений в формуле:

«Неврозы возникают там, где в силу внешних или внутренних препятствий нет реального удовлетворения эротическим потребностям», как со всех сторон встречает он яростный отпор. Наука, в то время еще непреклонная хоругвеносица морали, не согласна официально признать такого рода сексуальную этиологию; даже его друг, Брейер, который сам содействовал ему в обнаружении тайны, поспешно отходит от психоанализа, как только начинает понимать, что помог ему открыть своего рода ящик Пандоры. Проходит немного времени, и Фрейду приходится удостовериться, что в 1900 году такие формулировки затрагивают пункт, где душа, равно как и тело, отличается наибольшей чувствительностью и щекотливостью; он убеждается, что тщеславие современной ему цивилизации охотнее помирится с любым уроном, чем услышит лишний раз, что инстинкт полового влечения все еще распоряжается каждым в отдельности и является решающим моментом в создании высших культурных ценностей. «Общество ни в чем не усматривает такой угрозы культуре, как в высвобождении полового инстинкта и в согласовании его с его прямыми, первоначальными целями. Общество не любит, чтобы ему напоминали об этом щекотливом обстоятельстве, лежащем в его основе. Оно ничуть не заинтересовано в том, чтобы мощь полового инстинкта была признана и чтобы разъяснено было значение половой жизни для каждого в отдельности. Наоборот, оно, в педагогических целях, избрало путь отвлечения внимания от всей этой области. Поэтому научные результаты психоанализа в целом ему не по вкусу, и охотнее всего оно заклеймило бы их, как эстетически-отталкивающие, морально неприемлемые и опасные для человечества».

Таким образом, все современное Фрейду миросозерцание становится ему поперек дороги с первых же его шагов. И к чести его как человека добросовестного, нужно сказать, что он не только

с решимостью принял вызов, но даже затруднил для себя борьбу благодаря врожденной своей прямолинейности. Ибо Фрейд мог бы высказать все, что он сказал, или почти все, не вызвав особого раздражения, если бы он нашел в себе готовность формулировать свою генеалогию половой жизни более осторожным образом, путем обходов, никого не задевая. Ему следовало только накинуть словесный покров на свои убеждения, приукрасить их слегка поэтически, и они контрабандой проникли бы в общество, никому особенно не бросаясь в глаза. Достаточно было бы, пожалуй, назвать то неистовое фаллическое влечение, чью мощь и силу он хотел показать во всей наготе, не либидо, а более изысканно — эросом или любовью. Ибо утверждение, что душевная наша жизнь находится под знаком эроса, звучало бы во всяком случае по-платоновски. Но Фрейд, человек без лоска и противник всякой половинчатости, выбирает слова жесткие, угловатые, прямо бьющие в цель, он не упускает случая быть ясным, он так и говорит: либидо, похоть, сексуальность, половое влечение вместо эрос и любовь. Фрейд слишком честен, чтобы, когда он пишет, выражаться описательно. «Il appelle un chat un chat»[24], он пользуется как терминами в области пола и всяческих от него отклонений обычными немецкими наименованиями с тем же бесстрастием, с каким географ перечисляет города и горы или ботаник — растения и травы. С клиническим хладнокровием подвергает он исследованию все проявления сексуальности, не исключая и тех, которые заклеймены в качестве пороков и извращений, равнодушный к выпадам возмущенной морали и к воплям перепуганной стыдливости; заткнув себе в известном смысле уши, он спокойно и терпеливо внедряется в неожиданно открывшуюся проблему и приступает к систематическому, первому за все время психогеологическому обследованию мира человеческих инстинктов.

Ибо в человеческом инстинкте Фрейд, этот сознательно посюсторонний и глубоко антирелигиозный мыслитель, видит самый последний, огненно-текучий слой внутреннего нашего подземного мира. Не вечности хочет человек, не жизни в духе жаждет как высшего блага душа; она жаждет слепо-инстинктивно. Беспредельное вожделение — это начало и основа всякой психической жизни. Так же, как тело к пище, стремится душа к наслаждению; либидо, этот извечный позыв к сладострастию, этот неутолимый душевный голод, гонит ее в мир. Но — в этом, собственно, основа фрейдовского открытия в сексуальной науке — либидо не имеет поначалу никакого определенного содержания, его смысл только в том, чтобы исходить влечением и влечением растекаться. И так как, по творческой установке Фрейда, душевная энергия всегда допускает перенесение, то либидо может быть обращаемо то на один, то на другой объект. Таким образом, не всегда вожделение возникает в игре взаимного влечения между мужчиной и женщиной; оно стремится только к удовлетворению, оно — как напряжение лука, который не знает еще, куда полетит стрела, как сила устремления потока, которому неведомо то устье, куда оно вольется. Оно гонит человека к удовлетворению, не зная, в чем оно выразится. Оно может найти исход и выход в обыкновенном, нормальном половом акте и может точно так же духовно претвориться в сублимированный акт художественного или религиозного творчества. Оно может найти себе неверный исход и перейти в отклонение, «замещая» в своем порыве самые неожиданные объекты вне сексуальной сферы, и полностью вывести половой поначалу инстинкт из области плоти путем бесчисленных промежуточных переключений. От животной похоти до тончайших проявлений человеческого духа, способно оно претворяться во все формы, не обладая само по себе никакой формой, не будучи

осязаемо и в то же время неотступно участвуя в игре. Но неизменно и в низших своих проявлениях, и в высших достижениях оно воплощает единую и изначальную волю человека к сладострастию.

После такой переоценки со стороны Фрейда установка в области половой проблемы разом изменилась. Так как прежняя психология, не подозревавшая о способности душевной энергии подвергаться превращениям, грубо отождествляла все половое с функциями половых органов, то в глазах науки сексуальность являлась развитием темы о функциях нижней части тела и представлялась поэтому делом щекотливым и нечистоплотным. Отделяя понятие сексуальности от физиологической половой деятельности, Фрейд вместе с тем расширяет это понятие и опровергает ложное о нем представление как о «низшем» психофизическом акте; исполненные предчувствия слова Ницше: «Степень и характер сексуальности человека отражаются во всем его существе, вплоть до вершин его духа»— подтверждаются Фрейдом в качестве биологической истины. На бесчисленных единичных примерах он показывает, как эта мощно напрягающая человека сила, путями таинственного проникновения вдаль, находит себе на протяжении десятилетий разряд в совершенно неожиданных проявлениях его душевной жизни, как сказывается вновь и вновь особый склад его в бесчисленных превращениях и искажениях в самых удивительных формах вожделения и подменяющих его действиях. Таким образом, во всех случаях, где имеются налицо бросающаяся в глаза особенность душевного склада, угнетенность, невроз, навязчивые действия, врач в силу сказанного выше может по большей части уверенно судить о наличии особого склада сексуальной жизни или о ее отклонении от нормы; в дальнейшем в соответствии с методом глубинной психологии его обязанностью является довести больного до той первоначальной точки его внутренней жизни, где

в силу какого-либо переживания последовало отклонение от нормальной линии развития его инстинкта. Этот новый диагностический прием опять-таки приводит Фрейда к неожиданному открытию. Уже данные первых произведенных им психоанализов сделали для него ясным, что сексуальные переживания невротика, обусловливающие его расстройство, лежат где-то далеко позади, и наиболее естественным представлялось искать их в ранние годы индивидуума, в ту пору, когда формируется душа; ибо единственное, что отпечатывается, к моменту созревания личности, на мягкой и потому отчетливо воспроизводящей пластинке возникающего сознания, это, собственно, то, что предопределяет дальнейшую судьбу человека и чего нельзя уже стереть: «Пусть никто не думает, что может преодолеть первые впечатления своей юности» (Гёте). Поэтому в каждом отдельном случае Фрейд неизменно идет ощупью в обратном направлении, вплоть до момента половой зрелости,— для него на первых порах нет еще вопроса о годах более ранних; ибо каким образом могут возникнуть впечатления пола до того, как установилась половая способность? В то время ему кажется полностью бессмысленной самая мысль — пытаться проследить жизнь полового инстинкта за пределами этой зоны, в раннем детстве, ничего не подозревающем в своем блаженном неведении о томительных, порывающихся во вне соках. В своих первых исследованиях Фрейд остановился, таким образом, на моменте возмужания.

Но вскоре Фрейду приходится, в результате некоторых удивительных признаний, убедиться, что у многих его больных возникают в процессе психоанализа неоспоримо отчетливые воспоминания о более ранних, как бы доисторических сексуальных переживаниях. Вполне ясные высказывания его пациентов внушили ему подозрение, что и в периоде, предшествующем возмужалости, то есть в детстве,

должен уже быть налицо половой инстинкт или определенные о нем представления. Подозрение по мере дальнейших изысканий становится все более настойчивым; Фрейд вспоминает, что могут порассказать бонны и школьные учителя о такого рода ранних проявлениях полового любопытства, и вдруг его собственное открытие относительно различия между сознательной и бессознательной душевной жизнью разъясняет ему положение. Фрейд убеждается, что половое сознание не проникает неожиданно в организм в период возмужания — откуда было бы ему взяться? — но что половой инстинкт — как давно уже выразил это наш язык в тысячу раз психологичнее, чем все психологи,— лишь «пробуждается» в наполовину созревшем человеке и что он давно уже содержался в детском организме в состоянии дремоты (то есть в скрытом состоянии). Подобно тому, как способность ходить заключена уже потенциально в ногах ребенка, прежде чем он научится ходить, и позыв к речи — прежде чем он научится говорить, имеется налицо у ребенка и сексуальность, разумеется, без всякой мысли о ее действенном предназначении. Ребенок догадывается — решающая формула!— о своей сексуальности. Он только не понимает ее.



в силу какого-либо переживания последовало отклонение от нормальной линии развития его инстинкта. Этот новый диагностический прием опять-таки приводит Фрейда к неожиданному открытию. Уже данные первых произведенных им психоанализов сделали для него ясным, что сексуальные переживания невротика, обусловливающие его расстройство, лежат где-то далеко позади, и наиболее естественным представлялось искать их в ранние годы индивидуума, в ту пору, когда формируется душа; ибо единственное, что отпечатывается, к моменту созревания личности, на мягкой и потому отчетливо воспроизводящей пластинке возникающего сознания, это, собственно, то, что предопределяет дальнейшую судьбу человека и чего нельзя уже стереть: «Пусть никто не думает, что может преодолеть первые впечатления своей юности» (Гёте). Поэтому в каждом отдельном случае Фрейд неизменно идет ощупью в обратном направлении, вплоть до момента половой зрелости,— для него на первых порах нет еще вопроса о годах более ранних; ибо каким образом могут возникнуть впечатления пола до того, как установилась половая способность? В то время ему кажется полностью бессмысленной самая мысль — пытаться проследить жизнь полового инстинкта за пределами этой зоны, в раннем детстве, ничего не подозревающем в своем блаженном неведении о томительных, порывающихся во вне соках. В своих первых исследованиях Фрейд остановился, таким образом, на моменте возмужания.

Но вскоре Фрейду приходится, в результате некоторых удивительных признаний, убедиться, что у многих его больных возникают в процессе психоанализа неоспоримо отчетливые воспоминания о более ранних, как бы доисторических сексуальных переживаниях. Вполне ясные высказывания его пациентов внушили ему подозрение, что и в периоде, предшествующем возмужалости, то есть в детстве,

должен уже быть налицо половой инстинкт или определенные о нем представления. Подозрение по мере дальнейших изысканий становится все более настойчивым; Фрейд вспоминает, что могут порассказать бонны и школьные учителя о такого рода ранних проявлениях полового любопытства, и вдруг его собственное открытие относительно различия между сознательной и бессознательной душевной жизнью разъясняет ему положение. Фрейд убеждается, что половое сознание не проникает неожиданно в организм в период возмужания — откуда было бы ему взяться? — но что половой инстинкт — как давно уже выразил это наш язык в тысячу раз психологичнее, чем все психологи,— лишь «пробуждается» в наполовину созревшем человеке и что он давно уже содержался в детском организме в состоянии дремоты (то есть в скрытом состоянии). Подобно тому, как способность ходить заключена уже потенциально в ногах ребенка, прежде чем он научится ходить, и позыв к речи — прежде чем он научится говорить, имеется налицо у ребенка и сексуальность, разумеется, без всякой мысли о ее действенном предназначении. Ребенок догадывается — решающая формула!— о своей сексуальности. Он только не понимает ее.



Но вот — я только высказываю предположение, а не говорю уверенно,— это открытие должно было, кажется мне, испугать в первый миг самого Фрейда. Ибо оно рушит почти кощунственным образом все обычные представления. Если требовалась большая смелость, для того чтобы подчеркнуть психическое значение сексуальности в жизни взрослого и даже, как утверждают другие, переоценить это значение, то каким вызовом общественной морали является эта революционная теория: искать следы полового чувства в ребенке, с которым человечество связывает представление об абсолютной чистоте, ангелоподобности и отсутствии всяких страстей! Как, неужели и этому нежному, улыбчивому, цветущему существу знакомо уже вожделение, хотя бы и бессознательное? Эта мысль кажется поначалу нелепой, бессмысленной, преступной, почти нелогичной, ибо, раз организм ребенка не способен к продолжению рода, то должна оказаться верной формула: «Если вообще у ребенка есть сексуальная жизнь, то она может быть только извращенной». Произнести вслух такие слова в 1900 году было в области науки равносильно самоубийству. Но Фрейд их произносит. Там, где этот непреклонный ум чувствует твердую почву, он неудержимо устремляется со свойственной ему мощью вглубь, вплоть до последних пластов, ввинчиваясь последовательно, шаг за шагом. И, к своему собственному изумлению, он открывает, что именно в пору наибольшей бессознательности, в грудном возрасте, наиболее явственно обнаруживает себя интересующая его первичная и универсальная форма вожделения. Как раз потому, что на этой ступени человеческой жизни ни единый отсвет морального сознания не проникает еще в чуждую задержек область инстинктивных влечений, это крошечное существо, грудной младенец, являет собой наиболее выразительную форму либидо: всасывать в себя наслаждение, отталкивать от себя горечь. Отовсюду впитывает

в себя этот крохотный зверек в человеческом образе усладу: из собственного своего тела и из окружающего мира, из материнской груди, из пальцев и пяток, из дерева и материи, из плоти и одежды; в блаженном, чуждом всяких задержек опьянении он стремится ввести в свое маленькое, мягкое тельце все, что доставляет ему удовольствие. В этой первичной форме вожделения ребенок, существо со смутно намечающимся сознанием, не различает еще понятий «твое» и «мое», которые внушат ему впоследствии, он не чувствует еще тех преград как физических, так и моральных, которые воздвигнет для него в дальнейшем система воспитания; существо анархическое, вселенское, пытающееся, в неудержимой похоти, впитать в свое *Я* весь мир, он подносит все, что может захватить своими крохотными пальцами, к единственно ему знакомому источнику услады, к своему рту (почему Фрейд и именует этот период «оральным»). Безмятежно играет он со своими членами, весь уйдя в бормочущие, присасывающие вожделения и яростно протестуя против всего, что мешает ему в этом блаженно-неистовом посасывании. В грудном младенце, в этом еще не *Я*, в этом смутном «оно» — и только в нем одном — универсальное человеческое либидо изживает себя вне всякой цели и вне объекта. Здесь бессознательное *Я* жадно пьет еще усладу из всех сосцов вселенной.

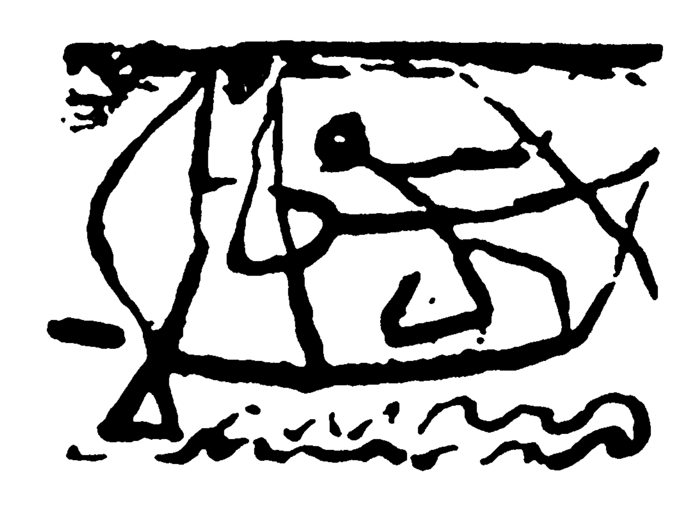
Но эта первоначальная автоэротическая стадия длится непродолжительное время. Вскоре ребенок начинает догадываться, что его тело имеет границы; в крохотном мозгу мелькает искра сознания, возникает первое представление о различии между внешним и внутренним. Впервые чувствует ребенок сопротивление мира и на опыте узнает, что это окружающее — сила, с которой приходится считаться. Боль от наказания знакомит его с непостижимым для него законом, в силу коего не дозволено черпать наслаждение из всех без различия

источников; ему запрещают оголять свое тело, трогать свои испражнения и забавляться ими; немилосердным образом принуждают его отказаться от единства чувства, чуждого всякой морали, и рассматривать одни вещи как дозволенные, другие как недозволенные. Культурная среда начинает вселять в маленького дикаря социальную эстетическую совесть, некий контролирующий аппарат, при помощи которого он может осознавать свои поступки, как хорошие и дурные. И с возникновением этого сознания юный Адам оказывается изгнанным из эдема безответственности.

И одновременно возникает как бы обратный процесс в развитии инстинкта сладострастия; этот инстинкт отходит в подрастающем ребенке на задний план, уступая место новому инстинкту самоосознания. Из некоего «оно», инстинктивно-бессознательного, образуется *Я*, и открытие этого *Я* связано с таким напряжением мозга и такой его работой, что первоначальное космическое вожделение оказывается в забросе и переходит в скрытое состояние. Но и этот процесс самонаблюдения не проходит полностью бесследно и нередко оставляет у взрослого ряд воспоминаний; у некоторых он сохраняется в качестве нарциссической тенденции (выражение Фрейда), то есть опасной склонности к эгоцентризму, занятию самим собой, без всякого чувства связи с миром. Вожделение, являющее в ребенке свою изначальную, космическую форму, становится в эти промежуточные годы незримым, оно замыкается в некоей оболочке. Автоэротическую, панэротическую форму вожделения ребенка и половую эротику возмужания отделяет период зимней спячки чувств, сумеречное состояние, когда силы и соки готовятся, накопляясь, к целеосмысленному разряжению.

Когда затем в этот второй период, опять-таки сексуально окрашенный, период возмужания, дремлющий инстинкт постепенно

просыпается, либидо вновь обращается к миру и ищет вновь «замещения», объекта, на который он может перенести напряжение своего чувства,— в этот решающий миг биологическое веление природы недвусмысленно указует новичку естественный выход — продолжение рода. Совершенно определенные изменения физической структуры в период полового созревания дают знать юноше и девушке-подростку, что природа их для чего-то готовит. И эти указания относятся, с полной несомненностью, к половой сфере. Ими как бы определяется тот путь, которым надлежит следовать человеку, чтобы выполнить тайную и изначальную волю природы — продолжение рода. Уже не играючи, как в пору младенчества, должно излиться само в себе либидо, но ему предстоит слепо подчиниться мировому замыслу, вновь и вновь исполняющемуся в каждом зачинающем и в каждом зачатом человеке. Если индивидуум постигнет этот указующий перст природы и покорится ему, если мужчина в творческом соитии прилепится к женщине, как и женщина к мужчине, если удалось ему позабыть о всех других возможностях, лежавших когда-то на пути к удовлетворению его космического вожделения, то половое развитие этого человеческого существа прошло правильным и закономерным путем, и его индивидуальный инстинкт изживает себя в нормальном, естественном направлении.





Этот «двукратный ритм» определяет собой развитие половой жизни всего человеческого рода, и у сотен миллионов людей половое влечение подчиняется, без всяких задержек, указанной закономерной схеме: вожделение и самовожделение в детстве, стремление к зачатию в состоянии возмужалости. Каждый нормальный человек служит совершенно естественным образом замыслу природы, использующей его в метафизических своих конечных целях для продолжения рода. Но в некоторых сравнительно редких случаях и, однако, как раз в тех, которые интересуют врача по нервным болезням, обнаруживается роковое отклонение от этого прямого и нормального пути. Некоторая часть людей не в состоянии в силу причин, которые в каждом случае подлежат индивидуальному установлению, решиться безостановочно изжить свое влечение в предуказанной природой форме; у них половая энергия непрестанно ищет для полноты удовлетворения какого-то иного пути вместо нормального. У этих утративших верное направление невротиков в результате ложной установки в период какого-либо переживания половое влечение стало не на тот путь и не может с этого пути сдвинуться. «Первертированные», обладающие иной установкой, не являются, в понимании Фрейда, людьми, отягченными наследственностью, или больными, или тем более преступниками в душе; они страдают лишь, в большинстве случаев, тем, что хранят роковым образом прочное воспоминание о какой-либо другой форме удовлетворения из раннего, дополового периода, о каком-либо эротическом переживании из времен своего начального развития и в дальнейшем, в силу трагической повторности влечения, ищут исхода единственно в этом направлении. И вот уже в зрелом возрасте эти несчастные оказываются вынужденными жить с инфантильными по существу формами вожделения и в результате навязчивого воспоминания

не находят никакого удовольствия в нормальной для их возраста половой деятельности, признанной обществом абсолютно естественной; вновь и вновь хотят они испытать прежнее (большей частью давно уже перешедшее в подсознательную сферу) переживание и ищут для этого воспоминания реального замещения. Жан-Жак Руссо в своей беспощадной исповеди давно уже дал в литературе классический образец такого извращения, явившегося следствием одного детского переживания. Его строгая и втайне обожаемая учительница часто и жестоко наказывала его розгами, но, к собственному своему изумлению, мальчик испытывал во время этого наказания, несмотря на боль, определенное наслаждение. В промежуточной, сумеречной стадии своего развития (столь великолепно очерченной Фрейдом) он совершенно забывает об этом эпизоде, но его тело, его душа, его бессознательная сфера не в состоянии забыть этого переживания. И в дальнейшем, когда, достигнув зрелости, он ищет удовлетворения в нормальном общении с женщинами, он всякий раз не в силах осуществить его физически. Для того чтобы он мог соединиться с женщиной, необходимо, чтобы она воссоздала знаменитый эпизод с розгами; и вот Жан-Жаку Руссо приходится в продолжение всей жизни расплачиваться за раннее необычное и роковое для него пробуждение полового чувства неизлечимым мазохизмом, который, вопреки его внутренним протестам, толкает его все к той же, единственно ему доступной форме удовлетворения. Таким образом, «первертированные» (под этим словом Фрейд понимает всех тех, которые ищут удовлетворения полового чувства иными путями, чем путь, служащий продолжению рода) — это люди не больные и не анархически настроенные, преступающие сознательно и дерзко законы общества, но против своей воли попавшие в плен и пригвожденные к переживанию детства, пребывающие в состоянии ин-

фантильности; а стремление во что бы то ни стало освободиться от своей ненормальной установки делает их невротиками и психотиками. Парализовать эту навязчивую установку не могут поэтому ни юстиция, своими угрозами создающая еще большую запутанность в психике больного, ни мораль, взывающая к «рассудку»,— этого может добиться только проникнутый участием врач тем, что, высвободив это переживание, сделает его доступным пониманию больного. Ибо только путем осознания внутреннего конфликта — аксиома фрейдовской психологии — можно его изжить; чтобы излечиться, нужно постигнуть прежде всего смысл болезни.

Итак, по Фрейду, всякое расстройство психики основано на каком-либо, большей частью эротически обусловленном, личном переживании, и даже то, что мы называем предрасположением и наследственностью, является всего только зарубцевавшимся в нервной системе переживанием предшествующих поколений; поэтому переживание определяет для психоанализа форму всяческой душевной настроенности, и он стремится понять каждого человека в отдельности, исходя из его личных переживаний. Для Фрейда существует только индивидуальная психология и индивидуальная патология; в пределах человеческой психики нельзя рассматривать что бы то ни было с точки зрения общего правила или схемы; в каждом отдельном случае должна быть вскрыта причинность во всем ее своеобразии. Этим не исключается, конечно, тот факт, что большинство ранних сексуальных переживаний отдельных лиц, невзирая на их личную окраску, обнаруживает известную типическую форму подобия; в соответствии с тем, что бесчисленное количество людей нередко видит сны одного и того же порядка, например полет в воздухе, экзамены, погоню за собой, Фрейд полагает, что некоторые типические установки чувственного восприятия должны быть

признаны в пору ранней сексуальной жизни почти неизбежными; он посвятил немало энергии и страсти раскрытию и популяризации этих типических форм, «комплексов». Наибольшую известность среди них — а также и наибольшие нападки — стяжал так называемый комплекс Эдипа, который сам Фрейд признает даже одним из основных устоев своей психоаналитики (в то время как, с моей точки зрения, это не более чем временная опора, которую без всякого риска можно убрать по окончании постройки). За истекшее время этот комплекс стяжал себе столь шумную популярность, что едва ли есть надобность излагать его содержание сколько-нибудь обстоятельно. Фрейд исходит из того, что роковая установка чувств, трагически воплотившаяся, согласно греческому мифу, в Эдипе — сын убивает отца и овладевает матерью,— что эта варварская, на наш взгляд, ситуация имеется и посейчас налицо в каждой детской душе в качестве подсознательного желания; ибо — предпосылка Фрейда, наиболее часто оспариваемая!— первая эротическая установка ребенка обращена всегда на мать, а первая агрессивная — на отца. Фрейд полагает, что в психике каждого ребенка можно проследить наличие этого параллелограмма сил, слагающегося из любви к матери и ненависти к отцу и представляющего собой первую наиболее естественную и неизбежную группировку детских чувств; бок о бок с ним он располагает ряд других подсознательных чувств, как боязнь кастрации, влечение к инцесту,— чувств, которые также нашли себе художественное воплощение в древних мифах (ибо, согласно культурно-биологической концепции Фрейда, мифы и легенды всех народов являются не чем иным, как «отреагированными» грезами ранней поры их существования). Таким образом, все, что давно уже отвергнуто человечеством как чуждое культуре — жажда убийства, кровосмесительство и насилие, все эти темные заблуж-

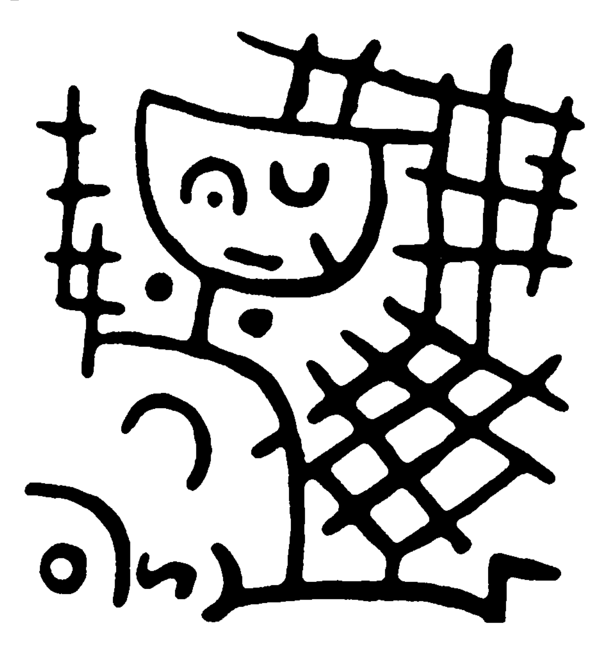
 

дения кочевой эпохи,— все это вспыхивает еще раз в детстве, как бы на первобытной ступени человеческого существования; каждому отдельному индивидууму суждено символически воспроизвести в процессе своего нравственного развития всю историю человеческой культуры. Все мы влачим за собой, в своей крови, незримо и бессознательно, древние варварские инстинкты, и никакая культура до конца не может оградить человека от нежданной вспышки этих ему самому чуждых инстинктов и вожделений; в бессознательной нашей сфере существуют тайные течения, влекущие нас обратно, в первобытные эпохи, вне оседлости и нравственности. И, как бы мы ни напрягали силы, чтобы оградить себя в сознательных своих поступках от мира инстинктов, мы в лучшем случае можем только направить эти инстинкты на путь создания духовных и моральных ценностей, но не в состоянии полностью от них освободиться.

Противники Фрейда, имея в виду именно это воззрение, якобы «враждебное цивилизации», признающее в известном смысле тщетными тысячелетние усилия человечества побороть до конца свои инстинкты и постоянно подчеркивающее непобедимость либидо, назвали все его учение о поле пансексуализмом. Он переоценил будто бы в качестве психолога значение полового инстинкта тем, что признал за ним такое решающее влияние на душевную нашу жизнь; а в качестве врача он чрезмерно увлекся, пытаясь свести всякое психическое расстройство единственно к этому пункту и, исходя из него, лечить это расстройство. В этом упреке, мне кажется, доля истины перемешана крайне запутывающим образом с неправдоподобием. Ибо на самом деле Фрейд никогда не выдвигал монистически вожделения как единственной, движущей мир душевной силы. Ему хорошо известно, что всякое напряжение и всякое движение — а что же иное представляет собой жизнь?— возникают

единственно из борьбы, из сопротивления. Поэтому он с самого начала теоретически противопоставил либидо центробежному, вожделеющему за пределы *Я*, ищущему соития влечению другое влечение, которое он именует сперва инстинктом *Я*, затем агрессивным инстинктом и наконец инстинктом смерти,— то влечение, которое вместо зачатия стремится к уничтожению, вместо творчества — к разрушению, вместо вселенной — к пустоте. Но Фрейду не удалось — и только в этом смысле его противники не до конца не правы — отобразить это противовлечение с такой убедительной и художественной силой, как влечение сексуальное; царство так называемых инстинктов *Я* осталось в его философии мира достаточно туманным и сумеречным; там, где Фрейд видит не до конца ясно, а следовательно, и в области чистого умозрения ему изменяет дар великолепной выразительности, характеризующий его точное изложение. Возможно поэтому, что в творчестве его и в его практике действительно имеет место некоторая переоценка сексуального, но это усиленное подчеркивание было исторически обусловлено предшествовавшей, десятилетиями практиковавшейся системой замалчивания и недооценки полового чувства. Крайность была необходима, чтобы привлечь к идее внимание современности; и, насильно прорвав преграду молчания, Фрейд тем самым положил только начало дискуссии. В действительности это столь прошумевшее подчеркивание сексуальности никогда не означало реальной опасности, и те крайности, которые были налицо в первых попытках, давно уже преодолены при помощи вечного регулятора всех ценностей времени. В наши дни, спустя двадцать пять лет после первых формулировок Фрейда, даже самые боязливые могут быть спокойны: благодаря нашему новому, добросовестному, лучшему и более научному ознакомлению с проблемой сексуальности мир отнюдь не стал сексу-

альнее, неистовее в половом смысле, аморальнее; наоборот, учение Фрейда отвоевало лишь обратно то душевное богатство, что расточали предшествующие поколения в силу ложной своей стыдливости, а именно трезвость духа перед лицом всего плотского. Целое новое поколение научилось — и теперь этому уже учат в школах — не уклоняться от решающих вопросов внутренней жизни, не утаивать важнейших, наиболее затрагивающих личность проблем, но с возможной ясностью осознавать именно то опасное и таинственное, что заключено во внутренних кризисах. А всякое сознание означает уже свободу по отношению к себе, и, несомненно, эта новая, более свободная мораль окажется более творческим, в нравственном смысле, фактором грядущего товарищеского общения полов, чем старая мораль умолчания; то, что окончательная гибель этой старой морали ускорена и облечена в более пристойные формы, составляет неоспоримую заслугу этого отважного и свободного человека. Всегда бывает так, что целое поколение обязано своей внешней свободой внутренней свободе одного, отдельного человека; всякая новая наука неизменно начинается с одного, с первого, который ставит проблему перед сознанием прочих.



Предзакатные дали

Всякое созерцание переходит в наблюдение, всякое наблюдение — в соображение, всякое соображение — в установление взаимной связи, и можно сказать, таким образом, что всякий раз, когда мы внимательно всматриваемся в мир, мы теоретизируем.
Гёте

Осень — благословенная пора для подведения итогов. Жатва собрана, труд свершился; под чистым и прозрачным небом, в сверкании далей, отдыхает жизненный пейзаж. Оглядываясь назад на созданное, семидесятилетний Фрейд не может сам не изумиться, как далеко завел его творческий путь. Молодой врач по нервным болезням занялся изучением одной из проблем неврологии, истолкованием истерии. Проблема эта скорее, чем он ожидал, вовлекает его в самую глубь вопроса. Но там, на дне колодца,— новая проблема, проблема бессознательного. Он хватается за нее — и что же?— она оказывается своего рода магическим зеркалом. На какой бы предмет духовного порядка ни направить его лучи, предмет этот озаряется иным пониманием. И вот, вооружась непревзойденной силой толкования, руководимый сознанием тайного своего предназначения, Фрейд идет от одного постижения к другому, неизменно высшему и более пространному — una parte nasce dall'altra successivamente[25], по выражению Леонардо[26],— и каждый из кругов этой спирали являет цельную картину душевной жизни. Давно уже пройдены области неврологии, психоанализа, толкования снов, сексуальных теорий, а все новые и новые науки встают на пути исследования, требуя обновленного подхода. Педагогика, история религий, мифология, поэзия и все области искусства обязаны своим

обогащением его творческим мыслям; с высоты своего преклонного возраста великий старец с трудом может обозреть сам, в какие дали грядущего ведут его нечаянные свершения. Как Моисей с горы, видит Фрейд много и много невозделанной и плодоносной земли для посева своих мыслей.

Пятьдесят долгих лет пребывает этот пытливый ум на стезе войны, в погоне за тайной и в поисках истины; добыча его неисчислима. Как много рассчитывал он, предугадывал, созерцал, творил и помогал человечеству,— кто сосчитает все эти подвиги во всех областях духовной жизни? Теперь он вправе был бы и отдохнуть на закате дней своих. И действительно, что-то такое тянется в нем к более мирному, не столь ответственному созерцанию. Взор его, строго и испытующе заглядывавший во многие, слишком многие сумрачные души, не прочь был бы теперь объять неторопливо всю картину мира, в некоем духовном видении. Тот, кто неизменно проникал в глубины, жаждет окинуть теперь взором возвышенности и дали земного существования. Кто всю жизнь свою неотступно пытал и выспрашивал в качестве психолога, хотел бы теперь, как философ, дать ответ самому себе. Кто несчетное число раз анализировал души отдельных людей, хотел бы отважиться постигнуть смысл общественности и испытать свое искусство на психоанализе эпохи.

Не ново это вожделение — подойти к мировой тайне путями чистого созерцания, в вооружении только мысли. Но, в сознании суровой своей миссии, Фрейд всю жизнь подавлял в себе склонность к умозрению; нужно было сначала проверить законы созидания духа на бесчисленных отдельных единицах, чтобы решиться потом применить их к целому. И, пока длился день, все еще казалось ему, исполненному сознания ответственности, что еще рано браться за эту задачу. Но теперь, когда вечереет, когда полвека неустанного труда

дают ему право поддаться творческой мечте и заглянуть за пределы индивидуального, он решается переступить эти пределы, чтобы окинуть взором даль и испытать на человечестве в целом тот метод, который он с успехом применил к тысячам.

С некоторой робостью, со страхом приступает этот обычно уверенный в себе мастер к своему начинанию. Можно сказать, с не совсем чистой совестью отваживается он выйти за пределы точной науки и вступить в область недоказуемого, ибо как раз он, разоблачитель всяческих иллюзий, знает, как легко подпасть обаянию философских своих чаяний. До сих пор он решительно высказывался против всяких обобщений умозрительного свойства: «Я не сторонник фабрикации миросозерцаний». Таким образом, не с легким сердцем и не с прежней непоколебимой уверенностью обращается он к метафизике или — как он именует ее несколько осторожнее — к метапсихологии, и сам в своих глазах извиняет эту позднюю решимость: «Условия моей работы до известной степени изменились, и вытекающих отсюда последствий я не стану отрицать. Прежде я не принадлежал к числу тех, которые способны хоть на миг оставаться при каком-либо сомнительном взгляде, если он не нашел себе подтверждения... Но в то время впереди у меня было необозримо много времени, oceans of time[27], по прекрасному выражению поэта, и материалы притекали ко мне в таком изобилии, что я едва мог справляться с полученным опытом... Теперь все это изменилось. Время впереди меня ограничено, оно не используется полностью для работы, и, таким образом, не так часто представляется случай приобрести новый опыт. Когда я вижу что-нибудь на мой взгляд новое, я не уверен, вправе ли я дожидаться обоснования этого нового». Мы видим, как этот мыслящий строго научно человек наперед знает, что ставит перед собой задачу рискованную. И, как бы в порядке монологов,

словно сам с собой мысленно разговаривая, обсуждает он гнетущие его вопросы, не требуя на них ответа и не отвечая определенно. Поздние его труды «Будущее одной иллюзии» и «Беспокойство в культуре» не так, может быть, насыщены содержанием, как прежние, но они поэтичнее. В них меньше научно доказуемого, но больше мудрости. Вместо неумолимого аналитика выявляет себя наконец синтетически, в широком масштабе мыслящий ум, вместо представителя точной науки врачевания — так давно чувствовавшийся художник. И кажется, будто за испытующим взором мыслителя впервые распознаем мы и столь долго таившегося человека — Зигмунда Фрейда.

Но сумрачен этот взор, всматривающийся теперь в лицо человечества; он потемнел, потому что видел слишком много темного. На протяжении полувека люди безостановочно шли к нему со своими заботами, нуждами, мучениями и расстройствами, жалуясь, задавая вопросы, спеша, истерически-возбужденные и неистовствующие — сплошь больные, подавленные, измученные, сумасшедшие, только меланхолической своей, недееспособной стороной безжалостно поворачивалось к нему человечество в продолжение всей его жизни. Замурованный в вечном подземелье своего труда, он редко видел другое, светлое, радостное, верующее лицо человечества — людей участливых, беззаботных, веселых, легких сердцем, благодушных, счастливых и здоровых; сплошь больные души, унылые, расстроенные, сумрачные. Он слишком долго был врачом, Зигмунд Фрейд, чтобы не начать взирать постепенно на все человечество в целом как на больного. И уже первое его впечатление, при взгляде на мир с порога рабочей комнаты, заранее ставит ужасающе-пессимистический диагноз: «Как для отдельных людей, так и для всего человечества в целом жизнь не легко переносима».

Жуткие и мрачные слова, мало оставляющие надежды,— скорее тяжкий вздох душевный, чем бесстрастная формулировка! Словно к постели больного, подходит Фрейд к своей культурно-биологической задаче. И, привыкнув созерцать окружающее глазами психиатра, он усматривает в современности явные симптомы душевного расстройства. Так как всякая радость чужда его взору, он видит в нашей культуре только безрадостное и приступает путями анализа к изучению невроза эпохи. Как это вышло, задает он себе вопрос, что так мало мира и уюта в нашей цивилизации, той цивилизации, что вознесла человечество на высоту, и не снившуюся прежним поколениям? Разве мы тысячекратно не преодолели в себе ветхого Адама, не отошли от него и не приблизились к богоподобию? Разве слух наш при помощи мембраны не сообщается с отдаленнейшими материками, разве взор не глядится благодаря телескопу в мириады звездных миров, не наблюдает в капле воды целую вселенную посредством микроскопа? Разве наш голос не преодолевает в секунду и пространства и времени, не глумится над вечностью, вновь и вновь возникая из пластинки граммофона? Разве аэроплан не несет нас уверенно сквозь недоступную смертным в тысячелетиях стихию? Почему же при всем этом богоподобии нет подлинного чувства победы в душе человека, а лишь гнетущее сознание того, что все это подвластное нам великолепие непрочно, что мы только «боги на протезах» (сокрушающее слово!) и что ни одно из этих технических достижений не дает удовлетворения и счастья нашему глубочайшему *Я*? В чем источник этой подавленности, этого расстройства, где корни этой душевной болезни?— спрашивает себя вслух Фрейд. И серьезно, строго и деловито, как если бы речь шла об отдельном случае из его практики, Фрейд берется за задачу выяснения тех причин,

которые привели к беспокойству цивилизации, к неврозу современного человечества.

Всякий психоанализ начинается у Фрейда с раскрытия прошлого; так и к психоанализу душевнобольной культуры приступает он с того, что бросает ретроспективный взгляд на первичные формы человеческого общества. В представлении Фрейда, первобытный человек (в некотором смысле представитель младенческой поры культуры) пребывает в состоянии звериной свободы; чуждый сознания какой бы то ни было нравственности и законности, он не знает, что такое психические задержки. Сильный силой своей эгоистической цельности он дает выход своим агрессивным инстинктам в убийстве и пожирании себе подобных, а выход своему половому влечению — в пансексуализме и кровосмесительстве. Но едва только этот в одиночку живущий человек собрался в кочующую орду или в племя, он неизбежно удостоверяется, что его вожделение встречает преграду в противовожделении жизненных спутников; всякое социальное устройство, даже на низших ступенях, требует ограничений. Отдельный человек должен уступать, проникнуться сознанием запретности некоторых вещей; устанавливаются право и обычай, взаимная договоренность, за каждый проступок грозит кара. Это сознание запретности, этот страх наказания оттесняются вскоре вовнутрь и создают в по-звериному темном доселе мозгу новую инстанцию, своего рода *Сверх-Я*, как бы контрольный аппарат, своевременно сигнализирующий об опасности кары, связанной с обходом закона. С возникновением этого *Сверх-Я*, то есть совести, начинается культура и с нею и религиозная идея. Ибо в понимании слепо дрожащей от страха первобытной твари мироздания всякие границы, воздвигаемые природой человеческим вожделениям, как-то: холод, болезнь, смерть, ниспосланы некоей незримой противоборству-

ющей силой, Богом-Отцом, который волен карать и награждать и которому, в гневе его, надлежит служить и покорствовать. Мнимое наличие этого всевидящего, всемогущего Бога-Отца — одновременно и прообраза *Я*, в силу его символической мощи, и прообраза и источника всяческого ужаса загоняет непокорного человека при помощи надсмотрщика-совести в отведенные ему границы; благодаря этому самоограничению, этому смирению, этому контролю и самоконтролю варварски-дикое существование приобретает постепенно черты цивилизованности. Но по мере того как буйные поначалу силы человеческие, вместо того чтобы истощать себя во взаимном убийстве и кровопролитии, начинают объединяться для совместной творческой деятельности, повышается уровень умственных, моральных и технических способностей человечества, и постепенно оно отвоевывает у своего идеала, у Бога, добрую долю его мощи. Молния берется в плен, теряет свою силу стужа, преодолевается расстояние, оружием приобретается безопасность от нападений хищников; постепенно все стихии — вода, огонь и воздух — покоряются культуре человеческого сообщества. Все выше и выше поднимается человечество, творчески организуя свою собственную мощь, по ступенькам лестницы, ведущей ввысь, к Божеству; паря над высотами и безднами, преодолевая пространство, владея знанием и близкое к всезнанию, вправе оно, преодолевшее в себе зверя, ощущать свое богоподобие.



Но почему же, спрашивает Фрейд, неисправимый разоблачитель иллюзий,— точно так же, как спрашивал более полутораста лет тому назад Жан-Жак Руссо,— почему не стало человечество, при всем своем богоподобии, счастливее и радостнее? Почему наше истинное *Я* не чувствует себя в результате всех этих триумфов цивилизации богаче, легче, свободнее? И он сам отвечает на это со свойственной ему жестокостью и беспощадностью: потому что все это изобилие культуры досталось нам не даром, но оплачено неимоверным ограничением нашей свободы в области инстинктов. Оборотной стороной всякого прироста культурных ценностей в пределах рода является убыль счастья у отдельных лиц (а Фрейд всегда на стороне индивидуума). Прогресс в области человеческой цивилизации связан с ущербом для свободы, с умалением жизненного чувства каждой человеческой души в отдельности. «Современное чувство *Я* — это лишь крайне ограниченная часть пространного, можно сказать, всеобъемлющего чувства, отвечающего более прочной и живой связи личности с окружающим миром». Мы слишком много отдали обществу и общежитию от цельности своей силы, чтобы изначальные наши инстинкты, сексуальный и агрессивный, могли являть прежнюю целостную мощь. По мере того как душевная наша жизнь дробится, растекаясь по тончайшим и разветвленнейшим каналам, теряет она в своей стремительности и стихийности. Социальные ограничения, с каждым столетием делающиеся все строже и строже, утесняют и извращают нашу чувственную мощь, и в особенности «потерпела ущерб сексуальная жизнь культурной личности. Порой кажется, что она находится в стадии обратного развития, подобно другим нашим органам, например челюстям и растительности на голове». Но каким-то таинственным образом душа человека не обманывается относительно того, что за несчетное множество

новых, высших форм удовлетворенности, какие вытекают для нее что ни день из искусства, науки, техники, власти над природой и других жизненных удобств, она платится утратой других наслаждений, более полных, первобытных и более согласующихся с ее природой. Что-то такое в нас, биологически таящееся, может быть, в отдаленном уголке мозговых извилин и обращающееся в нашей крови, помнит еще мистически о состоянии первобытной, высшей свободы, не знавшей задержек; давно преодоленные культурой инстинкты кровосмесительства, отцеубийства, всесексуальности призрачно мелькают еще в наших желаниях и сновидениях. И даже в заботливо оберегаемом ребенке, родившемся на свет наиболее деликатным и безболезненным образом от высококультурной матери в обеззараженном, залитом электрическим светом и хорошо проветренном помещении роскошной частной клиники, пробуждается еще раз древний, первобытный человек; он еще раз должен пройти все ступени, от изначальных космических инстинктов до тысячелетиями отделенной от них стадии самоограничения, и еще раз пережить на своем маленьком подрастающем теле и перестрадать всю подготовительную к культуре работу. Так воспоминание о былом нашем самодовлеющем величии нерушимо пребывает во всех нас, и порой наше моральное *Я* неистово рвется назад, в анархию, в кочевническую свободу, в глубинность первобытной нашей поры. Неизменно колеблются в нашем жизнеощущении, на чашах весов, урон и прибыток, и чем заметнее становится разрыв между вынужденной социальной связанностью и первоначальной непринужденностью, тем большее сомнение овладевает каждой человеческой душой в отдельности: не является ли она, в сущности, в результате этого прогресса ограбленной и не подменила ли социализация *Я* ее *Я* подлинного?

Удастся когда-либо человечеству,— спрашивает Фрейд, напряженно всматриваясь в будущее,— побороть до конца это беспокойство, эту душевную надорванность? Найдет ли оно, беспомощно кидающееся от страха Божия к звериной похоти, дергаемое запретами, угнетаемое навязчивым неврозом религиозности, какой-либо самостоятельный выход из этой дилеммы? Не подчинятся ли добровольно обе изначальные силы, агрессивный инстинкт и инстинкт пола, морали разума, так что мы получим в конце концов возможность отбросить «рабочую гипотезу» о Боге, карающем и творящем суд, как ненужную? Преодолеет ли — выражаясь психоаналитически — будущее свой сокровеннейший, внутренний конфликт полностью, в результате его осознания, выздоровеет ли оно до конца? Опасный вопрос! Ибо спрашивая себя, не окажется ли разум в состоянии взять когда-либо верх над нашей инстинктивной жизнью, Фрейд впадает в трагический разлад с самим собою. С одной стороны, психоанализ отрицает власть разума над бессознательным: «Люди не поддаются доводам рассудка, ими движут инстинктивные желания», и вместе с тем он утверждает, что «у нас нет никакого другого средства к овладению нашими инстинктами, кроме интеллекта». В качестве теоретической системы психоанализ отстаивает первенство инстинктов и бессознательного, а в качестве практического метода он рассматривает разум как единственное спасительное для человека и всего человечества средство.

Здесь с давних пор кроется какое-то тайное противоречие в системе психоанализа, и в соответствии с новым охватом оно разрастается до огромных размеров; теперь, собственно, Фрейду следовало бы принять окончательное решение, признать именно в философском разрезе первенство разума или инстинкта в сфере человеческой психики. Но это решение оказывается для него, ни-

когда не прибегающего ко лжи и не способного лгать самому себе, страшно трудным. Ибо как решить? Только что этот старый человек убедился, что его учение о первенстве инстинкта над разумом потрясающе подтвердилось массовым психозом мировой войны; никогда с такой ужасающей ясностью, как в эти четыре апокалиптических года, не обнаруживалось, какой тонкий слой гуманности отделяет человечество от самого разнузданного, самого ожесточенного кровопролития, и что одного толчка из области бессознательного достаточно, чтобы рушились самые смелые построения человеческого духа и святыни нравственности. Он убедился, что в этот миг в жертву неистовому и первобытному инстинкту разрушения принесены были и религия и культура — все, что облагораживает и возвышает человеческое сознание; все священные и освященные веками силы человечества еще раз обнаружили свою младенческую беспомощность по отношению к смутному и кровожадному инстинкту первобытности. И все-таки что-то такое в Фрейде колеблется, не решаясь признать моральное поражение человечества в мировой войне показательным. Ибо если, при всем доступном человечеству сознании, оно бессильно, в конце концов, против бессознательного, к чему тогда разум и собственное его полувековое служение истине и науке? Неподкупно честный, Фрейд не решается отрицать ни силы воздействия разума, ни темной силы инстинктов. И в конце концов он отделывается от ответа на им же поставленный вопрос осторожным «может быть» или «когда-нибудь может быть», ссылкой на отдаленное третье царство психики, ибо ему не хотелось бы вернуться к себе самому из позднего этого странствия без всякого утешения. И как-то трогательно-мягко и примиряюще звучит, по-моему, его строгий обычно голос теперь, когда на закате жизни ему хочется осветить хоть лучом надежды последний путь человечества: «Мы и впредь

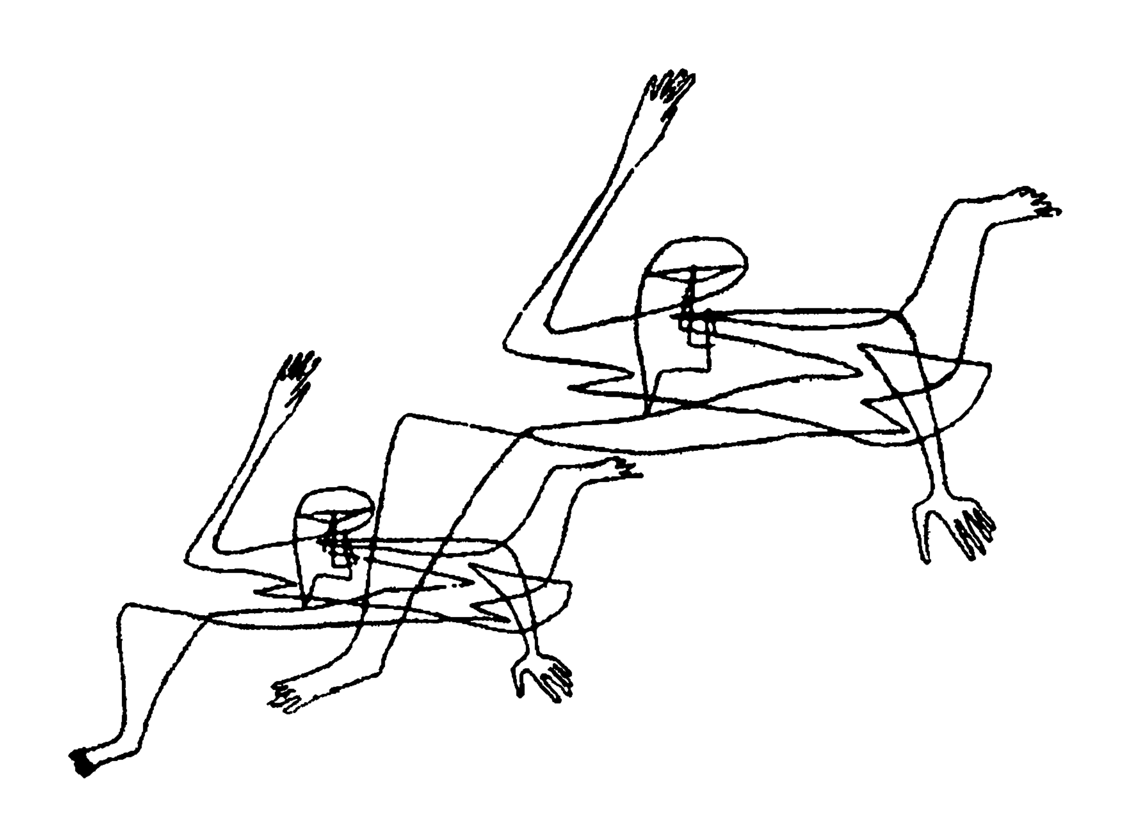
можем столь же настойчиво подчеркивать, что интеллект человека бессилен в сравнении с инстинктивной его жизнью, и быть при этом правыми. Но есть что-то особенное в этой слабости; голос интеллекта не громок, но он не успокаивается, пока не заставит себя слушать. В конце концов, несмотря на непрестанно повторяющиеся неудачи, он, может быть, и добьется своего. Это один из немногих пунктов, в которые человечество вправе смотреть оптимистически, но сам по себе он значит немало. Первенство интеллекта где-то еще далеко, но не недосягаемо далеко».

Поистине чудесные слова. Но этот огонек во тьме мерцает в слишком большом отдалении и слишком неустойчиво, чтобы душа человеческая, вопрошающая и стынущая среди действительности, могла бы согреться. Все «вероятнее» — весьма слабое утешение, и никакое «может быть» не утолит нестерпимой жажды души, чающей высших уверенностей. Но здесь мы оказываемся у подлинного, последнего предела психоанализа; там, где начинается царство внутренней убежденности, творческого упования, там кончается его мощь,— в эти высшие области нет доступа ему, сознательно разрушающему иллюзии и враждующему со всяким заблуждением. Являясь исключительно наукой об индивидууме, о единичной душе, он не знает и не хочет ничего знать о коллективном смысле или метафизической миссии человечества; он только бросает свет поэтому на душевные процессы, но не согревает души человеческой. Он может дать только здоровье, но одного здоровья недостаточно. Для счастья, для творческого бытия человечество нуждается в непрестанном подкреплении своей веры в смысл существования. Но у психоанализа нет никаких наркотиков, как у Christian Science никаких пьянящих экстазов, подобных дифирамбическим обетованиям Ницше; он ничего не сулит и не обещает; не имея возможности утешить, он предпо-

читает молчать. Эта его правдивость, целиком возникшая из сурового и честного мышления Зигмунда Фрейда, поразительна в моральном смысле. Но все только правдивое неизбежно таит в себе зерно горечи и скепсиса, над всем рассудочно изъясняющим и анализирующим витает тень какой-то трагичности. Что-то обезбоживающее неотъемлемо присуще психоанализу, что-то отдающее землей и тлением, не вселяющее в душу радости и свободы, как и все только человеческое; честность мысли может безмерно обогатить ум, но никогда не заполнит до конца чувства, никогда не внушит человечеству порыва вовне, за пределы своего существования — этой его неразумной и все же необходимой ему услады. А человек, даже в физическом смысле слова, не в состоянии — кто более блестяще, чем Фрейд, доказал это?— жить без сновидений, его немощное тело не выдержало бы напора неизжитых чувств,— как же вынесет душа человеческая существование без высшего смысла, без видений веры? Пусть наука вновь и вновь доказывает человечеству бессмысленность его игры в боготворчество,— в своем творческом устремлении оно вновь и вновь будет изощряться в осмысливании мира, чтобы не впасть в нигилизм, ибо этот дар изощрения сам по себе составляет подлиннейший смысл всякой духовной жизни.

Для утоления этого душевного голода в распоряжении сурового, строго-деловитого, трезвого в своей холодной ясности психоанализа нет никакой пищи. Он дает познание и только, и так как ему чуждо исповедание какой бы то ни было веры в мир, то он навсегда останется только созерцанием действительности и никогда не станет миросозерцанием. Здесь его предел. Он оказался в состоянии в большей степени, чем какой-либо иной духовный метод, приблизить человека к его собственному *Я*, но не мог вывести его дальше, за пределы этого *Я*, что является необходимым условием цельности

чувства. Он раскрывает, дробит и отделяет, он указывает личный смысл каждой отдельной жизни, но он не в состоянии объединить единым смыслом это тысячекратно разрозненное. Поэтому в интересах подлинно творческой цельности, наряду со свойственной ему формой мышления, должна была бы возникнуть и другая; психоанализ, разделяющий и разъясняющий, должен был бы пополниться психосинтезом, связывающим и сплавляющим воедино; такое пополнение явится в науке, быть может, вопросом завтрашнего дня. Каковы бы ни были достижения Фрейда, за пределами их остаются необъятные просторы для исследования. И, после того как он истолковал и изъяснил душе ее сокровенные узы, другие вправе просветить ее относительно ее свободы, ее тяготения к вселенной и устремления в эту вселенную из пределов своего существования.



Значение времени

Индивидууму, который состоит из единого и из многого и от рождения несет в себе определенное и неопределенное, мы дадим растечься в беспредельности не прежде, чем рассмотрим всю цепь его представлений, связующих единое со многим.

Платон

Два открытия, символически совпавшие во времени, имели место в последнем десятилетии девятнадцатого века: в Вюрцбурге малоизвестный дотоле физик по имени Вильгельм Рентген доказывает на опыте возможность просвечивания человеческого тела, считавшегося ранее непроницаемым для зрения. В Вене столь же неизвестный врач, Зигмунд Фрейд, открывает подобную же возможность в отношении души. Тот и другой методы не только вносят коренные изменения в основы обеих научных дисциплин, но и плодотворно влияют на все соприкасающиеся области; странно перекрещивающимся образом как раз медицина извлекает выгоду из открытия физика, а из творческой мысли представителя медицины — психофизика, наука о движущих силах души.

Благодаря замечательному и все еще не использованному в его возможностях открытию Фрейда научная психология порывает наконец со своей академической и теоретической замкнутостью и вступает в прямую связь с практической жизнью. Через посредство Фрейда психология впервые получает в качестве науки применение ко всем явлениям творческого духа. Ибо чем была прежняя психология? Школьной специальностью, теоретической дисциплиной, загнанной в университеты, замурованной в семинариях, поставляющей книги на неудобочитаемом и неудобоваримом языке формул.

Тот, кто ее изучал, знал о себе и законах своей индивидуальности не больше, чем если бы он изучил санскрит или астрономию, и в широких кругах общества не придавали никакого значения результатам ее лабораторной работы как полностью абстрактной. Перенеся центр тяжести этой науки с теоретических домыслов на индивидуальность и сделав предметом изучения кристаллизацию личности, Фрейд проталкивает психологию из семинария в реальность и утверждает за нею жизненно важное значение в силу ее применимости к человеку. Только теперь может она деятельно служить созданию новой личности в педагогике, лечению больных в медицине, оценке человеческих заблуждений в судопроизводстве, пониманию творческих начал в искусстве; занимаясь истолкованием неповторимой индивидуальности каждого отдельного человека в его собственных интересах, она помогает одновременно и другим. Ибо тот, кто научился понимать в себе человека, понимает его и в других.

Этим поворотом психологии в сторону отдельной человеческой личности Фрейд, сам того не сознавая, выполнил сокровеннейшую волю эпохи. Никогда не проявлял человек такого любопытства к своему истинному *Я*, к своей личности, как в наш век прогрессирующей монотонности внешней жизни. Все больше и больше обезличивает обывателя техника современности, создавая из него бесцветный и однообразный тип; разделенные на те же имущественные классы, проживая в тех же домах, одетые в те же платья, отрабатывая те же положенные часы за такими же машинами и потом устремляясь к тем же удовольствиям, к радио, к той же граммофонной пластинке, к тому же спорту, все мы внешне приближаемся к ужасающему сходству друг с другом; города с теми же улицами становятся все более и более неинтересными, народы — все более и более однородными; в исполинской печи рационализации пере-

плавляются все видимые различия. Но, по мере того как все больше и больше отшлифовывают нас с поверхности, и люди, в процессе возрастающего обезличения внешних форм жизни, целыми сериями приобретают массовую физиономию, каждому в отдельности все более и более важной становится единственная недоступная внешнему воздействию форма переживания — собственная своя, неповторимая индивидуальность. Она стала высшим и почти единственным мерилом человека, и нельзя считать случайностью, что все виды искусства и науки столь страстно увлечены элементами характерологии. Учение о типах, теория деградации и наследственности, исследования относительно периодичности индивидуальных свойств стремятся к тому, чтобы отграничить личное от родового в наиболее систематическом порядке; в литературе биографический жанр расширяет пределы познания личности, и такие давно уже отмершие якобы методы проникновения во внутреннюю структуру человека, как астрология, хиромантия, графология, достигают в наши дни неожиданного расцвета. Из всех загадок существования ни одна не представляет для современного человека такой важности, как загадка собственного бытия и установления своей особой, личной обусловленности и исключительности.

К этому средоточию внутренней жизни человека Фрейд еще раз приблизил психологию, ставшую к тому времени абстрактной наукой. Он впервые развил с почти художественной мощью заложенные в человеке драматические элементы — эту судорожную игру мельканий в сумеречном свете подсознательного, где ничтожный толчок отдается отдаленнейшими последствиями и в самых изумительных сочетаниях сплетаются прошлое с настоящим,— поистине целый мир в тесном кругообороте человеческого тела, необозримый в своей цельности и все же обаятельный как зрелище в непостижимой

своей закономерности. А закономерное в человеке — в этом решающая переустановка фрейдовского учения — никоим образом не поддается академической схематизации, но может быть только пережито, изжито совместно с ним и познано в процессе этого изживания, в качестве единственно ему свойственного. Личность человека постигается не с помощью застывших формул, но исключительно по отпечаткам посланных ему судьбой переживаний; поэтому всякое врачевание в тесном смысле этого слова, всякая помощь в смысле моральном предполагают, по Фрейду, познание личности, но познание утверждающее, сочувствующее и в силу этого действительно полное. Поэтому уважение к личности, к этой, в гётевском смысле, «явленной тайне», есть для него непреложное начало всякой психологии и всякого душевного врачевания, и Фрейд, как никто другой, научил нас хранить это уважение как некий моральный закон. Лишь благодаря ему тысячи и сотни тысяч узнали об уязвимости души, в особенности детской, и перед лицом вскрытых им изъявлений начали понимать, что всякое грубое касание, всякое бесцеремонное залезание (часто при посредстве одного лишь слова!) в эту сверхчувствительную, одаренную роковой силой припоминания материю может разрушить судьбу и что, следовательно, всякие необдуманные наказания, запреты, угрозы и меры принуждения возлагают на наказывающего неведомую до того ответственность. Он неизменно внедрял в сознание современности — школы, церкви, зала суда — уважение к личности, даже на путях ее отклонения от нормы, и этим более глубоким проникновением в душу насадил в мире больше предусмотрительности и снисходительности. Искусство взаимного понимания, это наиболее важное в человеческих отношениях искусство и наиболее необходимое в интересах народов, единственное искусство, которое может способствовать возникнове-

нию высшей гуманности, в развитии своем обязано учению Фрейда о личности много больше, чем какому-либо другому методу современности; лишь благодаря ему стали понятными нашей эпохе, в новом и действительном понимании, значение индивидуума, неповторимая ценность всякой человеческой души. Нет в Европе в какой бы то ни было области искусства — естествознания или философии — ни одного человека с именем, чьи взгляды не подверглись бы, прямо или косвенно, творческому воздействию круга его мыслей, в форме притяжения или отталкивания; идя своим, сторонним путем, он неизменно попадал в средоточие жизни — в область человеческого. И в то время как специалисты все еще не могут помириться с тем, что его творчество не выдержано в строго академических формах медицины, естествознания или философии, в то время как тайные советники и ученые все еще яростно спорят об отдельных пунктах и о конечной ценности его труда, учение Фрейда давно уже выявилось как непреложно истинное — истинное в том творческом смысле, который запечатлен в незабываемых словах Гёте: «Что плодотворно, то единственно истинно».





ПРИМЕЧАНИЯ

Психология сна

[1] *Trottoir roulant (фр.)* — эскалатор.

[2] *...противоположность непорочности — дама в камелиях...* — Речь идет о модном во времена Фрейда образе «дамы с камелиями» — женщины, увлекающей своей красотой, но ею же губящей мужчин, особенно молодых. Происходит от нашумевшего в то же время романа А. Дюма-сына «Дама с камелиями». Прототипом героини романа — Маргариты Готье — стала известная парижская красавица Мари Дюплесси, которая нигде не появлялась без букета камелий, причем 25 дней в месяце букет состоял только из белых камелий, а 5 дней — только из алых. Строго говоря, «дамой с камелиями» ее назвала цветочница, в обязанности которой входило ежедневно поставлять свежие цветы в дом парижской красавицы. История о трагической судьбе этой безжалостной красавицы не один год будоражила Париж. Ее могила в течение многих лет была местом паломничества романтической молодежи. Позже блеск образа «дамы с камелиями» поистерся, так стали называть представительниц «полусвета».

[3] *Пропилеи* — в античной архитектуре — монументально оформленный вход в святилище или крепость.

[4] *Парнас* (*миф.*) — гора — обиталище муз. Иносказательно — символ поэтического творчества.

Влечения и их судьба

[1] В тех случаях, разумеется, когда эти внутренние процессы являются органической основой потребностей — жажды и голода.

[2] *Адлер* Альфред (1870—1937) — австрийский врач-психиатр и психолог. Первоначально — последователь З. Фрейда. В 1911 г. сложил с себя обязанности президента Венского психоаналитического общества и вышел из него.

[3] Часть сексуальных влечений, как мы знаем, способно на такое аутоэротическое удовлетворение и, следовательно, может стать носителем описываемого ниже развития под господством принципа удовольствия (Lustprinzip). Другая часть сексуальных влечений, с самого начала требующих объекта и потребности влечений *Я*, которые никогда не могут быть удовлетворены аутоэротически, разумеется, нарушают это состояние и подготавливают дальнейшее развитие. Больше того, первичное нарциссическое состояние не могло бы достичь такого развития, если бы каждое существо в отдельности не переживало бы период *беспомощности* и *ухода*, во время которого его насущные потребности удовлетворяются посредством вмешательства извне и благодаря этому задерживается их влияние на общее развитие.— *Примеч. пер.*

Печаль и меланхолия

[1] Так, Абрахам, которому мы обязаны самыми значительными из немногих аналитических исследований этого вопроса, исходил из такого сравнения.— *Примеч. авт.*

[2] Если принимать каждого по заслугам, то кто избежит кнута?— *У. Шекспир*, Гамлет II, 2.

[3] Практическая точка зрения до настоящего времени мало принималась во внимание в психоаналитических работах.— *Примеч. авт.*

Жуткое

[1] За счет отрицательной приставки «un» (не).— *Примеч. пер.*

[2] Последующими выписками я обязан благодарностью господину д-ру Т. Рейку.— *Примеч. авт.*

[3] В цитате из словаря при переводе опущены несущественные для читателя детали.— *Примеч. пер.*

[4] Курсив (как и в последующем) референта.— *Примеч. авт.*

[5] О происхождении имени: Coppella = тигель (при химических операциях с которыми погиб отец); coppo = глазница (по замечанию мадам доктор Ранк).— *Примеч. авт.*

[6] На деле переработка материала фантазией поэта не так буйно развернулась, чтобы не удалось воссоздать его первоначальный порядок. В детской истории отец и Коппелиус представляют образ отца, разделенный в результате амбивалентности на две крайности: один угрожает ослеплением (кастрацией), другой, добрый отец, умоляет сохранить ребенку глаза. Сильнее всего затронутая вытеснением часть комплекса, желание смерти злого отца, изображается смертью хорошего отца, в которой обвиняется Коп-

пелиус. Этой паре отцов в более поздней истории жизни студента соответствует профессор Спаланцани и оптик Коппола: профессор сам по себе признается фигурой из отцовского ряда, а Коппола — идентичен с адвокатом Коппелиусом. Как и в то время они работали вместе над таинственным очагом, так и теперь они сообща изготовили куклу Олимпию, а профессора называют еще и ее отцом. Из-за этой двукратной общности они расшифровываются как разветвления образа отца, то есть как механик, так и оптик являются отцами и Олимпии, и Натаниэля. В сцене ужаса из детских времен Коппелиус, после отказа от ослепления малыша, выкручивал ему в виде опыта руки и ноги, т. е. поступал, как механик с куклой. Эта странная черта, целиком выходящая за рамки представления о Песочнике, вводит в игру новый эквивалент кастрации; она указывает, однако, на внутреннюю идентичность Коппелиуса со своим более поздним антагонистом, механиком Спаланцани, и подготовливает нас к толкованию Олимпии. Эта автоматическая кукла не может быть ничем другим, кроме как материализацией феминистской установкой Натаниэля к своему отцу в раннем детстве. Ее отцы — Спаланцани и Коппола — являются только новым изваянием, перевоплощением отцовской пары Натаниэля; в ином случае непонятное сообщение Спаланцани, что оптик похищает глаза Натаниэля (см. выше), чтобы их вставить кукле, обретает, таким образом, смысл как доказательство идентичности Олимпии и Натаниэля. Олимпия — это, так сказать, отделившийся от Натаниэля комплекс, противостоящий ему в виде личности. Господство этого комплекса выражается в безрассудно навязчивой любви к Олимпии. У нас есть право назвать эту любовь нарциссической, и мы понимаем, что попавший под ее чары отчуждается

от реального объекта любви. Но насколько психологически верно, что зафиксированный из-за комплекса кастрации на отце юноша оказывается не способным любить женщину, демонстрируют многочисленные анализы болезни, хотя их содержание и менее фантастично, но едва ли менее прискорбно, чем история студента Натаниэля.

Э.-Т.-А. Гофман был дитя несчастливого брака. Когда ему было три года, отец разошелся со своей маленькой семьей и никогда больше не жил с ними вместе. Согласно документам, приведенным Е. Гризебахом в биографическом введении к сочинениям Гофмана, отношение к отцу было одним из самых больных мест в эмоциональной жизни поэта.— *Примеч. авт.*

[7] Полагаю, когда поэт жалуется, что в человеческой груди обитают две души, и когда популяризаторы-психологи ведут речь о расколе *Я* в человеке, то у них намечается раздвоение, относящееся к психологии *Я*, между критической инстанцией и оставшейся частью *Я*, а не открытая психоанализом противоположность *Я* и бессознательного вытесненного психического материала. Во всяком случае, разница сглаживается благодаря тому, что среди отвергнутого критикой Сверх-*Я* находятся прежде всего отпрыски вытесненного.— *Примеч. авт.*

[8] В поэме Г.-Г. Эверса «Студент из Праги», из которой исходит исследование Ранка о двойниках, герой пообещал возлюбленной не убивать своего противника на дуэли. По дороге к месту дуэли ему, однако, встречается двойник, прикончивший соперника.— *Примеч. авт.*

[9] Ср. с этим главу III «Анимизм, магия и всевластие мыслей» в моей книге «Тотем и табу». Там же замечание: «Видимо, мы характером “жуткого” наделяем такие впечатления, которые будут

утверждать всевластие мыслей и анимистический способ мышления вообще, тогда как в мыслях уже отказались от него».— *Примеч. авт.*

[10] Ср. «Табу и амбивалентность» в «Тотем и табу».— *Примеч. авт.*

[11] Так как и жуткое двойников того же сорта, то интересно испытать на опыте впечатление, когда однажды перед вами нежданно и негаданно возникнет собственная фигура. Э. Мах в «Анализе ощущений» (1990. S. 3) сообщает о двух таких наблюдениях. Один раз его сильно напугало, когда он понял, что увиденное лицо будто бы его собственное, в другой раз он высказал очень неблагоприятное мнение о мнимом незнакомце, который поднимался в его омнибус: «Что за опустившийся педант поднимается сюда?» Могу рассказать о сходном приключении: я сидел в купе спального вагона, когда при резком ускорении поезда дверь, ведущая в соседский туалет, распахнулась — и передо мной предстал старый господин в шлафроке и в дорожной шапке на голове. Я предположил, что он, покинув находящуюся между двумя купе кабину, спутал направление и по ошибке зашел в мое купе, вскочил, чтобы объяснить ему, но скоро с замешательством понял, что нежданный пришелец — это мое собственное, отраженное зеркалом в соседней двери изображение. Еще я почувствовал, что мне глубоко не понравилось это появление. Итак, вместо того чтобы испугаться двойника, мы оба — Мах и я — его просто опознали. Но при этом все же не было ли неудовольствие остатком тех архаических реакций, которые воспринимают двойника как жуткое?— *Примеч. авт.*

Достоевский и отцеубийство

[1] См. дискуссию об этом. Стефан Цвейг: «Он не останавливался перед преградами мещанской морали, и никому точно не известно, насколько он в своей жизни преступил границы права, в какой степени преступные инстинкты его героев воплотились у него самого в действие» («Три мастера», 1920). О тесной связи между образами Достоевского и его собственными переживаниями см. замечания Рене Фюлоп-Миллера во введении к «Достоевскому за рулеткой», 1925, замечания, основанные на показаниях Николая Страхова.— *Примеч. авт.*

[2] *Morbus sacer* (*лат.*) — священная болезнь, т. е. эпилепсия.

[3] *Status epilepticus* (*лат.*) — эпилептическое состояние.

[4] *Абсанс* — кратковременный приступ расстройства сознания, во время которого больной как бы на мгновение выключается из реальной обстановки, замолкает и застывает, но тотчас приходит в себя. Такие состояния не всегда заметны для окружающих.

[5] *Гельмгольц* Герман Людвиг Фердинанд (1821—1894) — выдающийся немецкий естествоиспытатель.

[6] Ср. ст. Рене Фюлоп-Миллера. Особый интерес вызывает сообщение, что в детстве писателя произошло «нечто ужасное, незабываемое и мучительное», на что указывают первые признаки его недуга (Суворин в статье в «Новом Времени», 1881, на основании цитаты во введении к «Достоевскому за рулеткой», XLV). Далее, Орест Миллер в «Автобиографических произведениях Достоевского»; «О болезни Федора Михайловича имеются данные, относящиеся к его ранней юности и связывающие его болезнь с трагическим случаем в семейной жизни родителей Достоевского. Но несмотря на то, что это было мне устно сообщено человеком

весьма близким к Федору Михайловичу, я не могу решиться повторить сообщенное мне подробно и точно, так как я не имею никакого подтверждения этого слуха». Биографы и исследователи неврозов не могут быть благодарны за эту излишнюю тактичность.— *Примеч. авт.*

[7] Большинство указаний, среди них и самого Достоевского, напротив утверждают, что болезнь приняла определенный эпилептический характер лишь во время сибирской каторги. К сожалению, имеются основания не доверять автобиографическим высказываниям невротиков. Опыт показывает, что их воспоминания склонны к фальсификации, направленной на то, чтобы разорвать неприятную причинную связь. Но все же кажется довольно определенным, что пребывание в сибирской тюрьме существенно изменило и состояние болезни Достоевского.

[8] Лучшие сведения о сущности своих припадков дает сам Достоевский, когда сообщает своему другу Страхову, что его раздражительность и депрессия после эпилептического припадка объясняется тем, что он сам себе представляется преступником и не в силах освободиться от чувства, что он взял на себя неизвестную ему самому вину, совершил великий грех, его угнетающий. В таких самообвинениях психоанализ усматривает частичное признание «психической реальности» и пытается довести эту неизвестную вину до сознания.— *Примеч. авт.*

[9] Le jeu pour le jeu (*фр.*) — игра ради самой игры.

«Главное — это сама игра»,— писал Достоевский в одном из своих писем. «Клянусь вам, дело совсем не в жадности, хотя я, конечно, прежде всего нуждаюсь в деньгах».— *Примеч. авт.*

[10] Всегда он оставался у игорного стола, пока не проигрывал всего, пока не был полностью уничтожен. Только тогда зло это

осуществлялось полностью, демон покидал его душу и предоставлял место творческому гению.— *Примеч. авт.*

СТЕФАН ЦВЕЙГ

Зигмунд Фрейд

[1] *Кант*, Иммануил (1724—1804) — немецкий философ, ученый, один из основателей немецкой классической философии. Автор «Критики чистого разума» (1781), «Критики практического разума» (1781), «Критики способности суждения» (1790) и др. Разрабатывал учение о «вещах в себе», воздействующих на органы чувств, и «вещах для нас», составляющих основу познания, а также о вере в Бога как религиозной потребности, ориентированной на примирение в жизни добра и зла.

Cant (*нем.*)— святошество, лицемерие.

[2] *«...поликратовское здоровье...». Поликрат* (?—ок. 523 или 522 г. до н. э.) — тиран (правитель) на о. Самос (прибл. с 540 г. до н. э.).

[3] *Ленбах*, Франц (1836—1904) — немецкий живописец. Писал портреты видных музыкантов — Р. Вагнера и Ф. Листа, художников — В. Буша и М. Швинда, политических деятелей — О. Бисмарка, X. Мольтке и Вильгельма I.

[4] *Макарт*, Ганс (1840—1892) — австрийский живописец. Писал портреты, оформлял праздничные шествия в Вене, осуществлял росписи в Венской ратуше.

[5] *Good grey old man* (*англ.*)— славный седой старичок.

[6] *Шейлок* — персонаж комедии В. Шекспира «Венецианский купец» (1597).

[7] *Сивиллина книга души* — книга, приписываемая одной из наиболее известных Сивилл — Куманской Сивилле. По преданию, она получила от влюбленного в нее Аполлона дар прорицания, испросила у него долголетия и через несколько столетий превратилась в высохшую старушку. Ее предсказания были записаны на пальмовых листьях и составили девять книг, получивших название сивиллиных. Шесть из них Куманская Сивилла сожгла, три были куплены римским царем Тарквинием Приску. В дальнейшем к ним были добавлены прорицания других Сивилл. Сгоревшие в 83 г. до н. э., эти книги были возобновлены при Августе и Тиберии, затем хранились в храме Юпитера Капиталийского.

[8] *Pour être bon philosophe, il faut être sec, clair, sans illusion* (*фр.*) — Чтобы быть хорошим философом, необходима сухость, ясность, отсутствие иллюзий.

[9] *Vis Plastica* (*лат.*) — пластическая сила.

[10] *Брюкке*, Эрнст (1819—1892) — немецкий физиолог. Занимался вопросами физиологии зрения, пищеварения, кровообращения, звуков речи, а также биохимии и морфологии.

[11] *Мейнерт*, Теодор (1833—1892) — австрийский психиатр и невропатолог. Его клинические, анатомические и патофизиологические исследования оказали влияние на развитие психиатрии.

[12] *La foi qui guérit* (*фр.*) — вера, которая исцеляет.

[13] *Нотнагель, Карл* (1841—1905) — австрийский врач. Исследовал расстройства двигательных нервов глаза и слуха, описал

паралич глазодвигательного нерва, изученные им симптомы получили в медицине название «синдрома Нотнагеля».

[14] *Bête noire* (*фр.*) — образное выражение: «существо ненавистное».

[15] *Брейер*, Иозеф (1842—1925) — венский учёный и врач. Исследовал механизм саморегуляции дыхания и восприятия мускульных движений, применял гипноз для лечения истерии. Выдвинутый им метод лечения основывался на рассказе больных в состоянии гипноза о своих неприятных переживаниях. Этот метод он назвал «катарсическим» — от древнегреческого термина «катарсис», использованного Аристотелем для обозначения понятия «очищение души» в процессе восприятия человеком трагедии.

[16] *Contradictio in adjecto (лат.)* — противоречие в сопоставлении.

[17] *Таблица Розетты* — древнеегипетские письмена (иероглифы), высеченные по указанию жрецов в 196 г. до н. э. в честь Птолемея V Епифана (203—181 до н. э.) на черной базальтовой плите, найденной во время похода в Египет Наполеона Бонапарта в 1799 г. близ г. Розетты. Первые иероглифы расшифровал в 1822 г. французский ученый Ф. Шампольон, положив тем самым начало изучению древнеегипетской письменности.

[18] Как это люди до сих пор так мало раздумывали о содержании наших снов, свидетельствующем о наличии двойной жизни в человеке. Разве в этом явлении не заключена целая новая наука. Оно по меньшей мере подтверждает факт постоянного разрыва между двумя сторонами нашей природы. Я в конце

концов вынес из этого убеждение в преимущественной мощи скрытых наших чувств над явными.

Бальзак, Луи Ламбер, 1833 г.

[19] *Если бы только скорее добраться до панталон и сбросить все!* — неподдающаяся переводу обмолвка: в подлиннике «nach Hose» вместо «nach Hause»; Hose — панталоны, nach Hause — домой.

[20] *Via regia* (*лат.*)— царская дорога.

[21] *...Гретхен... с Фредерикою...*— имеется в виду трагедия Гёте «Фауст», в которой образ Гретхен (Маргариты), выведенный автором в первой части трагедии, соотносится С. Цвейгом с переживаниями автора, обусловленными его отношениями с Фредерикою Брион.

[22] *Хробак* — австрийский врач-гинеколог, по словам З. Фрейда, был «может быть, самым выдающимся из наших венских врачей» (см.: *Фрейд З.* Очерк истории психоанализа. Одесса, 1919. С. 7).

[23] *Mais c'est toujours la chose sexuelle, toujours!* (*фр.*)— «Всегда, всегда что-нибудь сексуальное!»

[24] *Il appelle un chat un chat* (*фр.*)— он называет кошку кошкой.

[25] Одна часть последовательно возникает из другой.

[26] *Леонардо* — речь идет, по-видимому, об одном из крупнейших поэтов испанского Возрождения — Леонардо де Архенсола (1562—1631), прозванного «испанским Горацием».

[27] Oceans of time (*англ.*) — океаны времени.



При оформлении издания
были использованы работы художников:

Ганса Грюндига	(1901—1958),
Пауля Клее	(1879—1940),
Анри Матисса	(1862—1954),
Пабло Пикассо	(1881—1973),
Павла Филонова	(1883—1941).

СОДЕРЖАНИЕ

Литературно-художественное издание

Зигмунд Фрейд

ВЛЕЧЕНИЯ И ИХ СУДЬБА

Редакторы *Ю. Кулишенко, И. Бухалов*
Художественный редактор *М. Панова*
Оформление обложки *А. Сауков*
Компьютерная верстка *А. Пилипенко*
Корректор *И. Зайцева*

Изд. лиц. № 065377 от 22.08.97.

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Подписано в печать с готовых диапозитивов 16.03.99.
Формат 70×100 1/32. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 17,55.
Тираж 10 000 экз. Заказ 1824.

ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс»,
123298, Москва, ул. Народного Ополчения, 38.



АООТ «Тверской полиграфический комбинат»
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.

